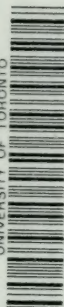


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00374660 9

N° 1782

**BIBLIOTHÈQUE**  
de la  
**Librairie-Papeterie**  
**"UNION"**

(Société à Responsabilité Limitée)

---

62, Rue de France  
NICE



"UNION"

S.A.R.L.

LIBRAIRIE - PAPETERIE  
BIBLIOTHÈQUE

82, Rue de France - NICE

R.C. Nice 37.089





Н. ОЛИГЕРЪ.

# РАЗСКАЗЫ

1782

UNION  
PAPETERIE LIBRAIRIE  
LIBRAIRIE PAPETERIE  
BIBLIOTHEQUE  
62, Rue de France - NICE  
R. D. NICE 5.083

«МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО».

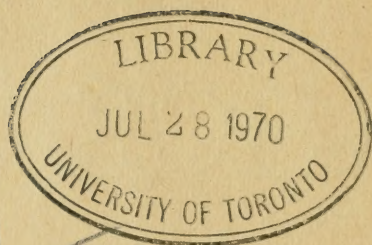
1909.

PG

3476

045 A15

1909



КОСТАВА, ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА



СТ-80 СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ  
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСКИЙ ПЕР., СОБ. Д.





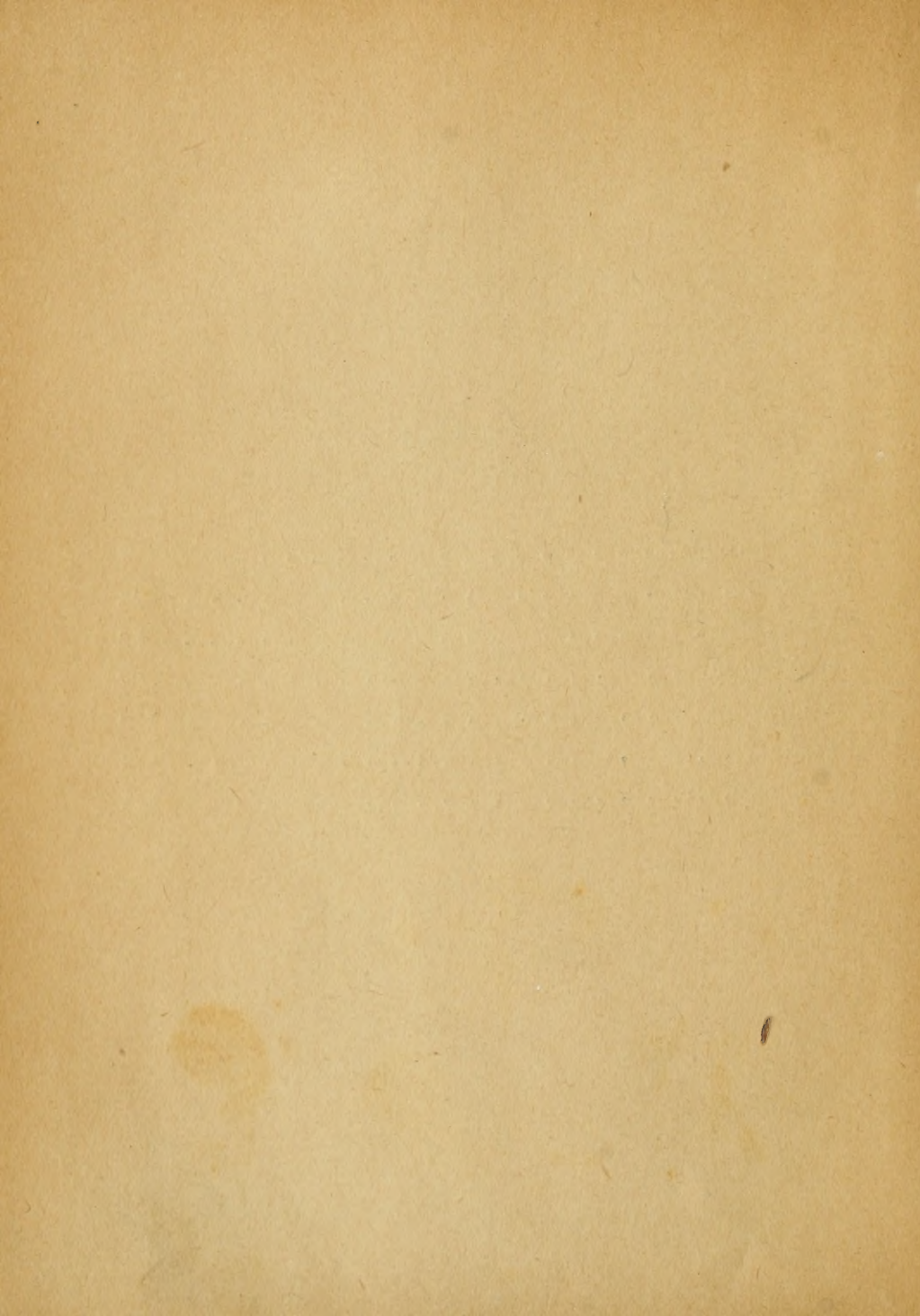
## СОДЕРЖАНІЕ.

---

	СТР.
Ночныя тѣни . . . . .	I
Вишні . . . . .	35
Заповѣдное . . . . .	52
Обреченные . . . . .	97
X За штатомъ . . . . .	169
Разломъ . . . . .	223
X Одинъ . . . . .	245

---

---





## Ночныя тѣни.

### I.

— Такъ ничего?

— Ничего. Фараоны тамъ. Было въ облаву попала, чуть не засыпалась. Черезъ рѣшетку лѣзла,—видишь, рукавъ изорванъ.

— У парка?

— Тамъ... Выживаютъ. Есть одинъ этотъ очкастый: нюхъ у него, какъ у собаки.

— Дда...

Тоська поднялъ глаза кверху,—къ чему-то мутному, бѣлесому, висѣвшему надъ городомъ вмѣсто неба,—и добавилъ вскользь:

— Снѣгъ будетъ.

— Ничего, если снѣгъ. Потеплѣетъ.

Тоськина подруга передернула плечами, натянула на самый носъ платокъ. А платокъ—рванный и заношенный. Все равно, не грѣетъ. Подумала о чемъ-то пріятномъ, даже улыбнулась.

— Охъ, опредѣлиться бы... Надоѣло.

— Дура!—отрѣзалъ Тоська.—Всѣ вы—такія. Только и ждутъ, какъ бы кабалу на себя надѣть. Ступай къ хозяйкѣ,—она согрѣетъ,—ремнемъ да дубьемъ.

— Я бы къ такой не пошла. Разныя тоже есть хозяйки, вонъ Липка,—ничего, живетъ. Ее одинъ господинъ каждую недѣлю къ себѣ требуетъ. Важный господинъ, изъ генераловъ. По субботамъ въ баню водятъ, ей-Богу...

— Липкѣ-то еще десяти лѣтъ нѣту... Ей все равно, она безъ смыслу. А тебѣ—сама говорила—тринадцатый пошелъ. Тебѣ скоро и цѣна-то вся будетъ—пятакъ, а ты—опредѣлиться... Не зарывайся.

— А вотъ уйду отъ тебя. Погляжу, много ли одинъ-то настрѣляешь. Дохни тогда.

Закружились первыя снѣжныя пушинки—такія чистенькія и легкія—и нерѣшительно падали на черный облещенный тротуаръ. Вокругъ газоваго фонаря вился какъ будто рой зеленоватыхъ огненныхъ мушекъ. И то бѣлесое, что было вмѣсто неба, опустилось еще ниже, потемнѣло.

Тоська обиженно закусилъ губу, но смолчалъ. Онъ вообще не любилъ спорить. Пользъ было за пазуху—достать табачницу, но вспомнилъ, что табакъ вышелъ весь, до послѣдней крошечки.

— Катька, а Катька!..

— Ну?

Дѣвочка стояла къ нему спиной и все поводила плечами и переступала на одномъ мѣстѣ ногами, обутыми въ слишкомъ просторныя башмаки. Съежилась и казалась очень маленькой, куда меньше своихъ двѣнадцати лѣтъ.

— Холодно тебѣ?—съ вкрадчивымъ сочувствіемъ спросилъ Тоська.—Погрѣться надо. Пойдемъ, пострѣляемъ еще—на большой.

— Да мнѣ все равно, хоть въ часть. Тамъ, можетъ, шами покормятъ.

Проговорила это, не оборачиваясь, но въ тонѣ ея голоса Тоська уловилъ какія-то фальшивыя, двойныя нотки. Опять почувствовалъ себя господиномъ положенія, уничтожающе сплюнулъ и сказалъ:

— Ступай! Держать не стану... Васъ тутъ много крутится. Другую найду.

— Анъ не найдешь!

Катька порывисто повернулась на каблукахъ. И отъ этого движенія распахнулись тонкія полы ея ветхаго дипломатика. Морозный и сдѣлавшійся сырымъ отъ падающаго снѣга воздухъ забрался глубоко—до самаго сердца—и даже слезы выступили отъ ощущенія жгучаго холода.



— Не найдешь, я говорю.

Тоська засунуль руки въ карманы и раскачивался, переваливаясь съ ноги на ногу. Онъ не такъ страдалъ отъ холода, какъ Катька, потому что намоталъ на себя все тряпье, которое только было въ его распоряженіи. А Катька осталась, какъ была лѣтомъ, въ одномъ дипломатикѣ, потому что ей слѣдовало одѣваться прилично.

— Вотъ—Косопятая. Только свистну—сейчасъ прибѣжитъ.

— Сказаль тоже... Старая уродина. Кому ее надо?

— Да я—я кого хочешь достану!—воодушевился Тоська.— Я и хозяйскую сманить могу. Я достану.

И сейчасъ же перешелъ на обиденный тонъ. Сдѣлалъ два шага впередъ по тротуару и предложилъ:

— Пойдемъ, что ли?

Дѣвочка молча кивнула головой. Пошли.

Снѣгъ падалъ все гуще. Звѣздчатая снѣжинки сдѣлались тяжелѣе, сливались въ хлопья и не метались уже туда и сюда, а дѣловито ложились на землю, на скользкій тротуаръ, на заиндевелшую мостовую. У Катьки на узкихъ плечахъ выросли бѣлые эполеты, и смѣшно чернѣли на тротуарѣ ея слѣды, слишкомъ прямые, съ носками немножко внутрь.

Миновали темный переулокъ, застроенный деревянными особнячками съ непомѣрно длинными досчатыми заборами. Катька шла впереди, но у поворота Тоська нагналъ ее въ нѣсколько широкихъ прыжковъ.

— Такъ ты того... Если что—у дровяныхъ барокъ. Тамъ встрѣтимся. Ты норови, чтобы не на всю ночь. Табаку нѣтъ—и жрать хочется.

И для большей убѣдительности придержалъ ее за рукавъ, но дѣвочка отмахнулась отъ Тоськи, какъ отъ мухи. Она была выше и сильнѣе.

— Ладно ужъ... Отстань ты!

Сразу вывернулись на большую улицу. Было рано,—магазины еще не закрывались. Горѣли огненными квадратами ихъ зеркальные окна и даже низко опустившаяся снѣжная туча казалась здѣсь свѣтлѣе и выше. А снѣжинки падали

часто и ровно, густою сѣтью мелькали передъ огнями. По широкой панели двигалась толпа и казалась наряженной для диковиннаго карнавала. Головы и плечи, и слегка согнутыя спины, мѣховые воротники и донышки шапокъ,—все было бѣлое. На пестрый истоптанный тротуаръ падали перекрещенныя тѣни, безшумно плыли, рождались и исчезали,—и отъ этихъ тѣней толпа казалась еще гуще.

Тоська отсталъ отъ своей подруги и шелъ, не вынимая рукъ изъ кармановъ, съ безцѣльнымъ, скучающимъ видомъ. Остановливался у ярко освѣщенныхъ витринъ и какъ будто очень внимательно разсматривалъ выставленныя тамъ вещи. А на самомъ дѣлѣ не спускалъ глазъ съ Катьки и тревожно подавался впередъ, когда на мгновение терялъ ее изъ виду. Мальчикъ и дѣвочка,—они, какъ двѣ шепки, плыли въ людскомъ потокѣ, и было похоже, что потокъ этотъ влечетъ ихъ противъ ихъ собственной воли, переносить съ тротуара на тротуаръ, поглощаетъ и снова выплевываетъ.

Такъ миновали всю улицу,—и сошлись опять вмѣстѣ только у другого ея конца, гдѣ было уже просторнѣе и мутно чернѣлась, какъ пропасть, широкая пустынная рѣка. Катька согрѣлась отъ ходьбы и выглядѣла бодрѣе. Страхнула съ себя влажный, прилипавшій къ одеждѣ снѣгъ и сказала:

— Рано. Свѣту много.

— Подождемъ...

Тоська былъ недоволенъ отсрочкой, но примирился съ необходимостью. Присѣлъ подъ заборомъ на корточки, засунулъ кисти рукъ въ рукава и принялся ждать. За его спиной, изъ-за низенькаго забора, выглядывали голыя, жидкія вѣтви,—такія тонкія, что снѣгъ не задерживался на нихъ. А за угломъ этого забора уже начиналась набережная, и сквозь снѣжную сѣть слабо вырисовывались черныя очертанія сѣнныхъ барокъ, похожія на скучные дома безъ огней, съ высокими двускатными крышами.

Катька прислушалась.

— Смотри... идетъ кто-то.

Ея спутникъ тоже встрепенулся—и разобралъ чуткимъ ухомъ смутный шелестъ, постепенно приближавшійся. Идутъ...

Тоська измѣрилъ взглядомъ высоту заборчика. Въ слу-



чаѣ чего—можно туда. Нехорошо, что снѣгъ. Если придетъ охота—разыщутъ по слѣдамъ. Настороженные и чуткіе, какъ маленькіе звѣрки, стояли оба, взявшись за руки, чтобы не потерять другъ друга въ случаѣ бѣгства. И дѣвочка, болѣе сильная и высокая, почему-то прижалась къ Тоськѣ, какъ будто искала у него защиты и покровительства.

Шелестъ выросъ въ отчетливые шаги, торопливые и легкіе. Вслушавшись въ звукъ этихъ шаговъ, Тоська выпрямился и облегченно перевелъ духъ. Зашепталъ, объясняя Катѣ:

— Свой... Тѣ ходятъ—казенными сапожищами топаютъ, за версту слышно. А у этого у самого пятки горятъ.

Вотъ его уже и видно: сгорбленная черная тѣнь крадется вдоль забора. Пугливо озирается по сторонамъ и, кажется, можетъ совсѣмъ растаять, исчезнуть въ бѣловатомъ снѣжномъ сумракѣ.

Тоськѣ досадно за свою ложную тревогу—и хочется отомстить. Выждалъ, когда тѣнь подобралась совсѣмъ близко, и неожиданно рывкнулъ искусственнымъ хриловатымъ баскомъ:

— Держи!..

И тѣнь дѣйствительно растаяла. Сейчасъ только стояла здѣсь, на этой плитѣ тротуара, выпятившейся снѣжнымъ бугоркомъ—и уже нѣтъ ея. И не слышно ни шаговъ, ни шелеста.

Дѣвочка недовольна.

— Это ты больше напрасно. Зачѣмъ обидѣлъ? Онъ вотъ изобьетъ тебя. На барки прокрадывался.

— Тоже тепла захотѣлъ, обормотъ... На баркахъ-то каждую ночь шарятся. Тамъ одна рвань коричневая ночуетъ, вотъ что.

— Ну обломаютъ тебѣ ребра, такъ будешь знать, какой ты умный.

— Ладно... Не родился еще такой.

Тоська очень высокаго мнѣнія о своей особѣ вообще и о быстротѣ своихъ ногъ—въ частности. И угрозы его не пугаютъ. Но Катка сегодня мрачно настроена и слишкомъ разсудительна,—и это беспокоитъ Тоську гораздо больше, чѣмъ

возможная перспектива получить нѣсколько тумачковъ. Въ такія минуты Катька мало предприимчива. А вѣдь нѣтъ ни табаку, ни ужина. Надо заработать.

— А ты чего же прохлаждаешься? Не до свѣту ходить.

Дѣвочка вяло отмахивается.

— Успѣю... Рано.

— Тебѣ-то ладно... Заведутъ въ тепло. Еще и покормятъ, пожалуй. Выпить навѣрняка дадутъ. А я тутъ жди, околачивайся на морозѣ...

И Тоська сочно и крѣпко выговариваетъ забористую ругань. А сверху падаетъ снѣгъ, все гуще и гуще ложится на головы и плечи двухъ дѣтей, на тротуаръ, на доски забора. Улица ужъ сплошь бѣлая. И все чернѣе выступаетъ вдаль еще не замерзшая рѣка.

Вокругъ совсѣмъ пустынно и кажется, что никого уже нѣтъ на непріютныхъ улицахъ. Разошлись по домамъ. Ложатся спать. Ёдятъ. Въ воображеніи Тоськи очень ярко вырисовывается большой мѣдный самоваръ, весь окутанный вкуснымъ паромъ, и свѣжія булки съ подрумяненной коркой, наръзанныя толстыми, щедрыми ломтями. Такую картину онъ видѣлъ въ дѣйствительности уже очень давно, но она запомнилась. Хорошо запомнилась, а теперь манитъ и дразнить и наполняетъ злобой противъ Катьки, которая прижалась себѣ къ забору и ничего не хочетъ дѣлать. Только ежится да поводитъ плечами. Это хорошо было лѣтомъ лодырничать, когда жили на кукушкиной дачѣ. Лѣтомъ человеку мало надо, а теперь...

Снѣгъ все падаетъ, падаетъ. Скоро отъ дѣвочки останется одинъ только бѣлый рыхлый бугорокъ.

— Катька!

Та молча поворачивается, и цѣлый сугробъ падаетъ съ ея головы. Тоська вынулъ руки изъ кармановъ, сжалъ губы. Приготовился къ рѣшительнымъ мѣрамъ.

— Ты пойдешь или нѣтъ? Говори!..

— Охъ, не хочется... — и сонная печаль слышится въ Катькиномъ голосѣ. — Надоѣло мнѣ. Говоришь: напоятъ, накормятъ... Побылъ бы ты въ моей шкурѣ! Я маленькая, а они



вонь какіе! Да еще со всякими гадостями. Измучаютъ такъ, что живого мѣста не сыщешь.

Печаль, мертвая и безнадежная, передается и Тоськѣ, но онъ считаетъ это чувство слишкомъ позорнымъ, чтобы отдаться ему хоть на минуту. И съ тѣмъ большей злобой снѣ хватаетъ дѣвочку за плечи и трясетъ ее, трясетъ изо всей силы, а она безвольно поддается его толчкамъ, какъ вытряхнутый мѣшокъ. Конечно, она сильнѣе, но Тоська хорошо знаетъ, что она не посмѣетъ сопротивляться.

— Разлимонилась, слякоть этакая!.. Сама придетъ назадъ сытая, пьяная—и еще лимонится. Пойдешь?

— Пойду.

Катька соглашается быстро, настолько быстро, что ея спутника охватываетъ подозрѣніе. Пожалуй, обманетъ. Ей это ничего не стоитъ. Скроется изъ виду, а потомъ прошляется часа два гдѣ-нибудь по закоулкамъ. Вернется и скажетъ, что неудача: никто не хотѣлъ брать.

Но драться сейчасъ нельзя. За обманъ—это можно уже потомъ, а сейчасъ нельзя. Сдвинувъ брови, Тоська останавливается въ недоумѣніи. Его мысль работаетъ напряженно, такъ и сверлитъ въ мозгу, придумывая какой-нибудь выходъ.

А снѣгъ падаетъ, падаетъ. Позади, надъ большой улицей, какъ будто зарево. Свѣтится широкимъ пятномъ низкая туманная туча. Но это зарево уже потускнѣло: магазины закрылись и часть фонарей погашена. Какъ разъ самое время итти теперь. Лишнихъ гуляющихъ уже нѣтъ. Остались главнымъ образомъ тѣ, кому такъ или иначе нужна темнота ночи.

— Послушай, Катька...

Тоськинъ голосъ пріобрѣтаетъ неожиданную мягкость.

— Ты, можетъ, въ гостиницу пойдешь? Въ «Якорь» или въ «Стрѣлку»? Тамъ хоть долго задержать, да ужъ ладно... Подожду до утра.

— Не пустять туда. У нихъ свои. Да и облавы ждутъ...

У Тоськи не находится возраженій. Впрочемъ онъ и скальз-то это больше такъ, для очистки совѣсти. Катька уже собралась въ дорогу: отряхнула снѣгъ, повязала поаккуратнѣе платокъ. И теперь, въ темнотѣ, она выглядитъ совѣмъ недурно одѣтой, и кокетливо выбивается прядь русыхъ, съ

рыжеватымъ оттѣнкомъ волосъ на миловидное личико. Тоська осматриваетъ ее всю съ видомъ знатока, и въ его сердцѣ опять загорается надежда. Во всякомъ случаѣ не такъ уже трудно найти любителя на такую дѣвочку. Онъ даетъ послѣдній совѣтъ:

— Ты повеселѣе гляди... Скучныхъ не любятъ.

Повернули къ большой улицѣ, навстрѣчу свѣтлomu зареву. И мрачная рѣка съ ея пустымъ холодомъ осталась за спиной. Опять Катька шла впереди, а ея спутникъ осторожно слѣдовалъ за нею почти по пятамъ, чтобы какъ-нибудь не упустить изъ виду.

Встрѣтились двѣ проститутки,—обѣ старыя, съ густыми пятнами дешевыхъ румянъ на ввалившихся щекахъ. Одна ушипнула Катьку и засмѣялась надъ своей собственной циничной шуткой. Потомъ сразу оборвала смѣхъ и взвизгнула отъ боли, потому что незамѣтно подкравшійся Тоська ударилъ ее кулакомъ въ подбородокъ.

— Не задирайся, гнилое мясо! Ступай на баржи,—тамъ тебя купятъ за монету...

Сказаль это отчетливо, съ вѣсомъ,—и, успокоенный, пошелъ дальше. А двѣ накрашенные старухи такъ и остались тамъ, въ темномъ кварталѣ, гдѣ снѣжный сумракъ лучше скрывалъ ихъ уродливыя лица.

Мелькнула свѣтло-сѣрая шинель. Ничего, это офицеръ. Катька даже подошла къ нему,—но сѣрая шинель сердито цыкнула и круто повернула въ другую сторону. Этому надо получше: въ шляпкѣ, въ мѣхахъ и чтобы пахло духами.

Кто-то сказаль очень заискивающимъ, почти жалобнымъ голосомъ:

— Поѣдемте, мужчина! Я все могу...

И слышно было еще, какъ густой басъ сердито отвѣтилъ съ сочными, актерскими нотами:

— Отваливай, моя прелесть!

Густой снѣгъ заглушалъ голоса и шаги. Въ двухъ-трехъ шагахъ люди уже сливались съ тѣнями или расплывались въ пятнахъ мутнаго, обманчиваго свѣта, и казалось, что неживыя тѣни ходятъ беззвучно и говорятъ мертвыми голосами.

За Катькой было очень трудно слѣдить. Она то и дѣло



ускользала изъ круга, доступнаго Тоськиной наблюдательности, легче другихъ, взрослыхъ людей, таяла въ сумракѣ. Тогда Тоська поднималъ свой вздернутый носъ еще выше къверху, какъ будто ему помогало какое-то собачье чутье, и, словно опытная ищейка, шнырялъ по тротуару.

Одинъ разъ совсѣмъ было потерялъ, сбился съ толку. Хотѣлъ уже махнуть на все дѣло рукой и подождать подругу гдѣ-нибудь въ другомъ условленномъ мѣстѣ, когда слышалъ совсѣмъ близко знакомый голосъ. Тоська затаилъ дыханіе. Кажется, будетъ удача.

Дѣвочка идетъ рядомъ съ высокимъ человѣкомъ, который кажется очень толстымъ отъ просторной скунсовой шубы. Воротникъ поднять, закрывая половину лица, и поблескиваютъ слегка золотыя очки. Толстый человѣкъ разговариваетъ съ Каткой, но не поворачиваетъ головы въ ея сторону. Получается впечатлѣніе, что онъ просто, такъ себѣ, прогуливается,—безъ всякихъ опредѣленныхъ намѣреній.

Вмѣстѣ сворачиваютъ въ боковую улицу, гдѣ сейчасъ совсѣмъ нѣтъ прохожихъ. Здѣсь толстый человѣкъ дѣлается развязнѣе, его золотыя очки блестятъ ярче. Онъ внимательно осматриваетъ Катку и повидимому остается доволенъ, но все еще сомнѣвается. Спрашиваетъ очень строго:

— Ты давно уже гуляешь?

— Гдѣ же давно, мужчина? Мнѣ еще и лѣтъ-то... Возьмите меня, мужчина! Не раскайтесь... Другой разъ сами звать будете.

Но толстый человѣкъ все еще сомнѣвается. Тоська крадется поодаль, въ густой тѣни, и съ нетерпѣніемъ ждетъ, чѣмъ все это кончится. Если дѣло выгоритъ—можно надѣяться на хорошій заработокъ.

— Ты отъ хозяйки или сама ходишь?

— Сама, мужчина!—и Катка беретъ человѣка за отороченный дорогимъ мѣхомъ рукавъ. Она хотѣла бы взяться «подъ ручку», какъ дѣлаютъ большія, но нехватаетъ роста.—Пойдемте.

— Погоди... Квартира у тебя есть?

Дѣвочка мнется. Такіе вопросы задаютъ рѣдко—и она не подготовилась.

— На квартиру мнѣ нельзя принимать... А мы въ номера пойдемъ. Тутъ есть такіе поблизости, недорого возьмутъ.

— Подъ заборомъ живешь? Ты, я думаю, обовшивѣла вся, дрянъ этакая!.. Да еще и больна навѣрное.—Толстый чело-вѣкъ внезапно раздражается.—Въ полицію надо тебя, вотъ что!

Тоська вырастаетъ изъ темноты, закутанный въ свои отрепья, маленькій и уродливый, какъ гномъ.

— Баринъ, батюшка, подайте копеечку! Мамка больная... Два дня не ѣмши...

Толстый господинъ гнѣвно поворачивается къ неожиданному свидѣтелю, а Катька тѣмъ временемъ уже исчезла. Только мелькнули въ воздухѣ, какъ крылья птицы, тонкія полы ея дипломатика.

— Подайте, баринъ! Ей-Богу, не ѣмши... Прозябъ весы!

— Пошелъ прочь, мерзавецъ!

Отороченный мѣхомъ рукавъ тянется къ Тоськину шивороту, но Катька уже въ безопасности, и поэтому ея товарищъ сразу мѣняетъ тонъ. Онъ приплясываетъ на одной ногѣ и строитъ изъ пальцевъ совсѣмъ не двусмысленную комбинацію.

— Нако-сь, выкуси, толстомясы!

Тогда толстый чело-вѣкъ начинаетъ ругаться и въ без-сильной ярости плюетъ по тому направлению, куда скрылся Тоська. И сейчасъ же затѣмъ поправляетъ очки, высоко поднимаетъ теплый воротникъ и медленнымъ, степеннымъ шагомъ сытаго и довольнаго жизнью чело-вѣка возвращается на большую улицу.

Снѣгъ немного порѣдѣлъ. Густые тяжелые хлопья опять разбились на отдѣльныя снѣжинки, красиво звѣздчатые и легкія. Онѣ крутились, почти не опускаясь, слѣдовали каждому движенію застоявшагося уличнаго воздуха. И сразу сдѣлалось холоднѣе.

Тоська съ Катькой шли рядомъ и молчали. Потомъ Катька вздохнула.

— Не выфартило...

— А ты еще разъ!—безъ особой рѣшительности посо-вѣтовалъ ея спутникъ.—Не клиномъ свѣтъ сошелся.

— Нѣтъ, ужъ если день такой незадачливый. Да я по-пытаю. Мнѣ все равно.



Пошла впередъ, слегка раскачиваясь на ходу и помахивая лѣвой рукой какъ-то въ сторону отъ себя. И навстрѣчу ей двигались въ сумракѣ тѣни другихъ женщинъ, молодыхъ и старыхъ, и почти сплошь—безобразныхъ. Но всѣ одинаково хотѣли продать себя.

Покупателей было меньше, чѣмъ продавцовъ. Поэтому продавцы ожесточенно перебивали другъ у друга добычу, старались казаться привлекательными и страстными. Мужчинамъ это нравилось. Они дѣлали придирчиво строгій выборъ и томительно долго торговались.

Катку, дѣйствительно, преслѣдовала неудача. Дѣвочка прошла нѣсколько разъ взадъ и впередъ по всей длинѣ улицы, заискивающе улыбалась и звала. Откровеннымъ жаргономъ привычной проститутки, который такъ не шелъ къ ея дѣтскому личику и поэтому еще сильнѣе дразнилъ воображеніе, общала самыя острые наслажденія. Но ее съ презрѣніемъ отталкивали—и бранились.

— Эхъ, ты... вошь въ платочкѣ! Сначала въ баню сходи...

Потомъ еще едва не случилась крупная непріятность. Неожиданно вывернулся откуда-то городской,—невысокій, юркій, сердитый на плохую погоду, на свою службу и на тѣхъ женщинъ, которыхъ ему приходилось ловить каждую ночь. Широко разставилъ руки, и растерянная Катка заметалась, какъ мышь въ ловушкѣ.

— Постой... кто такая? Зачѣмъ ходишь?

— Я ничего, дяденька... Меня мамка послала.

— А гдѣ живешь?

— На Подрѣзной... седьмой номеръ, во дворѣ.

Оглянулась,—нѣтъ ли Тоськи, который всегда придумывалъ какой-нибудь фокусъ, чтобы выручить въ трудную минуту,—и это тревожное движеніе выдало. Городовой придвинулся ближе, протянулъ руку и сказалъ съ равнодушіемъ человѣка, исполняющаго скучную обязанность:

— Пойдемъ-ка... Я что-то ужъ не первый разъ тебя вижу. Въ участкѣ узнаемъ, гдѣ твоя квартира. И мамкѣ закажемъ, чтобы поздно не пускала. Ну?

Катка набрала въ грудь побольше воздуха и побѣжала,—съ той особенной, легкой быстротой, которая рождается

отчаяніемъ. Городовой брякнулъ шашкой о фонарный столбъ и тоже побѣжалъ, широко раскидывая ноги въ тяжелыхъ сапогахъ и по-военному прижавъ локти къ бокамъ. Кто-то радостно улюлюкнулъ.

— Держи!

У поворота въ переулокъ Катька должна была обогнуть кругомъ цѣлую компанію загулявшихъ приказчиковъ, которые шли ей навстрѣчу, взявшись за руки. Это поставило ее въ очень невыгодное положеніе, и тяжелые сапоги грохотали теперь по истоптанному тротуару совсѣмъ близко. Вотъ сейчасъ схватить, ударить по шеѣ такъ, что пропадетъ всякая охота вырываться изъ цѣпкихъ и жесткихъ пахнущихъ махоркой рукъ. А Тоськи нѣтъ. Неужели не видѣлъ?

Но Тоська былъ тутъ, все зналъ и видѣлъ,—и бѣжалъ такъ же быстро, какъ его подруга, стараясь не отстать отъ городского. И какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Катька теряла уже послѣднюю надежду и слышала надъ самымъ своимъ ухомъ отрывистую ругань запыхавшагося преслѣдователя, Тоська приложилъ ладонь ко рту и неистово крикнулъ:

— Караулы! Грабятъ!

Психологическій расчетъ оказался правильнымъ. Городовой невольно остановился и, пока онъ старался понять своимъ неповоротливымъ полицейскимъ умомъ, что такое случилось, спасеніе Катьки было уже обезпечено. А въ другую сторону, со всей своей испытанной быстротой, убѣгалъ ея защитникъ. Городовой безнадежно махнулъ рукой и, оправляя сбившуюся на бокъ портупею, поплелся обратно на большую улицу. Можно бы, конечно, дать свистокъ или вообще предпринять что-нибудь болѣе серьезное, но не стоитъ. Все равно когда-нибудь попадется. Не сегодня, такъ завтра.

Вытянулся передъ обходившимъ участокъ дежурнымъ помощникомъ.

— Честь имѣю доложить, что на посту все обстоитъ благополучно.

Тоська и подруга сошлись въ условленномъ мѣстѣ, у дро-



вяныхъ барокъ. Дѣвочка еще едва переводила дыханіе, облизывала языкомъ пересохшія губы и съ трудомъ могла говорить, а Тоська стоялъ какъ ни въ чемъ не бывало, заложивъ руки въ карманы, и даже сдвинулъ на затылокъ дырявую шапку изъ поддѣльнаго барашка.

— Да-а... Плохи дѣла. Теперь на эту улицу лучше и не показывайся. И какъ тебя угораздило засыпаться?

Катка чувствовала себя кругомъ виноватой, дышала хрипло и отрывисто и молчала. Приготовилась уже къ тому, что Тоська сейчасъ будетъ злобно и крѣпко ругаться и, пожалуй, даже побьетъ ее, но тотъ велъ себя очень спокойно и былъ почти веселъ.

— Ничего не попишешь. Подвели фараоны. Ну и я его тоже... ловко!

Помолчалъ немного и зачѣмъ-то рассказалъ:

— А толстый-то... къ которому ты нанималась... Съ хозяйской Ленкой уѣхалъ, я самъ видѣлъ. Лафа хозяйскимъ!

— Одежда у нихъ... и чистота... Господамъ больше нравится. А которые изъ мужиковъ, тѣ большихъ берутъ. Не хотятъ съ дѣвочками.

Выговорила это только такъ, чтобы сказать что-нибудь и, можетъ быть, хотя немного задобрить Тоську. И замолчала, натянувъ на лицо платокъ и сгорбивъ спину. Тоська слегка ударилъ ее по плечу, но не сердито, а скорѣе покровительственно.

— Не бѣда, Катка! Все равно, когда-нибудь сдохнемъ. Вотъ только табаку нѣтъ—это плохо. А еще хорошо бы сотку раздавить. Ёсть хочешь, поди?

— Нѣтъ. Устала я.

— Сейчасъ домой пойдемъ. Я тамъ краюшку приберегъ, закопаль въ сѣно. Погложемъ малость, ежели ее Жучка не разыскала...

— Жучка, поди спать, ужъ...

— У ней работа легкая. Пошарила по помойкамъ—и ладно. А наша жизнь—не собачья.

И довольный придуманной острою, еще разъ хлопнулъ по плечу свою подругу, а потомъ передвинулъ шапку на лобъ и скомандовалъ:

— Ну, шагомъ маршь! На зимніе биваки.

Итти нужно было у самой воды, и выброшенные на берегъ льдины хрустѣли подъ ногами. За баржами, гдѣ теченіе было потише, рѣка уже замерзла и на запорошенной снѣгомъ ледяной поверхности отчетливо выдѣлялись черныя полыньи. Отъ нихъ поднимался легкій морозный паръ, и казалось, что именно благодаря этимъ чернымъ проваламъ на рѣкѣ такъ холодно.

Подальше отъ берега и барокъ, на стрезени, рѣка чернѣла еще почти сплошь, и съ сердитымъ плескомъ несла внизъ по теченію отдѣльныя ледяныя чешуйки съ неровно закругленными тонкими краями. Откуда-то—должно быть съ моста—падала на черную воду узкая полоска свѣта, вилась живой змѣйкой и дробилась въ концѣ на туманныя искорки.

Катка шла, запинаясь за льдины и за протянутые отъ барокъ причалы, и о чемъ-то сосредоточенно думала. Потомъ сказала особеннымъ протяжнымъ и ласковымъ голосомъ:

— А у насъ на деревнѣ Песчанка-то, вѣрно, ужъ встала. У насъ рано становится: рѣчка тихая—и холодно.

— У насъ!—ядовито передразнилъ Тоська.—Твоя деревня-то?

— Все-таки... родилась тамъ... И мамка оттудова.

— Самая ты теперь городская...—выговорилъ Тоська скверное слово.—Была деревня, да вся вышла. Хорошо развѣ жила тамъ, что вспоминаешь? Поди, ужъ не отъ сытой жизни мамка-то твоя въ городъ притащилась.

Дѣвочка усмѣхнулась, немножко обиженная. Ушибла колѣно обо что-то острое, и отъ этого сдѣлалось еще обиднѣе.

— Понятно, не отъ богатства ушли. Главное—мужиковъ у насъ не было. Ну и стали выжимать: малоземелье у насъ. А потомъ еще голодъ объявился. Ну и поѣхали. Я тогда по восьмому году была. Мамка пошла въ прачки, да застудилась, стала кашлять. Только двѣ зимы и прожила. Деревенская я...

— Ладно ужъ... Лопочи потише. Тутъ сторожа.

Тоська не любитъ разговоровъ о прошломъ, къ которому часто возвращается, особенно въ минуту неудачи, его подруга. Впрочемъ у него самого не было въ сущности никакого прошлаго, и въ этомъ отношеніи Катька имѣетъ преимущество, которому ея товарищъ въ глубинѣ души нѣсколько завидуетъ. Онъ самъ родился въ городѣ, въ одномъ изъ бесплатныхъ родильныхъ пріютовъ. Мать свою помнить настолько смутно, что это воспоминаніе не вызываетъ въ немъ совершенно никакихъ чувствъ. Потомъ, уже безъ матери, онъ жилъ вмѣстѣ со старикомъ нищимъ въ огромномъ грязномъ домѣ, называвшемся «лаврой». А когда старикъ куда-то исчезъ, само собою вышло такъ, что Тоська оказался на улицѣ. Вотъ и все. Были еще кое-какія мелочи: забрали, продержали нѣсколько недѣль при участкѣ, а затѣмъ отправили въ исправительный пріютъ, гдѣ было гораздо хуже, чѣмъ въ участкѣ и откуда Тоська довольно скоро сумѣлъ исчезнуть.

Все это совсѣмъ не то, что Каткина деревня. Онъ самъ и деревню-то знаетъ только по пригороднымъ дачнымъ мѣстамъ, гдѣ проводить, околачиваясь около дачниковъ, каждое лѣто.

И пусть уже Катька лучше молчитъ. Безъ нея было бы трудно жить, потому что временами она порядочно зарабатываетъ, но о деревнѣ и о разныхъ другихъ глупостяхъ пусть она говорить поменьше.

Миновали длинную линію барокъ. Дальше опять какой-то заборъ съ торчащими вверхъ жидкими вѣтвями—точь въ точь тѣ розги, которыми пороли въ исправительномъ пріютѣ,—запорошенная снѣгомъ гладкая ледяная поверхность съ черными провалами незамерзшей воды, а еще дальше — низко повисъ неуклюжій деревянный мостъ.

Тоська насторожился, спряталъ голову въ плечи и взялъ за руку свою спутницу. Крались впередъ неслышно, какъ два маленькихъ звѣрька, у которыхъ одна защита—осторожность. Только изрѣдка чуть слышно потрескивали подъ ногами предательскія льдинки.

Дорогу знали хорошо. Гдѣ нужно, пригибались къ самой землѣ, пользовались каждымъ клочкомъ тѣни, чтобы оста-



ваться невидимыми. И благополучно добрались до деревянного ледорѣза, который охранялъ начало моста у берега. Тоська первый прыгнулъ на круглую обледѣвшую балку, укрѣпился покрѣпче, придерживаясь за сваю, и тогда помогъ подняться Каткѣ. Между переплетами толстыхъ бревенъ, скрѣпленныхъ желѣзными болтами, оставалось свободное пространство, совсѣмъ темное, украшенное инеемъ и ледяными сосульками. Нырнули оба въ это пространство и долго ползли на животахъ, цѣпляясь за что попало, чтобы не сорваться внизъ. Какъ всегда, Катка задержалась дольше, чѣмъ нужно; на самомъ опасномъ мѣстѣ зашептала:

— Боюсь... Слишкомъ очень.

— А, чертъ дырявый! Вотъ сюда наступай... Нашупай, гдѣ гвоздь, и лѣвѣе.

Сдѣлалось свѣтлѣе. Какая-то досчатая стѣна обрисовалась впереди. Изгибаясь, какъ обезьяна, Тоська полѣзъ куда-то наверхъ и оттуда черезъ минуту донесся его осторожный свистъ. Теперь предстояло самое трудное: перебраться съ ледорѣза въ потаенное убѣжище подъ обшитымъ досками береговымъ устоемъ моста. Въ обшивкѣ Тоська, пользуясь проржавѣвшими гвоздями, давно уже продѣлалъ узенькую лазейку. Получилась дѣлая комната. Очень низкая, сырая и тѣсная, но все-таки комната.

Усталые и запыхавшіеся, добрались наконецъ до этого убѣжища. И хотя было совсѣмъ темно, бодро и смѣло ползли теперь въ самый дальній уголъ. Зашуршало сѣно. Потомъ скребнула разъ и другой спичка о коробку, и загорѣлся неровный, мерцающій свѣтъ, выхватывая то уголъ балки, то плотно утрамбованную землю, то сдѣланную изъ охапки сѣна постель. Дѣвочка подала товарищу огарокъ, вставленный въ самодѣльный жестяной подсвѣчникъ. Свѣтъ сдѣлался ровнѣе и ярче, легъ однимъ спокойнымъ пятномъ.

— Вотъ и дома! — удовлетворенно сказалъ Тоська. Посмотрѣлъ на свисавшія сверху пушистыя пряди инея, въ которыхъ причудливо искрился красноватый свѣтъ, и прибавилъ еще, но уже менѣе радостно: — Холодновата становится квартирка-то... Отопленіе плохое.

Въ вязанкѣ сѣна зашевелилось что-то живое. Выглянула

острая черная морда съ блестящими глазами на выкатѣ. Вслѣдъ за мордой показалась и вся собака, съ одной стороны черная, а съ другой пестрая, потому что одинъ бокъ у нея былъ весь изъѣденъ круглыми бѣлыми плѣшинами. И вмѣсто хвоста нелѣпо вилялъ коротенькій обрубокъ.

Дѣвочка поздоровалась, какъ съ человѣкомъ.

— Здравствуй, Жучка. Жива?

Жучка тоже поздоровалась, но по-своему, по-собачьи: подпрыгнула, положила Каткѣ переднія лапы на плечи и лизнула ее теплымъ языкомъ по лицу. Приласкалась и къ Тоскѣ, но не такъ фамиллярно.

Тоська шарился въ сѣнѣ.

— Навѣрное, краюшку стащила... Нѣтъ, вотъ она. Жрать будешь, Катка? Тутъ хлѣба-то полторы тарары, ну, а все-таки червяка заморимъ. Онъ сухой-то коломъ въ брюхѣ встаетъ. И кажется, будто сытно.

Погладилъ Жучку за ея добродѣтельное поведеніе. Собака, должно быть, была сыта: совсѣмъ равнодушно посмотрѣла на краюшку и скромно присѣла поодаль. Дѣвочка все-таки сказала:

— Надо бы и Жучкѣ дать. У нея скоро щенята будутъ.

— Останется—дадимъ, не жалко. Я старыя заслуги помню. Такъ-то, собачка!

А заслуги за Жучкой большія. Она первая открыла эту квартиру и первая въ ней поселилась, охраняя свое бродяжничье существованіе отъ собачьей живодерни. Тоська случайно выяслѣдилъ ея лазейку и рѣшилъ, что тамъ, гдѣ живетъ собака, можетъ устроиться за неимѣніемъ лучшаго и человѣкъ. Расширилъ лазейку, отодравъ еще одну доску, а такъ какъ Катка любила тепло и мягкую постель, въ нѣсколько приемовъ наворовалъ сѣна. И пока не наступили сильные холода жилось очень сносно.

Собака сначала негодовала на непрошенное вторженіе, черезъ нѣсколько дней примирилась съ обстоятельствами, а затѣмъ вступила со своими новыми сожителями въ тѣсную дружбу. И втроемъ, когда собака прижималась сбоку, спать было теплѣе.

— Жучка, послужи! Кокарду получишь.

Жучка послушно сѣла на заднія лапы, выставивъ беременный животъ съ набухшими сосками. Дѣвочка заступилась, велѣла лечь.

— Ты не заставляй ее. Щенятамъ вредно.

— Куда ей щенята, бродячей? И щенятъ не вырастить, и сама съ голоду подохнетъ.

— Все-таки...

— А песъ умный: хотъ сейчасъ въ пристава—въ недѣлю служить выучится. Вотъ послужи еще, найди квартиру по-теплѣе. Здѣсь сгинемъ мы какъ тараканы. У тебя у самой бобровая-то шуба съ одного боку молью трачена. Въ плохомъ лонбартѣ закладывала... Ну чего смотришь? Нѣту, говоришь? А ты поищи. У тебя четыре ноги, скорѣе моего бѣгаешь...

Собака виляла своимъ обрукомъ, моргала выкатившимися глазами и тоненько повизгивала. И Тоська былъ увѣренъ, что она понимаетъ. Отломилъ кусокъ хлѣба отъ своего пайка.

— Ышь, горемычная баба! Еще и ребятъ рожать хотеть, какъ твоя купчиха. Можетъ, и тебѣ, Катька, ребятъ надо?

Дѣвочка подняла на него печальные глаза.

— Развѣ у такихъ бываютъ?

Ей что-то нездоровилось: виски ломило и въ груди съ самаго бѣгства отъ преслѣдователя-городового все еще держался жаръ, больной, колючій. Ъсть не хотѣлось. Попусту раскрошила только жесткій, какъ камень, хлѣбъ и отдала крошки Жучкѣ.

— Ты что?

— Да неможется... Простыла, должно быть.

Тоська насупился. Его старообразное, загрубѣвшее лицо еще больше постарѣло, даже мелкія морщинки побѣжали вокругъ глазъ.

— Вотъ нехватало! Куда я съ тобой, съ больной-то?

— Куда же? Бросишь.

— Да я не про то, чортъ дырявый! — и въ Тоськиномъ голосѣ зазвучала обида. — Если сдаться, напримѣръ, въ больницу, такъ больше тебя и не увидишь. Поминай, какъ звали... Вылѣчать — и сейчасъ въ пріютъ на исправленіе березовой кашей. Вашему брату оттуда не вывернуться. Ну, а жизнь тамъ...



Тоська плюнулъ. Собака видѣла, что онъ на что-то сердится, виновато сжалась. Потомъ по собственному почину сѣла опять на заднія лапы.

— Смотри, смотри!

Дѣвочка обняла собаку за шею, прижалась щекой къ слюнявой мордѣ. Жучка, несмотря на свою плѣшивость, была всегда теплая, какъ печка, и ея тепло передавалось сейчасъ дѣвочкѣ, облегчало немного лихорадочный ознобъ, все усиливавшійся по мѣрѣ того, какъ сильнѣе и сильнѣе жгло огнемъ грудь.

Свѣча горѣла длиннымъ дымнымъ языкомъ, освѣщая только тотъ самый дальній отъ входа уголь, въ которомъ приютились всѣ трое. Искрился морозный иней, — такой красивый и такой злобный. И висѣли, низко надъ самой головой, толстыя, причудливо перекрещенныя балки, поддерживающія неуклюжую тяжесть моста. Временами сверху приходилъ слабый, чуть слышный грохотъ. Это проѣзжали гдѣ-то тамъ, высоко, запоздавшіе ночные путники.

— Да-а!—протянулъ Тоська и присвистнулъ.—Это называется—дѣло наше табакъ! Я вотъ все думаю, лишь бы до весны дотянуть. А тамъ и городъ и все такое—къ чортовой матери! Уйду бродяжить и не вернусь. Куда-нибудь въ теплыя мѣста. Говорятъ, есть такія, гдѣ круглый годъ зимы не бываетъ. На святкахъ цвѣты цвѣтутъ въ садахъ, яблоки наливаются. И ѣсть тамъ довольно самую малость, чтобы живымъ быть. Пожеваль хлѣба шматокъ, водичкой запилъ — и довольно до другого дня... А свѣчу-то загасить надо. Огарокъ совсѣмъ маленькій остался.

Свѣтлое пятно исчезло. Погасли свѣтлыя искорки на бахромѣ инея. И въ темнотѣ почему-то сильно запахло тяжелой гнилью и тлѣніемъ и еще ниже какъ будто опустились невидимыя теперь балки. Зашуршало сѣно. Ощупью легли на вязанку, — и собака пристроилась тутъ же, рядомъ съ Каткой, отдавала ей избытокъ своего драгоценнаго тепла. Тоська съ другого бока прижался къ своей подругѣ, накрылся вмѣстѣ съ нею какою-то рваной тряпкой. Теперь, въ постели, еще сильнѣе чувствовалась усталость и тоскливѣе вспоминался грядущій день, невѣдомый и почти безнадежный.

Дѣвочка долго лежала молча, и спросила нерѣшительно, прижимаясь поближе къ Тосыкѣ и въ то же время словно слегка отстраняясь отъ него.

— Одинъ уйдешь?

— Куда это?

— Да вотъ... въ теплыя страны... гдѣ зимы нѣту...

— Ну, опять дура! Ты больше моего тепло любишь. Зачѣмъ же я тебя оставлять буду. Здѣсь вмѣстѣдохнемъ, а тамъ вмѣстѣ жить будемъ.

— А ты же говорилъ... что Косопятую возьмешь... Или кого-нибудь...

— А ты озли шибче, такъ я и не то еще скажу.

Опять долго молчали. Собака, должно быть, тоже набѣгалась за день, устала и теперь крѣпко, не по-собачьи, спала. Даже всхрапывала сочно и протяжно. Катька лежала съ открытыми глазами, смотрѣла въ густую, вездѣ ровную темноту и думала. Спросила смѣлѣе, чѣмъ въ первый разъ:

— До теплыхъ странъ далеко?

— Подальше, чѣмъ на кукушкину дачу. Доберемся, ничего. Есть такіе бродяги, что вокругъ всего свѣта ходили.

— Только тамъ, навѣрное, не русскіе живутъ. Арапы или нѣмцы.

— Болтай тоже!.. Русскіе вездѣ живутъ. Да намъ-то что? Арапскіе-то фараоны нашего брата, можетъ быть, меньше трогаютъ. Придемъ, обоснуемся. Тамъ въ лѣсу жить можно. Пещерку сдѣлаемъ или балаганъ.

Катька размечталась. Голова у нея горитъ и думается какъ-то особенно хорошо: о чемъ подумаешь, то и увидишь. Само выплыветъ изъ ровной темноты, такое пестрое, яркое.

— Жучку тоже возьмемъ. Она сторожить будетъ... отъ арапскихъ фараоновъ.

— Можно и Жучку, если сама захочетъ. Силкомъ не уведешь. Умная.

Темно, темно. Въ темнотѣ плаваютъ разноцвѣтныя пятна, складываются въ хорошенькія картинки. Вотъ лѣсъ. Яблоки висятъ на деревьяхъ и еще разныя фрукты, которыми иногда угощаютъ господа и которые цѣлыми грудами лежатъ на

магазинныхъ окнахъ. Но воспоминаніе объ этихъ фруктахъ толкаетъ мысль къ чему-то другому, что гораздо ближе.

— Тося... А тамъ я не буду этимъ дѣломъ заниматься. Я лучше работать буду. Я теперь большая выросла, смогу. Въ прачки наймусь или еще что-нибудь.

— Араповъ испугалась?—попробоваль пошутить Тоська, но шутка не вышла, и дѣвочка даже не замѣтила ея.

— Я хочу съ однимъ тобой жить. Пусть ты мнѣ будешь по-настоящему, какъ мужъ. Меня, все равно, теперь и брать не хочетъ никто. Говорятъ: грязная да рваная. И опять: если никто не беретъ, то и денегъ нѣту, — и откуда же новое платье достанешь?.. Душа не лежитъ. Нехорошо и больно. Я хочу только съ тобой.

Тоська неопредѣленно промычалъ. Должно быть къ нему подкрадывалась уже дремота. Подъ рванымъ одѣяломъ отъ трехъ тѣсно сжавшихся тѣлъ скопилось тепло, и было уютно лежать. Не хотѣлось задумываться надъ чѣмъ-нибудь. Просто спать, спать и не видѣть сновъ.

Дѣвочка лежала еще долго, стараясь не шевелиться, чтобы не сдвинуть уютную защиту отъ ночного мороза и не разбудить Тоську. Закрывала глаза, но подъ вѣки словно кто-то насыпалъ мелкій песокъ и глаза опять открывались сами собою.

Рождались свѣтлыя пятна въ густой темнотѣ, плыли, кружились. И болѣло маленькое тѣло, столько разъ поруганное и уставшее отъ поруганій.

Свѣтлыя пятна потускиѣли, слились. Уснула.

## II.

У перекрестка двухъ глухихъ улицъ—участокъ. Скрипитъ и покачивается на ржавой проволокѣ плоскій фонарь съ черной надписью. Подъ фонаремъ—узкая калитка. Оттуда выходятъ люди—трое городскихъ и околоточный. Въ глухой тишинѣ отчетливо слышны ихъ тяжелые шаги. Побрякиваетъ оружіе.

Снѣгъ уже не идетъ. Только изрѣдка падаютъ запоздавшія снѣжинки. Но сѣрая туча попрежнему виситъ низко, надъ самыми крышами, и поэтому тамъ, гдѣ не горятъ фонари, очень темно.



Шагаютъ по чинамъ: околоточный впереди, за нимъ двое старослужащихъ, а въ самомъ хвостѣ плетется недавно поступившій младшій городской Салаевъ. Когда сѣрая спина околоточнаго съ перекинутымъ наискось узкимъ ремнемъ отчетливо свѣтится подъ уличнымъ фонаремъ, Салаевъ еще только смутно чернѣется въ густой тѣни. Онъ толстъ и неповоротливъ и, чтобы не отстать, дѣлаетъ огромные, прыгающіе шаги.

Чѣмъ дальше забираются въ запутанную сѣть переулковъ, тѣмъ становится глуше и пустыннѣе. Раза два какія-то темныя фигуры испуганно шарахнулись въ сторону и исчезли. Сѣдой городской съ бухарской медалью на груди выругался имъ вслѣдъ забористо, но не громко, изъ уваженія къ начальству. А другіе прислушались къ этой ругани съ удовольствіемъ и сочувствіемъ. Всѣ четверо одинаково устали и хотѣли спать, и поэтому были злы и сумрачны.

Обогнули старый, заглохшій садъ, разбитый при покосившейся деревянной церковкѣ. Деревья гнулись подъ тяжестью снѣга и съ глухимъ шорохомъ сбрасывали на землю тяжелые хлопья. Въ саду какъ будто зашевелилось что-то живое, хрустнула вѣтка.

— Пошарить бы, ваше благородіе! — предложилъ сѣдой. Околоточный остановился было, но махнулъ рукой и пошелъ дальше.

— Наплевать... Тутъ другой участокъ прилегаетъ. Не наше дѣло.

За церковью миновали высокій утыканный гвоздями фабричный заборъ. Уперлась прямо въ тучу черная труба. Потомъ широкий пустырь и рѣка. Ближе уже и до сѣнных барокъ, куда направляется обходъ. Темныя, высокія, онѣ кажутся таинственными и немного страшными. И до увѣренности ясно, почти очевидно, что тамъ обязательно долженъ кто-нибудь прятаться, въ этихъ черныхъ страшилищахъ.

Старослужащимъ все равно, они привыкли, но Салаевъ боится, и дрожать у него щеки на жирномъ, бабьемъ лицѣ.

— Стой!

Дошли теперь какъ разъ до моста, совсѣмъ пустыннаго въ эту пору ночи. Околоточный кусаетъ усы и что-то обду-

мываетъ, злой и нахмуренный. Можетъ быть хочетъ досадить кому-нибудь, сорвать свою злобу и усталость.

— Надо по пути подъ мостомъ посмотрѣть. Тамъ въ прошломъ году два лишенныхъ прятались, устроили берлогу.

Сѣдой запротестовалъ. Ему совсѣмъ не по вкусу лишняя работа.

— Невозможно, чтобы кто былъ тамъ. Досками заколочено, ваше благородіе.

— А ты не разсуждай, когда я приказываю. Салаевъ!

— Здѣсь...

Вотъ пусть онъ и лѣзетъ подъ мостъ, потому что ему всѣхъ труднѣе. Конечно, не найдетъ ничего, но весело иногда такъ, немножко, поглумиться мимоходомъ.

— Салаевъ, зажги фонарь и полѣзай!

— Такъ что позвольте доложить...

Это говоритъ Салаевъ. Но дальше у него ничего не выходитъ, потому что онъ слишкомъ обиженъ. Только беззвучно шевелить губами.

— Что, долго я буду ждать?

— Позвольте доложить... почему же это обязательно я? И одинъ? Мнѣ и подъ мостъ-то не пролѣзть. Это въ самую пору Бастрыгину, а не мнѣ. Вы всегда напрасно изволите приказывать.

Въ обидѣ и страхѣ нагрубилъ и самъ еще больше испугался. Даже колѣни затряслись подъ тяжестью сырого, грузнаго тѣла.

— Ты возражать? Завтра же представлю докладъ. Ты возражать?

Околоточный ругался и злобно топорщилъ усы, и Салаевъ сейчасъ же уступилъ.

— Слушаю-сь!

Но лѣзть все-таки не торопился. Подтянулъ сначала португею, попробовалъ, крѣпко ли держится на потертomъ оранжевомъ шнурѣ револьверъ, зажегъ фонарь, защищая пламя отъ вѣтра полою шинели. Кто-то припугнулъ еще:

— Смотри, не разбей... Фонарь казенный... Изъ своихъ денегъ заплатишь.

Околоточный присѣлъ на тротуарную тумбу поодаль. Громко зѣвнулъ и зажмурился. Эхъ, поспать бы!

— Ну, живѣе!

Трепещущій огонекъ замелькалъ по крутому обрыву набережной. Круглое пятно свѣта временами поворачивалось къ Салаеву, освѣщало его жирное испуганное лицо. Сѣдой тоже зѣвалъ и закурилъ папиросу, чтобы отогнать дремоту. Третій городской занялъ позицію на мосту и плевалъ внизъ, въ черную полынью между свѣжими бѣлыми льдинами.

А тамъ, внизу, было жутко и маленькій потайной фонарь плохо боролся съ темнотой, нагонялъ еще больше тревоги своимъ нервнымъ миганьемъ. Кое-какъ, съ исцарапанной въ кровь ладонью, Салаевъ добрался до обшитаго прогнившимъ лѣсомъ устоя. Замѣтилъ сразу правильную, почти квадратную дыру,—лазейка.

Запахло давнишней, застоявшейся сыростью. Ноги скользили на кругломъ бревнѣ, и поэтому свободной рукой приходилось крѣпко держаться за обшивку.

Салаевъ надулъ щеки, стиснулъ зубы и полѣзъ. Зацѣпился револьверомъ и долго не могъ податься ни впередъ, ни назадъ. Наконецъ протиснулся, упалъ лицомъ въ жесткій, промерзшій песокъ. На мгновеніе совсѣмъ замеръ, — вотъ ударить! — но все было тихо и спокойно. Тогда осмѣлѣлъ и сказалъ не очень громко, но почти безъ дрожи въ голосѣ:

— Кто тутъ есть живой? Выходи!

Посвѣтилъ фонаремъ. Тѣсно, грязно. Въ дальнемъ углу мерещится какая-то грудa: охапка сѣна или, пожалуй, тряпье. И очень густо собралась въ томъ углу бѣлая изморозь. Надышалъ кто-то. Салаевъ осторожно подвинулся назадъ, такъ что ноги въ большихъ стоптанныхъ сапогахъ высунулись изъ лазейки наружу.

— Выходи, говорю!.. А не то стрѣлять буду!..

И вотъ, изъ безформенной груды кто-то отвѣтилъ: низкіе, хриплые звуки гулко отдались подъ мостомъ и пара живыхъ, злобныхъ глазъ блеснула зеленоватыми искрами. Городской совсѣмъ приникъ къ землѣ, торопливыми движеніями скрюченныхъ пальцевъ началъ рвать изъ кобуры револьверъ. Но



пока распутывалъ ремешки и застѣжки, уже догадался, это не такъ страшно: собака!

Опять поползъ впередъ, выставивъ впередъ руку съ фонаремъ.

— Цыцъ ты, стерва! Вишь, нашла мѣсто...

Собака жалась спиной къ какому-то столбу, скалила зубы и рычала. Но Салаевъ хорошо разглядѣлъ уже ея вытертый, пятнистый бокъ, ея трясущуюся челюсть и уже не боялся, а только испытывалъ ярость, холодную, тупую.

Вотъ добрался уже почти до самаго сѣна,—и опять плеснула въ лицо волна страха. Наткнулся на маленькій оплывшій огарокъ. Собаки свѣчей не жгутъ. Значить, есть и человѣкъ. Догадавшись объ этомъ, пристально всмотрѣлся въ тряпье, и скорѣе угадалъ, чѣмъ увидѣлъ очертанія двухъ тѣсно прижавшихся живыхъ тѣлъ. Но были они совсѣмъ жалки—эти тѣла. Такъ, какой-то ничтожный комочекъ, притихшій, испуганный гораздо больше, чѣмъ самъ Салаевъ.

Конечно, его бояться—онъ большой, сильный, съ оружіемъ. Это сознаніе было пріятно, сдѣлало наглымъ. Трусы всегда наглы, когда чувствуютъ за собой силу.

Сдернулъ большую тряпку—одѣяло. Четыре глаза глянули изъ-подъ нея,—большіе, съ расширенными зрачками, съ темными тѣнями подъ дугами бровей. Прижались, свились руками безпомощныя тѣла. Уйти некуда,—и слезинка блеститъ на блѣдной щекѣ.

Салаевъ свистнулъ.

— Такъ вотъ, вы какіе... голубчики! Улеглись, какъ миленькіе, въ одну постельку. Ну, будетъ теперъ. Вылазь...

Но маленькія тѣла не шевелились и только по глазамъ было видно, что они живы. Даже дыханіе замерло, не вырывается прозрачнымъ облачкомъ изъ полуоткрытыхъ ртовъ. Тогда Салаевъ тронулъ за плечо того, который ближе,—мальчика.

— Слышишь, что ли? Или оглохъ?

Мальчикъ повернулся, скривилъ лицо въ усмѣшку,—и отъ этой усмѣшки у него по лицу, какъ у старика, побѣжали тоненькія морщинки. Заговорилъ съ неожиданной бойкостью, и надорванный голосъ казался простуженнымъ.

— Ваша взяла. Засыпались...

— Ужь это,—какъ въ аптекъ. Тепленькихъ взять. Ну, барыня-сударыня, поднимайся и ты, хотя и тепло тебѣ у милаго дружка, а все же итти надо.

Дѣти встали, встряхнулись. Дѣвочка молчала, и еще одна слезинка выкатилась у нея изъ глазъ, заблестѣла на грязной щекѣ. Тоська дернулъ ее за руку, успокоительно шепнулъ:

— Разнюнилась? Плюнь... Все равно, теперь ужъ ничего не подѣлаешь.

А у Катьки жили еще въ головѣ ночныя грезы. Чудилось тепло, шалашъ въ лѣсу у араповъ. И слишкомъ уже не вязалось съ этими грезами то, что было теперь: толстый городской въ испачканной шинели и испытующій свѣтъ казеннаго фонаря.

Салаевъ концомъ шапки пошарилъ въ сѣнной трухѣ.

— Имущества нѣту? Наворовали, поди, на свадебное обзаведеніе... Ахъ вы, сопляки этакіе... Скажите на милость!

Размахнулся и неожиданно ткнулъ мальчика кулакомъ въ подбородокъ, такъ что зубы громко лязгнули. Тоська пошатнулся, но устоялъ и выплюнулъ кровавую слюну.

— А ты не дерись, фараонъ некрещенный. Такого закону нѣту. Твое дѣло—забрать и по начальству представить. Бить-то ужъ меня послѣ будутъ. Не измывайся.

Катька закрыла лицо руками и громко всхлипывала. Но теперь ей было жалко уже не себя, а Тоську, которому, должно быть, очень больно. Онъ смѣлый—и всегда задирается. Его еще и не такъ изобьютъ. Салаевъ опять поднялъ руку—и Тоська стоялъ прямо, глядя на него блестящими волчьими глазами, но въ это время кто-то закопшился у лазейки. Потомъ просунулась голова дежурившаго на мосту городского.

— Съ уловомъ, что ли? Выходи скорѣе, тамъ околоточный ругается.

— Тутъ двое бродяжекъ, прими ихъ!—дѣловито распорядился Салаевъ.—А я еще обыскъ сдѣлаю.

Толкнулъ дѣтей къ выходу. Катька крѣпко вцѣпилась въ своего товарища, боялась, какъ бы ни разлучили сейчасъ

же,—и онъ не отстранялъ ее, гордый своею ролью защитника. Но зубы у него болѣли и кровь сочилась изъ десенъ, наполняя ротъ противнымъ соленоватымъ вкусомъ. Шепнулъ опять, стараясь проглотить жесткій комокъ, который противъ воли подкатывался къ горлу:

— Ничего, Катька... Въ тюрьмѣ-то кормятъ... А изъ пріюта я тебя достану.

— Не шепчись!—грозно приказалъ городской.—Проходи живѣй...

Въ морозной полутьмѣ мутно поблескиваютъ пуговицы околоточнаго. Послѣ уютной постели—холодно и какъ-то особенно жутко. Внутри тѣла нарастаетъ крупная дрожь, и никакъ нельзя сдержать ея. Она прорывается наружу, сводитъ судорогой суставы. Нехорошо. Подумаютъ, что это—отъ страху. А Тоська не боится.

— Здравія желаемъ, ваше благородіе! На чаекъ бы съ вашей милости,—за починъ.

— Вотъ мерзавецъ! Самого отъ земли не видать... Ты сидѣлъ уже?

— Былъ грѣхъ. Дверями ошибся.

— Какъ зовутъ? Сколько лѣтъ?

— Зовутъ Тоськой, а насчетъ лѣтъ сомнѣваюсь, потому что метрическое потерялъ.

Но околоточный отвернулся уже, равнодушный. Онъ много уже такихъ видѣлъ—и все это наскучило. Стоялъ, постукивая каблукомъ по землѣ, и ждалъ, когда можно будетъ отправиться дальше.

Салаевъ замѣшклся. Онъ былъ доволенъ собой и хотѣлъ закончить все дѣло на чистоту. Внимательно осмотрѣлъ темные углы и закоулки. Собака слѣдила за нимъ издали, отступая задомъ, когда онъ приближался. Трясла отвисшей челюстью, и горѣлъ зеленымъ огнемъ пристальный взглядъ. А когда Салаевъ разворачивалъ постель—тихонько рычала.

Глубоко подъ сѣномъ, вмѣстѣ съ собачьими обглодками, городской нашель что-то смѣшное: грубо сдѣланную тряпичную куклу, засаленную и потрепанную. Видно было, что съ нею много играли. Салаевъ сунулъ куклу въ карманъ шинели и полѣзъ вонъ изъ-подъ моста. Поползла за нимъ



слѣдомъ и собака, скаля зубы и прижимаясь къ землѣ беремнымъ животомъ.

Тоська переминался съ ноги на ногу.

— Итти бы, что ли...

— Подождешь, баринъ изъ подворотни. Погрѣться захотѣль?

Околоточный соображалъ, кого изъ городскихъ отправить съ дѣтьми въ участокъ. Не таскать же ихъ за собой по сѣннымъ баркамъ. Пусть, пожалуй, идетъ все тотъ же Салаевъ. Все равно, для настоящаго дѣла онъ не годится.

Вотъ онъ,—вылѣзъ наконецъ на тротуаръ, — огромный и неповоротливый, какъ матерой кабанъ.

— Еще находка, ваше благородіе!

Съ торжествомъ показалъ куклу и ждалъ, что сейчасъ всѣ будутъ хохотать и издѣваться надъ дѣвочкой, но городовые молча отвернулись, а околоточный почему-то разсердился.

— Нечего дурачиться! Ты не въ кабаѣ... Отведи арестованныхъ. Скажешь тамъ, что я представлю потомъ общій рапортъ, когда вернусь съ обхода.

— Слушаю-съ!

Кукла описала широкой полукругъ, звонко шлепнулась въ рѣку. Катька посмотрѣла на это какъ будто совсѣмъ равнодушно, только еще крѣпче прижалась къ Тоськѣ. Тотъ скрипнулъ больными зубами, шопотомъ выругался. А снизу, изъ темноты, выглянула знакомая, милая голова, завилялъ хвостъ-обрубокъ. Дѣвочка востепенулась.

— Смотри: Жучка...

— Провожаетъ, умный песъ!—догадался Тоська. И поговѣтывалъ:—Уходи, другъ, подальше отъ каинова сѣмени. Неровень часъ—и тебя заберутъ. Они на то не посмотрятъ, что у тебя одинъ бокъ лупленный.

Тоська храбрился и шутилъ, а жесткій клубокъ все-таки подкатывался, спираль дыханіе. Того и гляди прорвется слезами.

Не должно этого быть. Выпрямился, сдвинулъ шапчонку на затылокъ.

— Отчаливай, босая команда! Прямымъ рейсомъ, — къ тебѣ въ гости.

— Поговори еще у меня! — зашипѣлъ Салаевъ. — Я тебѣ и остатніе зубы выломаю... А вздумаешь улизнуть — пристрѣлю, такъ и знай. Мнѣ по закону такое право положено.

Пошли. Околоточный посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, потеръ рукой заболѣвшія отъ зѣвоты скулы и отправился на барки. Пошарить тамъ хоть какъ-нибудь, для очистки служебной совѣсти. А потомъ — спать.

Когда арестованные повернули съ набережной за уголъ, Салаевъ скомандовалъ:

— Стой!

Досталъ изъ кармана веревочку и связалъ Тоскѣ руки за спину. Такъ будетъ надежнѣе. Тоська подчинился безъ споровъ, но смѣялся зло и ехидно.

— Ты по карманамъ-то не шарилъ, а у меня тамъ бомба. Я, смотри, изъ спеціалистовъ. Захочу, вотъ и взорву тебя, такъ что кишки вокругъ колокольни обмотаются.

Городовой молча ткнулъ его въ затылокъ. Маленькая круглая голова мотнулась, какъ на пружинѣ, и шапка слетѣла наземь. Катька заботливо подняла ее и, нагибаясь, замѣтила позади крадущуюся тѣнь. Это бѣжала за ними вѣрная Жучка.

Медленно тянулись надоедливо длинные заборы. Рѣдкіе фонари бросали въ снѣгъ красноватыя стрѣлки. Салаевъ шагаль большими, размѣренными шагами, и животъ у него колыхался, какъ горбъ у сытаго верблюда, а шаги дѣтей стучали мелко и мелко. И казались эти двое дѣтей совсѣмъ маленькими рядомъ съ огромнымъ человѣкомъ въ темной шинели.

Тонкая веревка врѣзалась Тоскѣ въ кожу — и очень зябли кисти рукъ, потому что нельзя было засунуть ихъ въ карманы.

— Холодно? — несмѣло спросила Катька.

— Ничего, проживемъ.

А больные зубы стучали, и пальцы совсѣмъ уже начинали нѣмѣть. Дѣвочкѣ хотѣлось чѣмъ-нибудь утѣшить товарища. Она сама уже почти примирилась, да и не хотѣла

думать о себѣ. Когда думаешь—всегда еще хуже. Поэтому не нужно думать.

Шепнула тихо:

— А Жучка бѣжить.

Тоська взглянулъ черезъ плечо.

— Д-да... Напрасно она. Попадетъ на живодерню... А ты вотъ что, Катька...

— Руки-то забнуть у тебя? Ты скажи.

— Наплевать. Ты вотъ что, я говорю... Къ тебѣ тамъ, пожалуй, приставать будутъ. Любятъ этакихъ. Такъ ты не поддавайся. Конечно, если силомъ осилить—ничего не подѣлаешь... Но все-таки не поддавайся.

— Поговори у меня!—брякнулъ Салаевъ. Ему было не-пріятно, что эти ничтожныя существа, повидимому, такъ мало боятся его. Идутъ себѣ и разговариваютъ. Лучше, если бы они плакали и жалобно молили отпустить ихъ.

Оглянулся, чтобы узнать, на что смотрѣлъ Тоська. За-мѣтилъ тогда осторожно крадущуюся собаку.

— Погоди-ка жъ ты...

Поднялъ съ тротуара острый осколокъ кирпича. Но бросалъ городской немѣтко, и еще въ дѣтствѣ всегда проигрывалъ въ бабки. А собака, уловивъ его враждебное движеніе, совсѣмъ прилегла къ землѣ, слилась съ падавшей отъ забора густой тѣнью. Камень просвистѣлъ мимо.

— Осторожнѣе, небо не зашиби!—посоветовалъ Тоська.—Ты бы за мной лучше смотрѣлъ, косолапый, чѣмъ собакъ гонять... Убѣгу.

И опять это было обидно, что онъ говоритъ какъ равный съ равнымъ. Салаевъ еще разъ ткнулъ мальчика въ круглый затылокъ, и еще разъ мотнулась, какъ на пружинѣ, голова. Шапка не упала: ее несла въ рукахъ, бережно прижимая къ груди, Катька.

Тоська сплюнулъ, передернулъ плечами. Къ ударамъ онъ привыкъ и боль переносилъ хорошо. Даже пріятно было, что городской всю злобу направляетъ именно на него,—и не обращаетъ никакого вниманія на Катьку, которая ведетъ себя тихо и скромно.

Салаевъ какъ будто угадалъ эту мысль. Толкнулъ и



дѣвочку, и сочно выговорилъ гнусное слово, которымъ клеймать падшихъ женщинъ. Катька подняла на него широко открытые глаза, и недоумѣнная жалоба затемнѣлась въ глубинѣ зрачковъ.

— За что? Я иду, вѣдь...

— Поговори еще, такъ я тебѣ и не такъ пропишу.

Вотъ и церковный садъ съ таинственными шорохами въ гущѣ кустовъ. Салаевъ прибавилъ шагу.

— Живо, байструки...

Теперь уже близко до участка. И тупая злоба, одолевшая Салаева, сразу какъ-то расплылась, поблѣднѣла. Конечно, досадно, что пришлось итти ночью въ нарядѣ, потомъ лѣзть подъ мостъ, гдѣ было такъ тѣсно, скверно и—страшновато. Досадно сопровождать вмѣсто настоящихъ преступниковъ этихъ скверныхъ ребятишекъ, которыхъ еще и отъ земли не видать. Но скоро уже все это кончится. Можно будетъ выпить въ дежурной горячаго чаю, потомъ отправиться домой, къ женѣ. У Салаева здоровое тѣло, которое часто требуетъ супружескихъ ласкъ, а жена не любить этого и, такъ какъ она во всемъ беретъ верхъ, то ей и здѣсь приходится уступать. Это—тоже несправедливость, благодаря которой Салаевъ часто тайно вожделѣетъ и съ завистью смотреть на женщинъ.

Вотъ впереди идетъ дѣвочка, которая уже—женщина. Конечно, онѣ всѣ такія. И ночью можно будетъ устроить въ участкѣ забаву, за которую скучающіе дежурные городовые скажутъ спасибо.

Салаевъ усмѣхнулся, погладилъ рѣдкіе, словно выстриженные молью усы. И почти весело, безъ злобы въ голосѣ, скомандовалъ:

— Направо заворачивай! Или дорога незнакома?

Уже видно плоскій фонарь съ надписью надъ калиткой участка. Тоська посмотрѣлъ кругомъ, попробовалъ, крѣпко ли связаны руки. Бѣжать можно и со связанными, но, пожалуй, некуда. И совсѣмъ не такъ худо просидѣть зиму на казенной квартирѣ. Жалко только Катьку. Утѣшилъ ее уже въ воротахъ, когда переступали калитку.

— Не робѣй... Свидимся! Ужъ если я сказалъ, такъ, значитъ, не оставляю...

Дѣвочка недовѣрчиво покачала головой.

— Нѣтъ, чего ужъ... Прощай, Жучка!

Жучка—здѣсь. Но, какъ настоящая бродячая собака, она никогда не ходитъ во дворы, гдѣ такъ много опасностей и всякихъ ловушекъ. Осталась на тротуарѣ и присѣла, поджавъ обрубокъ хвоста, готовая вскочить при каждомъ шорохѣ. Ждада: можетъ быть выйдутъ обратно. Втроемъ такъ тепло спать. И еще пріятно, когда ласкаютъ и даютъ иногда хлѣба.

Въ коридорѣ участка дремлетъ, сидя, сторожъ при арестантскихъ камерахъ, Шалыга, и въ зубахъ у него торчитъ давно погасшая папироска. Заскорузлая рука крѣпко сжимаетъ связку ключей.

Салаевъ гордится своей выдумкой и поэтому почти веселъ.

— Эй, тетеря, принимай партію!

Благодаря долготѣнней привычкѣ, Шалыга спитъ чутко и при первомъ окрикѣ чувствуетъ себя вполне готовымъ къ исполненію обязанностей.

— Что за мелкота такая? Откуда этакіе?

— Изъ-подъ моста. Запирай. Околоточный послѣ представить рапортъ. Они сейчасъ на сѣнныхъ баркахъ.

Катка прислонилась къ стѣнѣ, уперлась ладонями въ грязную штукатурку. Въ глазахъ у нея совсѣмъ потемнѣло, и полъ кружится, выскальзываетъ изъ-подъ ногъ. Послѣ ареста забыла о болѣзни, пока та сама не напомнила о себѣ. И теперь—худо, очень худо. Голова разламывается отъ нестерпимой боли. Тоська, все еще со связанными руками, придержалъ подругу плечомъ, чтобы не упала.

— Что это ты? Бѣлая совсѣмъ?

— Неможется, Тосикъ.

Салаевъ тѣмъ временемъ что-то нашептывалъ таинственно Шалыгѣ. У сторожа рябое лицо расплылось широко, какъ гречневый блинъ.

— Ладно, отчего жъ? Это можно... А бабы не боишься?

— Она чего же сдѣлаетъ? Она не узнаетъ... Да я самъ-

то и не буду. Мнѣ лишь бы другимъ удовольствіе доставить... Такъ я пойду въ сборню, скажу...

— Валяй.

Гречневый блинъ повернулся къ арестованнымъ. Потомъ привычныя руки обшарили Тоську, распутали узелъ бечевки,—и дольше, чѣмъ было необходимо, задержались на худенькомъ Катькиномъ тѣлѣ.

— Стой прямо, когда обыскиваютъ... этакая...

— Ей неможется! — объяснилъ Тоська. — Не тронь ея, корявый.

— Знаемъ мы. А ты полайся еще тутъ. Мало учили?

Открылась желтая, жирная отъ грязи, дверь съ рѣшетчатой форткой. Изъ-за двери пахнуло крѣпкимъ запахомъ перегорѣвшаго спирта, мокрой одежды, больного, зловоннаго пота. Въ сумракѣ загаженной лампочки едва обозначилась на низкихъ нарахъ живая сѣрая грудa,—человѣческія тѣла.

— Бродяга, тебѣ сюда.

Катька слабо всхлипнула. Она надѣялась, что посадятъ вмѣстѣ. Товарищъ посмотрѣлъ на нее, хотѣлъ сказать что-нибудь ласковое,—пожалуй, даже поцѣловать,—но раздумалъ. Такъ, безъ словъ, будетъ легче. Стиснулъ зубы—и желтая дверь поглотила его своей жадной беззубой пастью.

Дѣвочку Шалыга увелъ въ другую камеру поменьше, ко- сегодня пустовала. Сюда сажали безбилетныхъ проститутокъ. Было здѣсь такъ же грязно, какъ и въ мужской, и такъ же тускло свѣтила загаженная лампочка,—и толстыя многоногія вши ползали по скользкимъ нарамъ. Отъ спертаго воздуха голову сжало желѣзнымъ кольцомъ. Катька присѣла на нары, хотѣла думать о вѣрномъ товарищѣ, съ которымъ разсталась навсегда. Но свѣтъ лампочки тускнѣлъ все больше, сдѣлался краснымъ и горячимъ.

Упала навзничь.

Изъ дежурной комнаты пришелъ въ женскую камеру городской—и Шалыга дѣловито приперъ за нимъ дверь. Самъ сѣлъ на свою скамейку въ концѣ коридора, помахивалъ связкой ключей и чутко дремалъ.

Городовой сбросилъ шинель.



— Ну, красавица...

На тротуарѣ, передъ участкомъ, сидѣла собака. Смотрѣла вверхъ, въ бѣлосое небо, дрожала худымъ, безшерстнымъ тѣломъ и временами слабо, чуть слышно повизгивала. Она ждала и все никакъ не могла дождаться—и хотѣлось уже ей назадъ, въ уютное тепло мягкой постели подъ мостомъ. Когда вдали стучали шаги, она чуткостораживалась, готовая прыгнуть и слиться съ ночными тѣнями, и была тогда похожа на дикаго, затравленнаго звѣря.

Когда изъ женской камеры вышелъ городской съ возбужденнымъ раскраснѣвшимъ лицомъ и прерывистымъ дыханіемъ, Шалыга впустилъ туда другого, который ждалъ уже своей очереди. И опять старательно приперъ желтую дверь. За вторымъ вошелъ третій.

Собака ждала. Холодъ пробиралъ ее все сильнѣе, и слишкомъ часто стучали на улицѣ шаги, которыхъ слѣдовало остерегаться. Наконецъ своимъ дикимъ чутьемъ она почувствовала, что скоро придетъ разсвѣтъ, и ночныя тѣни исчезнуть. Тогда поднялась и побѣжала домой мелкой быстрой рысцой, опустивъ голову внизъ и поджавъ обрубокъ хвоста.

---

## В и ш н и.

Когда подошелъ іюль мѣсяцъ, больные на кумысномъ курортѣ какъ-то всѣ разомъ заторопились и начали собираться домой, — словно имъ сдѣлалось жаль тѣхъ двухъ мѣсяцевъ, которые они провели здѣсь въ скукѣ и тягостномъ бездѣйствіи.

Нѣсколько экипажей сразу подъѣхало къ маленькой желѣзнодорожной станціи, и багажный прилавокъ потонулъ подъ грудой чемодановъ, корзины, сумокъ и какихъ-то неряшливыхъ свертковъ, кое-какъ задѣланныхъ въ изорванные газетные листы. И такъ какъ всѣ другіе курорты, расположенные по этой же линіи, тоже были охвачены лихорадкой отъѣзда, то, къ общему огорченію, мѣсть въ подошедшемъ поѣздѣ не оказалось.

Въ служебной комнатѣ, гдѣ стучалъ телеграфъ и пахло сургучемъ, обступили старенькаго начальника станціи и прижали его къ стѣнѣ.

— Если нѣтъ во второмъ, такъ дайте мнѣ въ первомъ. Я небогатый человѣкъ, но не могу же я здѣсь оставаться... Меня дѣла ждутъ. Дайте мнѣ въ первомъ.

— А почему такому мало вагоновъ? Если не хватаетъ— прицѣпите.

— Послушайте, у меня три дѣвочки!.. Вы понимаете, что у меня три дѣвочки? И теперь мнѣ придется трястись четыре версты обратно на курортъ, и я ничѣмъ не гарантирована, что завтра...

— Вы пользуетесь тѣмъ, что у меня слабое горло и совсѣмъ меня не слушаете. Я не могу кричать, какъ другіе.

Начальникъ станціи вертѣлъ между пальцами какую-то зеленую бумажку съ печатью и говорилъ всѣмъ сразу, быстро повертывая туда и сюда свою лысую головку на тонкой гусиной шеѣ.

— Подождите, господа, сейчасъ мнѣ дадутъ вѣдомость. Кажется, въ третьемъ классѣ, въ прямомъ сообщеніи, еще осталось что-то... Нѣсколько плацкартъ... Очень хорошій вагонъ, спальный...

— Э, вы думаете, я могу спать въ третьемъ классѣ? На какой чортъ мнѣ вашъ спальный вагонъ? У меня уже сундукъ на вѣсахъ, я совершенно приготовился ѣхать, а вы говорите — въ третій классъ. Зайцевъ возите!

— Но три мои дочери... въ такое общество? Возмутительно!

Поездъ стоялъ только пять минутъ. Приходилось обдумывать и дѣйствовать быстро. И черезъ пять минутъ два экипажа катились обратно на курортъ, а пассажиры остальныхъ ѣхали домой въ спальномъ вагонѣ третьяго класса.

Пришлось по человѣку на каждую койку, — и, сверхъ этого, ни одного свободнаго мѣста. Проводникъ жаловался, что ему негдѣ будетъ спать.

— Хотя подъ лавку ложись. Какъ это такое? Наперло ихъ. Ежели господа, то надобно со скорымъ...

Лѣто выдалось бездождное. Съ полотна поднималась мелкая, сѣрая пыль, пробивалась сквозь щели поднятыхъ рамъ, ложилась хрустящимъ слоемъ на крашеное дерево. Отъ нея кашляли и чихали.

— Господи, какъ все выгорѣло. Эти несчастныя будутъ голодать? Мнѣ ихъ жалъ.

— Опи, знаете, уже привыкли. При постоянномъ недоданіи тоже вырабатывается привычка. Нельзя прикладывать къ нимъ мѣрку нашей индивидуальности...

— Господинъ, потрудитесь встать. Вы своими сапогами весь проходъ загородили.

Первые часы смотрѣли въ окна, безцѣльно толкались туда и сюда, довольные тѣмъ, что ѣдутъ. Наступали на ноги. Потомъ остепенились. Разобрали пожитки. Пыхтя, тискали высокіе чемоданы подъ сидѣнья и, въ концѣ-концовъ, скла-



дывали ихъ наверхъ. Тамъ они качались, какъ фарфоровыя китайцы, и грозили паденіемъ.

Размѣстились демократично, такъ какъ мѣста были нумерованныя. Внизу — лавочникъ, а наверху — статская совѣтница. Или внизу псаломщикъ, а рядомъ — бывший студентъ. Нѣкоторые были недовольны.

— Послушайте, милый, вы не обмѣняестьсѣ ли со мной мѣстомъ? Тамъ у кого-то отъ ногъ пахнетъ. Я не могу выносить, а вамъ ничего.

— Представьте, я въ первый разъ въ жизни ѣду въ третьемъ классѣ. Пока мы на службѣ, при мундирѣ, то намъ полагается всегда по второму... Рѣшилъ, знаете, заpastись мужествомъ. Хотя, если дать рубль оберу...

— Какое мнѣ дѣло, что нечетныя мѣста наверху? Я дама, и имѣю право на уваженіе. Проводникъ!

Кто-то открылъ два окна, направо и налево. Потянулась черезъ вагонъ ровная струя раскаленнаго степного воздуха.

Вспокоились. Бросились заперать одно изъ оконъ. Долго рѣшали — которое и, наконецъ, закрыли оба.

— Это разумѣется. Избави Богъ — простуда. У меня было только сильное малокровіе, но на этой почвѣ, вы знаете...

— Хорошо, что вы кашляете въ плевательницу. Нѣкоторые такъ прямо на полъ и харкаютъ. Конечно, онъ, можетъ быть, и здоровъ, но другимъ непріятно. Все-таки зараза...

Во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ загудѣли, какъ мухи, заговорили о болѣзняхъ. Рекомендовались другъ другу тѣ, что были еще незнакомы.

— У меня — послѣдствія маляріи.

— А я — послѣ воспаленія легкихъ.

— Тс-с... Вотъ этотъ, съ рыжей бородой, навѣрное, чахоточный. Манюбочка, если онъ попроситъ стаканъ, такъ ты не давай.

Говорили, напрягая мысль и вниманіе. Но что-то не клеилось. Не было такого захватывающаго интереса къ температурѣ, мокротѣ и ночнымъ потамъ, какъ тамъ, на курортѣ.

Статская совѣтница сообразила первая:

— Манюбочка, а вѣдь мы домой ѣдемъ. Ты понимаешь? Опять папочка, тетя Аня. Ни пыли, ни вони. Ты должна

цѣнить, Манюрочка, какая это была жертва съ моей стороны...

— Какъ прїѣду — немедленно Покрову свѣчку. Уже я такое обѣщаніе далъ. Въ случаѣ поправленія — неукоснительно свѣчку. Имѣя въ виду, что я духовный человѣкъ и, стало-быть, вѣрующій. Мнѣ лишь бы здоровье. А тамъ и діаконскаго сана сподоблюсь.

— Тьфу, чорты! Наконецъ-то... Если бы вы только знали, батенька мой, до чего мнѣ вся эта канитель надоѣла. И вѣдь не вѣрю я, главное, во всѣхъ этихъ эскулаповъ. Ну — ни на грошъ не вѣрю.

— Думаете теперь опять зачислиться въ заведеніе? По случаю свободы?

Многословно рассказывали, каждый о своемъ городѣ, и безпричинно улыбались. На большой станціи ѣли въ буфетѣ много и вкусно. Заказывали паровыхъ стерлядокъ, кольчикомъ.

— Здѣсь только и поѣшь ихъ, голубушекъ. Волга-матушка близится!

— Нѣтъ, вотъ когда я служилъ въ гвардіи, такъ одинъ нашъ однополчанинъ, подпоручикъ князь Васькинъ, закатывалъ обѣды!.. Что это такое было!.. Человѣкъ, дайте сою!

— Довольно я терпѣлъ, батенька. Всякую діету по боку. Разъ я чувствую себя вполне здоровымъ...

— Эй, тетка! Калачи, что ли, у тебя?

Когда, пообѣдавъ, тронулись дальше, въ вагонѣ пахло копченой рыбой, лукомъ и, слегка, водкой. А тонкая сѣрая пыль пробивалась сквозь всѣ эти запахи и попрежнему щекотала ноздри.

Сказалась послѣобѣденная апатія. Пауза въ разговорахъ. Переваривали пищу.

Статская совѣтница сложила руки на животѣ и дремала. Псаломщикъ бубнилъ себѣ подъ носъ что-то заунывное, съ однообразными повышеніями голоса и скребущими низкими нотами. Человѣкъ въ большихъ сапогахъ икалъ. Лавочникъ снялъ сначала пиджакъ, потомъ жилетку и остался въ одной зеленой рубахѣ съ горошинками.

Бывшій студентъ вышелъ на площадку и сѣлъ тамъ на полъ, свѣсивъ ноги наружу.

— Господишь, здѣсь не полагается сидѣть. Запрещено по циркуляру.

— Развѣ? Ну, ничего. Вы не волнуйтесь. Вотъ, я посижу немного, да и встану.

Просидѣлъ долго. Вечерѣло, и сѣрая пыль уже не так назойливо лѣзла, какъ днемъ. До великой рѣки было еще далеко, но сѣ влажное дыханіе сказалось. Поля были зеленыѣ. Кое-гдѣ — совсѣмъ изумрудныя. Но и здѣсь на засѣянныхъ нивахъ зіяли черныя пропльшины, какъ раскрытые рты грядущаго голода. Онѣ теперь тоже были красивы, потому что зелень казалась отъ нихъ свѣтлѣе и ярче.

Далеко вспыхнула колокольня, ослѣпительно бѣлая. Дубовая роша загородила ее кудрявой стѣной.

Поездъ повисъ на мгновеніе надъ степной рѣчкой, лѣниво расплывшейся въ низкихъ берегахъ. Кусты и камышевыя заросли смотрѣлись въ украшенную ряской воду, и вода была гладкая, какъ зеркало.

За спиной бывшаго студента кто-то хлопнулъ дверью.

— И не боятесь вы этакъ сидѣть? Знаете, какіе-то столбы съ надписями бываютъ на полотнѣ, совсѣмъ близко. Вотъ и оторветъ вамъ поги-то такимъ столбомъ.

— Не достанетъ.

— Ну, ну... Вы, молодежь — увѣренный народъ... Какъ вы думаете, не сквозить здѣсь?

— Если только съ одной стороны открыто, зачѣмъ же будетъ сквозить?

— У меня горло слабое, я и боюсь. Комадировки снабдили катарромъ. Такія варварскія условія службы — и послѣ этого правительство еще удивляется, что всѣ порядочные чиновники — кадеты. То-есть, у меня лично убѣжденія еще лѣвѣе. Я — социалистъ, но только стою за эволюцію... Однако, закругленіе какое! Долго ли тутъ съ рельсъ сойти? Не люблю я путешествій, знаете. Опасно.

— Да, дома безопаснѣе. Лежать подъ одѣяломъ и грѣться. Хотя можетъ свалиться штукатурка и разбить голову.

— А что вы думаете? Бываетъ...

Когда солнце сѣло, загремѣли чайниками. Учитель по до-



шелъ къ повѣшенному въ простѣнкѣ расписанію и долго водилъ пальцемъ по строчкамъ, но все срывался.

— Проводникъ, скоро кипятокъ будетъ?

— Проводникъ, вы принесете чайникъ для меня и Маню-рочки. Только берите не изъ котла, а въ буфетѣ.

— Мм... охъ! А славно я вздремнулъ. Военная привычка, понимаете. Могу спать и сидя, и стоя.

— Свистокъ поданъ. Должно, остановка.

— Зачѣмъ же это вы, сударь, вишневыхъ косточекъ здѣсь набросали? Это, вообще, не въ аккуратѣ и ходить не удобно... Вишь ты! ушелъ—и слова не проронилъ. Какъ будто не къ нему касательно.

— Удивительную массу вишенъ онъ сѣдаетъ. Онъ, кажется, и не обѣдалъ, — все только вишни ѣлъ.

— Человѣкъ больной. Вотъ его къ кислому и тянетъ.

— Вишни-то на исходѣ теперь. Сладкія.

— Есть съ кислицей. Это владимирскія, — тѣ, дѣйстви-тельно...

— Проводникъ, а гдѣ же нашъ чайникъ? Вы изъ буфета брали?

Чаепитіе создало опредѣленный смыслъ для существо-ванія и прогнало апатію. Опять уьемъ загудѣлъ весь вагонъ.

— Конечно, само по себѣ горло — пустяки, но у меня есть наслѣдственное предрасположеніе. У меня тетка со стороны матери...

— Позвольте! Что такое выстрѣлило?

— Манюрочка, подбери юбки! Течетъ...

— Кумысъ мой лопнулъ. Нарочно бутылку съ собой взялъ, — думалъ дорогой выпить, да за объѣдомъ налегъ на рябиновую и позабылъ.

— Да-а... А еще учитель...

— Что такое вы говорите про учителя?

— Насъ, офицеровъ запаса, всегда выдвигали на первую линію. И представьте себѣ наше положеніе, — какой-нибудь безусый фондрикъ, который, съ позволенія сказать, только что изъ яйца вылупился, состоитъ вашимъ непосредствен-нымъ начальникомъ! И прячется за вашу сѣдовласую спину,

пракалія! Потомъ они и въ комитетѣ о ранихъ насъ за-терли. Едва-едва я добился...

— Это вы, милостивый государь, напрасно изволите предпо-лагать, что намъ наше церковное служеніе легко дается. Въ гладѣ и хладѣ пребываемъ и опять же на клиросѣ отъ окошка дусть. Полтора года дуло на меня и падуло воспа-леніе. А я перемогался. Сквозь оба бока насквозь стрѣля-еть, а я: „И молимтиса, услыши ны...“

— Я всё юбки испачкала... Кто пролилъ, тотъ пусть и подтираетъ! Нѣтъ, чтобы я еще въ третьемъ классѣ... И все это твое малокровіе, Манюточка...

— А вы, барыня-матушка, служиваго-то, служиваго по-просите... Онъ голичкомъ замететь.

— Что касается до аграрной программы, то здѣсь я всецѣло раздѣляю вашу кадетскую точку зрѣнія. Ты, милый, купи, да затѣмъ уже и обрабатывай. А даровое пойдетъ прахомъ, пропадется. И даже эта самая ваша муни... муни-ципализація — совершенная утопія.

— Какой же вы, въ такомъ случаѣ, социалистъ?

— Тсс...

— Ну, такъ и быть, барыня, сторгуемся. Пользу я по-чевать на верхнюю полку. Который ежели толстый, то ему, всеконечно, лучше внизу. Не сорвется. А я — что же? Одинъ скелетъ.

Посмотрите, рыжій все еще ѣстъ вишни. Покупаетъ на каждой станціи и ѣстъ.

— Онъ не нѣмой ли? Ни слова не проронилъ еще.

— Нѣтъ, разъ выругался.

— Непріятно, знаете, смотрѣть на такое лицо. Напо-минаетъ о болѣзни.

— Такъ вотъ, говорю я, едва добился, чтобы Красный Крестъ отправилъ меня на кумысное леченіе. — Помилуйте! — кричу въ комитетѣ. — Какому-нибудь фендрику, у котораго мизинецъ исцарапанъ, — предпочтеніе, а я, сѣдовласый ве-теранъ!.. Вы представьте себѣ: сюда вошло, а отсюда вышло. Легкое — насквозь.

— У васъ кровяныя жилки отдѣлялись съ мокротой?

Въ девятомъ часу вечера всё лежали. Задержнули фонарь.

Человѣку съ рыжей бородкой досталось мѣсто коротенькое, вдоль вагона. Длинные, худыя ноги не умѣстились и двумя трехугольниками торчали кверху.

Въ десять часовъ — храпѣли.

Бывшій студентъ сидѣлъ и прислушивался. Храпъ былъ похожъ на стонъ, — нудный, болѣзненный, — и это тревожило.

Храпѣли разнообразно. Псаломщикъ тоненько свистѣлъ носомъ, у запасного офицера звуки, низкіе и густые, вырывались изъ глубины горла. Чиновникъ чмокалъ и пришепetyвалъ. Но во всемъ этомъ разнообразіи была общая нота. Она и заставляла бывшего студента прислушиваться съ невольной жутью.

Днемъ, пока двигались, ѣли, шумѣли и ссорились, — то страшное, что заставило провести лѣто на кумысномъ курортѣ, въ пыльной и гадкой степи, — отошло на задній планъ. Вспоминали о немъ, какъ о прошломъ, какъ о пережитой уже опасности. Приходилъ когда-то кредиторъ, — страшный, невѣдомый, — и требовалъ свой долгъ. Но ему сунули взятку, внесли проценты, — и онъ отошелъ. Какъ будто далеко отошелъ. Его не видно.

Они страдали, они боялись. Днемъ и ночью страшились за жизнь, — за жизнь, которая вся состоитъ изъ повышенной температуры, ночныхъ потовъ, надрывного кашля. Сами себя загнали въ ссылку. Съ тупымъ упорствомъ пили кумысъ, отъ котораго первое время тошнило и рвало. Какъ на бога, смотрѣли на доктора. Заискивали передъ нимъ. Можетъ-быть, если будешь съ нимъ поласковѣе, онъ скажетъ, что здоровье улучшается, — а это такъ пріятно. Пріятно подольше, подольше лихорадить, обливаться потомъ, заплевывать землю своей дурной, черной кровью. Каждую недѣлю взвѣшивали на вѣсахъ свое мясо и съ трепетомъ слѣдили за указателемъ: упадетъ — или поднимется.

Ахъ, это было скучно. Теперь все кончилось. Они здоровы. Они ѣдутъ домой. Если курсъ леченія кончился и они ѣдутъ домой, то, конечно, это значить, что они здоровы. Вы слышите, какъ торопится поѣздъ: Тра-та-та! Тра-та-та!

Духъ сталъ днемъ сильнѣе тѣла. А теперь, во снѣ — дряблѣе, источенное болѣзнию тѣло, то самое, которое ак-



куратно каждую недѣлю таскало себя на вѣсы, утратило волю. Обманъ отлетѣлъ, — и въ тяжеломъ храпѣ откуда-то изъ глубины прорывалась особенная пота. Такая унылая, сверлящая. Монотонно, настойчиво скулила:

„Я помню. Я знаю. Ничто не кончилось. Оно здѣсь“.

Бывшій студентъ слушалъ, слушалъ — и опять ушелъ на площадку.

Висѣла ночь. Скрадывала рѣзкія пятна и линіи. Рисовала своей мягкой, ласковой кистью какіе-то новыя, небывшіе лѣса и рѣки, — сказочные, задумчивые. И каждый ракиновый кустъ былъ полонъ ночью, насыщался ею, протягивалъ трепетныя вѣтви, — легкія, таявшія въ синей мглѣ.

Жизнь дремала. Мгновеній не было. Они остановились, застыли. И не было слышно, какъ бьется сердце. Что такое сегодня, вчера? Ничего нѣтъ. Жизнь дремлетъ.

Студентъ широко открытыми глазами ловилъ сумракъ. То, что поѣздъ двигался, — не мѣшало. Впереди и позади вставало одно и то же. Лѣсъ со смутными тѣнями, гдѣ сейчасъ, должно быть, нѣжата кикиморы. Или, дальше, рѣка. Надъ ней пеленой тянется туманъ. Мѣстами спустилось въ немъ что-то свѣтлос, съ зеленоватымъ. Русалки? Для нихъ тоже нѣтъ времени. Холодныя, дремлютъ — и сердце въ нихъ не бьется.

Нѣтъ, не страшно жить. Нужно только чувствовать все это общее, что днемъ заслоняется гамомъ и криками.

А вѣтви у ракиноваго куста трепещутъ тихо, тихо и — расплываются. Это — мечта, дрема.

Вывернулся вдругъ, какъ длинный испуганный лѣшій, столбъ семафора съ безсильно спущенной желѣзной рукой. Не мигая, смотрѣлъ остановившимся зеленымъ глазомъ безъ вѣкъ. И сейчасъ же заоралъ паровозъ, глупымъ и наглымъ ревомъ, — и дрема исчезла, а сердце забилося больно, громко, отрубая мгновения.

Подъ утро студентъ уснулъ на своей жесткой койкѣ, и во снѣ часто ворочался, потому что кости у него ныли отъ ревматизма. Видѣлъ дурныя, тяжелыя сны, но не успѣлъ выпастись, такъ какъ сосѣди рано поднялись и зашумѣли. Лица у всѣхъ были измятыя, сѣрыя, съ красными отлежан-

ными складками. Говорили тише, чѣмъ хотѣлось, судорожно поводили плечами, хотя въ вагонѣ было душно.

Учитель справился у проводника, сколько верстъ проѣхали за ночь.

— Слышите, слышите? Сейчасъ Волга, черезъ четверть часа Волга... Ого! Скоро и дома.

— Къ тебѣ, Владыко человѣколюбче, отъ сна возставъ, прибѣгаемъ...

— А у меня въ лабазѣ, поди, и дѣловъ успѣли кучу надѣлать. Безпремѣнно старшаго приказчика выгоню. Вотъ, только приѣду, возьму бразды въ руки — и выгоню. Шалишь! Опять человѣкомъ сдѣлался.

— Чтобы я это дѣло такъ оставилъ? Нѣтъ-съ, сударь! Довольно уже тамъ всякіе камергеры руки нагрѣвали. Клянусь честнымъ словомъ военнаго... До неба дойду, а по моему сдѣлается.

— Вѣдь такая досада, знаете: одного мѣсяца не хватило мнѣ до ценза въ прошлыхъ выборахъ. Конечно, если бы у насъ частный былъ поприличнѣе...

— Уже вы не говорите, батюшка. Стоить, стоитъ — да и провалится. Передъ образомъ-то неугасимую жгутъ. Только владычица и спасетъ. Какъ заѣзжать будемъ — перекреститесь, и какъ съѣдемъ — перекреститесь. Въ прошеніе и въ благодарность.

— Да тебѣ, старуха, седьмой десятокъ. Ужели помирать боишься? Шестой, говоришь? Анъ, врешь. Отъ тебя уже и псиной пахнетъ.

— Благослови Господи, заѣзжаемъ!..

— Манюсочка, не смотри внизъ. У тебя голова закружится. И почему это нельзя безъ мостовъ.

На длинномъ мосту присмирѣли. Желтая, съ радужными пятнами нефти, вода колыхалась внизу и частые желѣзные переплеты рябили въ глазахъ.

Зато, когда вынеслись на противоположный берегъ, псаломщикъ первый размахнулъ въ воздухъ полами ряски, крѣпко потянулъ поздрыми воздухъ и засмѣялся.

— Чего ржете, отче?

— Господи Иисусе! Весело. Домой вѣдь. Къ осени и дяконская вакансія очистится.

— Тебѣ на крылось-то опять бокъ прозвѣздить.

— И что это вы такъ? Ну, болѣлъ, а теперь залѣчился. А вы говорите — прозвѣздить. Неблаголѣпно это.

И всѣ пересмѣивались и, поглядывая другъ на друга веселыми, прыгающими взглядами, толкались въ тѣсномъ вагонѣ довольные, что то осталось на другомъ берегу огромной рѣки.

— А рыжій все вишни ѣстъ?

— Вонъ онъ сидитъ. Нѣтъ. Глаза закрылъ.

— Не смотрите на него. Какой онъ блѣдный.

— Я думаю, что всякая политическая партія должна идти по линіи наименьшаго сопротивленія. Оппортунизмъ? Ахъ вы, молодежь, молодежь!..

— Станція? Не стоитъ выходить. Скоро хорошій буфетъ будетъ.

Солнце грѣло. На запасномъ пути, въ тѣни товарнаго вагона, сидѣли школьники и мягкими, забавно-ласковыми голосами пѣли пѣсню о Разинѣ.

— Алой кровью налилися  
Атамановы глаза,  
Брови черныя сошлись, —  
Надвигается гроза...

— Эхъ, жаль! Поѣхали уже. А хорошо поютъ, пострѣлята.

— Видите, какъ долго живетъ память объ истинныхъ народныхъ герояхъ?

— Будетъ вамъ. Это ихъ въ школѣ научили.

— Я бы запретила пѣть такія вещи. Хулигановъ воспитываютъ.

— Постойте, кто это такъ кашляетъ?

— Рыжій. Въ среднемъ отдѣленіи.

— Я не могу слушать. У него тамъ что-то рвется.

— Вы какъ думаете, опять паровую стерлядку?

— Рановато, пожалуй. А придется.

— Да когда же онъ перестанетъ, наконецъ?

— Не слушай, Манюлочка, не слушай. Заткни уши.

Длинный поѣздъ изогнулся змѣей на поворотѣ. Замед-



лишь ходъ. Блеснула платформа, — такая бѣлая подъ лучами солнца, какъ столъ, накрытый скатертью.

— А есть здѣсь буфетъ?

— Подождите еще съ полчаса. Здѣсь хуже.

— Что же стоимъ такъ долго?

Двое или трое вышли на платформу, но солнце обожгло ихъ и они сейчасъ же вернулись. Отставной офицеръ плевалъ на обшлагъ и чистилъ имъ фуражку.

— Вотъ еще исторія-то манчжурская! Съѣла пыль на сальное пятно, — никакъ не ототрешь.

— Что это? Что это?

— Манечка, ради Бога, отвернись!

— Воды дайте! Подстелите газету!

— Что это?

Рыжій сидѣлъ, нагнувшись, и кашлялъ. Его тѣло въ тонкомъ пиджакѣ свивалось дугой, какъ у раздавленного червяка, и большія, угловатая лопатки были странно выпуклы. Онъ кашлялъ. И съ тоненькими, хриплыми, лающими звуками выбрасывалъ изо рта густую, темную кровь, которая тяжелыми каплями падала на полъ, стекала по рыжей бородкѣ, размазалась на усахъ. Правая рука съ длинными, грязными ногтями тоже была запачкана кровью, и рыжій, приподнявъ ее, отставилъ въ сторону и растопырилъ пальцы, какъ будто отгонялъ кого-то, кто мѣшалъ ему.

Бывшій студентъ съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на эту кровь и подумалъ, что это очень грязно, и что проводнику придется истратить много времени, чтобы отмыть ее съ истертаго, безъ краски, пола.

Рыжій немного повернулъ голову и, продолжая кашлять, посмотрѣлъ на студента.

Глаза были голубые, съ большими черными зрачками и сѣтью красныхъ жилокъ на бѣлкахъ. И, встрѣтившись съ этими глазами, студентъ согнулъ колѣни, весь съежился и протяжно выкрикнулъ, полный неописуемой тоски и ужаса, который передали ему эти глаза:

— Аа!..

Глаза смотрѣли. Отчаянный, темный, неистовый до нѣмоты ужасъ чернѣлъ въ этихъ глазахъ и все росъ, наро-

сталъ, и глаза выходили изъ орбитъ, не вмѣщая его. Выходили изъ орбитъ и медленно скользили справа налѣво, какъ будто ища помощи, отошли немного въ сторону и опять быстро, однимъ скачкомъ вернулись къ студенту. И, кромѣ ужаса, была въ нихъ теперь мольба, — мольба раздавленнаго, погибшаго мучительно и безнадежно.

Кровь пахла кисло, противно.

Пассажиры столпились двумя группами, по обѣ стороны мѣста, гдѣ сидѣлъ рыжій, — и не могли поймать того взгляда, который ударилъ студента, потому что были прикованы къ лужѣ больной крови, липкой и медленно расплывающейся.

Высокій лавочникъ выглядывалъ изъ-за спинъ, въ заднемъ ряду.

— Вишь ты... Вишни-то!

Рыжій опустилъ руку. Закачался корпусомъ. Одно мгновеніе казалось, что онъ соскользнетъ со скамьи и упадетъ на полъ, прямо въ липкую лужу, но никто не поддержалъ его. Онъ самъ сдѣлалъ конвульсивное движеніе и откинулся въ уголъ, образованный стѣной и перегородкой. Пересталъ кашлять, а кровь посвѣтлѣла и текла тонкой струйкой по борту пиджака.

Блѣдныя, матовыя вѣки опустились на глаза. И сразу же что-то погасло на лицѣ, а залегшая между бровями складка мученія разгладилась.

Паутина, связывавшая волю студента, разорвалась. И со смутнымъ чувствомъ какой-то виновности, онъ сказалъ слабымъ, не своимъ голосомъ:

— Нужно бы доктора... Нѣтъ ли здѣсь доктора?

Отставной протянулъ зачѣмъ-то свой узловатый палецъ и съ брезгливой осторожностью прикоснулся имъ ко лбу рыжаго.

— Капуть. Умирать! — честное слово военного.

Опущенныя вѣки вздрогнули. Скользнула по лицу гримаса. Студентъ оттолкнулъ военного.

— Да что же вы! Онъ слышитъ.

Учитель зажалъ себѣ ротъ платкомъ.

— Не наступайте на кровь. Это — зараза.

— Въ самомъ дѣлѣ — зараза!

Давя другъ друга, отступили.

— Упокой, Господи, душу раба твоего, его же имя Ты, Господи, вѣси...

— Не скулите вы! Такая непріятность, такая непріятность!..

— Чего онъ ѣхаль, я васъ спрашиваю?

— То-то я и смотрѣлъ: все ѣсть, все ѣсть... А его уже корежило. Вотъ онъ и отшибаль вишнями.

Бывшій студентъ бѣжалъ по бѣлой, похожей на скатерть, платформѣ. Наткнулся на какого-то человѣка въ форменной фуражкѣ.

— Послушайте... Гдѣ докторъ? У насъ въ вагонѣ человѣкъ умираетъ... Или, по крайней мѣрѣ, что-нибудь кровоостанавливающее. Поскорѣе!

Онъ думаль, что человѣкъ тоже долженъ заразиться его ужасомъ, но тотъ посмотрѣлъ вяло и сонно.

— Какъ это: умираетъ?

— Да такъ же... Чахоточный... Истекаетъ кровью.

— Ага... Пойдемте. У насъ аптечка есть на станціи. Посмотримъ тамъ.

Шли страшно медленно, а фигура человѣка въ фуражкѣ подпрыгивала, какъ будто дѣлала широкіе, размашистые шаги бѣгущаго.

Открыли маленькій шкафчикъ изъ желтаго дерева, съ рядомъ флаконовъ и баночекъ.

— Вотъ у насъ—все. Сулема, хининъ... гофманскія... ли-стерова повязка... Не подойдетъ, пожалуй?

— Нѣтъ, нѣтъ... Вы понимаете? Чтобы кровь не шла... чтобы кровь...

— А вы льду возьмите въ буфетѣ. Пусть глотаетъ. Мы дадимъ телеграмму. Его ссадятъ на слѣдующей станціи. У насъ здѣсь нѣтъ ничего.

Стойка съ рюмками на длинномъ мельхиоровомъ подносѣ. Нарѣзаны на тарелкѣ кусочки семги. Аккуратные, розовые. Кто-то крикаетъ и тычетъ вилкой въ эту семгу, но кусочки соскальзываютъ.

— Дайте льду.

Большой, прозрачный кусокъ завернули въ бумагу. Она расплзлась и холодила пальцы сырымъ ознобомъ.



— Вотъ спасибо. У насъ больной...

— Позвольте... Пятнадцать копѣекъ за ледъ.

— Ахъ, да! Пятнадцать копѣекъ. Хорошо, хорошо. Простите.

Бѣлая, какъ скатерть, платформа. Наверху небо — огромное, глубокое. Солнце печетъ голову и странно, что рукѣ со льдомъ такъ холодно.

Дорогой перегналъ человѣка въ фуражкѣ вмѣстѣ съ другимъ, — тоже въ фуражкѣ, но, какъ будто, военной. Этотъ другой — въ парусиновомъ кителѣ и облупившихся лаковыхъ сапогахъ. Толстый. Сопитъ носомъ. Видно, что сдѣлалъ очень длинную дорогу и часто спалъ, не раздѣваясь.

— Подождите-ка! Молодой человѣкъ! Вотъ, я врача веду. Случайно оказался въ поѣздѣ. Гдѣ это у васъ?

У вагона, на платформѣ, сжались плотной кучкой пассажиры. Замахали руками.

— Померъ уже... Совсѣмъ померъ. Не дышитъ.

— Мм... да. Я посмотрю сейчасъ. Пропустите.

— Не толпитесь, господа. Пропустите врача.

Опять вагонъ, кислый запахъ крови — и трупъ. На опрaвленныхъ усахъ съ повисшими капельками копошатся мухи, — какія-то особенныя, зеленоватыя, которыя садятся только на навозъ и трупы.

Изъ-за врача вывернулся жандармъ, шеголеватый, въ хорошо выстиранныхъ перчаткахъ. Совсѣмъ равнодушно ходилъ вокругъ трупа и распоряжался.

— Жуковъ, положи его. Накрой лицо, чтобы мухи не сажались. А вы, господа, перемѣститесь въ боковыя отдѣленія. Среднее будетъ заперто. На слѣдующей станціи вагонъ перемѣнять... Ну, тебѣ чего надо, дьяволъ?

— Чай, любопытно.

— Человѣкъ померъ, только и всего. Очень обыкновенно.

Неловко, съ лишними движеніями и ненужной бранью перенесли въ боковыя отдѣленія свои пожитки. Изъ разорванной газетной бумаги просыпались сдобныя крендельки.

— Бросьте, не подбирайте... Тутъ зараза.

Разсѣлись тѣсно, по четыре и по пять человѣкъ на скамѣ.

— Почему же его не выносятъ? Почему не выносятъ?

— Довезутъ до большой станціи. Здѣсь, говорятъ, пріемнаго покоя нѣтъ.

— Такъ мы съ мертвымъ и будемъ ѣхать?

— Недолго. Четверть часа.

— Тронулись... Прижмите дверь плотнѣе, плотнѣе. Оттуда пахнетъ.

— Завтракать будете?

— Какая уже теперь стерлядка. Я цѣлый день ѣсть ничего не буду. Меня тошнить.

— А я, знаете, привыкъ. Мы, знаете, частенько изъ вонючихъ колодцевъ пили... съ трупами. Нарочно портили узкоглазые. И ничего. Вскипятишь, чайку засыплешь...

— Маниюрочка, отгони муху. На тебѣ муха. Она, можетъ быть, на немъ сидѣла... Вытри слезы. Ты же знаешь, что тебѣ нельзя волноваться...

— Душа-то вѣдь нѣжная, дѣвическая, матушка барыня. Вотъ и жалѣеть.

— А молодой еще былъ. И какъ сразу. Ходилъ, ѣлъ вишни.

— Вотъ именно — сразу.

— Родня-то есть ли у него?

— Жандармъ по карманамъ шарился. Сказываютъ, бумажки какія-то нашелъ. Разыщутъ.

Разговоръ обрывался. Косились на плотно запертую дверь. И когда она вдругъ распахнулась, — вздрогнули, нѣкоторые вскочили даже.

— Ничего, это проводникъ. И чего ты, братецъ, шлешься? Оттуда микробы летятъ.

— Ыдемъ съ покойникомъ, словно бы въ катафалкъ.

Чиновникъ близко придвинулъ къ студенту свое возбужденное лицо съ красными пятнами на щекахъ.

— Послушайте, вѣдь это страшно. Вы понимаете?

И студентъ понялъ, что страшна не эта скорая смерть никому неизвѣстнаго и ненужнаго человѣка, а страшно то, что и онъ самъ, и чиновникъ, и офицеръ, и псаломщикъ тоже могутъ и должны умереть и въ груди у нихъ, пожалуй, давно созрѣло ядовитое, убивающее.

Солнце свѣтило ясно, и за окнами вагона было свѣтло и радостно, и въ зелени садовъ наливались фрукты. А сквозь

плотно припертую дверь прокрадывалась холодная мгла, дѣлала свѣтъ мертвымъ и мелкой дрожью бѣжала по спинамъ.

Противъ студента сидѣлъ псаломщикъ и тихонечко теръ, засунувъ руку подъ рясу, застуженный бокъ.

— Все стрѣляетъ, стрѣляетъ... А на клиросѣ сквозняки у насъ. Дьяконское-то мѣсто — оно когда еще опредѣлится. А на клиросѣ — сквозняки.

— Да онъ не на кумысѣ ли былъ?

— А какъ же... Не помогло, значить... Ужъ кому назначено.

— И опять, ежели разобраться, то какой уже я теперь хозяинъ? Меня ребенокъ переломить.

— Нѣтъ, нѣтъ, вѣдь это страшно. Вы понимаете? И зачѣмъ тогда все это? Зачѣмъ?

Студентъ медленно кивнулъ головой.

— Да. Но не мы — одни. Только мы ближе. У васъ есть друзья?

— Ну вотъ, Господи. Жена, дѣти...

— И вамъ... не страшно глядѣть на нихъ?

— Я... я думаю, страшно. Бросьте это. Я не могу. Будемте въ окно смотрѣть... А какъ долго насъ везуть... Говорили, что четверть часа. А онъ все ѣдетъ, ѣдетъ вмѣстѣ съ нами. Ёхалъ живой — и мертвый ѣдетъ.

— Вишенье-то не доѣлъ свое. Я видалъ — лежить въ мѣшочкѣ. И подлѣ — косточки.

— Тоже, чай, думалъ куда ни на есть опредѣлиться.

— Все везуть. Насъ безъ конца будутъ везти. И онъ все будетъ ѣхать. Понимаете: за дверью. Дверь заперта, но вѣдь мы знаемъ, что тамъ такое.

Поездъ однообразно гремѣлъ колесами. На багажныхъ полкахъ чемоданы покачивались, какъ фарфоровыя куклы. Брошенный въ уголъ прозрачный кусокъ льда, съ прилипшими кусочками размокшей бумаги, медленно таялъ и дорожка воды бѣжала отъ него къ натопанному проходу между мѣстами.

И студентъ тоже думалъ, что всѣ они — пассажиры вагона — вѣчно будутъ такъ ѣхать, и вѣчно будетъ сторожить ихъ мертвецъ среди яснаго полдня, за плотно припертой дверью.



## Заповѣдное.

Въ заповѣдномъ бору скрипѣла большая, двуручная пила. Два мужика, изогнувшись, подпиливали крѣпкій, какъ желѣзо, стволъ толстаго, мохнатаго кедра. Пила шла туго, гнулась и лязгала.

Запилили съ одной стороны ствола глубже, чѣмъ до половины, потомъ положили пилу, отдохнули и взялись за топоры. Одинъ мужикъ, худой и плечистый, въ синей съ полосками рубахѣ сильно, со злостью, взмахивалъ топоромъ и крѣпко воизалъ его въ дерево, такъ, что внутри, въ древесинѣ, каждый разъ отзывалось что-то болѣзненнымъ стономъ; другой рубилъ мягко и лѣниво, какъ будто жалѣя, и, поэтому, все не попадалъ въ тактъ и опаздывалъ. А старый кедръ стоялъ себѣ, еще прямой и неподвижный, и только самыя верхнія развины вѣтвей, увѣшанныхъ зелеными шишками, дрожали непрерывной, частой и глубокой дрожью.

Жалостливый мужикъ, въ розовой ситцевой рубашкѣ съ потертыми локтями и выгорѣвшей, слинявшей спиной, первымъ остановился передохнуть, когда зарубка углубилась уже вершка на два. Смахнулъ со лба потъ и медленно, дрожащей отъ усталости рукой, полѣзъ въ карманъ за кисетомъ. Другой не курилъ и не садился. Крѣпко вросъ въ землю большими, обутыми въ тяжелые сапоги, ногами, и, хмурясь, пробовалъ пальцемъ зазубрину на блестящемъ лезвѣ.

Розовый поднялъ глаза кверху, скользнулъ взглядомъ по прямому, какъ башня, и приземистому стволу, и сказалъ не товарищу, а такъ, кому-то третьему, котораго не было:

— Крѣпкая домовина будетъ у дѣда... До страшнаго суда пролежить. Ужъ это такъ. И червякъ ее не возьметъ.

Синій съ полосками оборвалъ его коротко и почти начальственно, хотя выглядѣлъ моложе.

— А ты не зѣвай. Скоро вечерять пора. Руби.

Въ бору неподалеку заверещала было какая-то звонкая птица и сейчасъ же умолкла, напуганная новыми ударами топоровъ. Удары чередовались: сильный, злой, и мягкій, жалостливый. И съ незамѣтнымъ шорохомъ сыпались на мягкую землю пахучія смолистыя щепки. Отъ погибающаго кедра тянулась черезъ полянку длинная тѣнь, — и у ся основанія мѣрно и быстро, какъ на пружинахъ, сгибались и разгибались двѣ другія тѣни, угловатая и некрасивая. Вѣтвистая вершина дрожала все сильнѣе, и эта дрожь все ниже опускалась по стволу, а крѣпкая коричневатая сердцевина все громче и жалобнѣе стонала подъ ударами злого.

Розовый былъ внимательнѣе. Когда вершина плавно и почти незамѣтно начала подаваться всторону, онъ первый увидалъ это, бросилъ топоръ и, отбѣгая, крикнулъ:

— Поберегись!

Вершина гнулаь быстрѣе, быстрѣе. Внизу, у комля звучно порвалось и треснуло, какъ будто мохнатый кедръ удивленно и горестно сказалъ:

— А — охъ!..

— Потомъ вся огромная вѣтвистая масса разомъ упала на землю, путаясь и свиваясь, какъ змѣями, перешибленными сучками, и запрыгали во всѣ стороны, съ сухимъ шелканьемъ, зеленая шишки. И долго еще вплоть надъ самой землей колебались и ходили ходуномъ мохнатая вѣтви, и вздрагивалъ срубленный кедръ въ тяжелыхъ предсмертныхъ конвульсіяхъ.

Когда все кончилось, розовый громко вздохнулъ и перекрестился.

— Или жалко? — негромко и слегка насмѣшливо спросилъ кто-то съ той стороны, куда упалъ кедръ. Тамъ, за горой вѣтвей, такъ что его видно было только до пояса, стоялъ какой-то новый человѣкъ, крѣпко опираясь обѣими руками на высокую, до подбородка, палку.

— Эхъ ты, другъ честной! — удивился розовый. — Смотри, не задѣло тебя?

— Малость, что и не задѣло! — отвѣтилъ человѣкъ и широко улыбнулся, словно сказавъ что-то очень веселое и пріятное. Лицо у него было еще не старое, но все въ мелкихъ и частыхъ оспинкахъ и, потому, со своей жидкой бѣлокурой бородкой, онъ издали походилъ на старика. — Иду я тропой и слышу: тукъ-тукъ! тукъ-тукъ! Дай, думаю, на дроворубовъ погляжу. А они было меня придавили, дроворубы-то...

Синій съ полосками тоже взглянулъ на новаго человѣка и подозрительно крикнулъ. Потомъ проворчалъ себѣ подъ носъ, по-тараканыи шевеля усами:

— И очень ладно... На другой разъ не шлялся бы, гдѣ не спрашиваютъ.

Человѣкъ, помахивая палкой и слегка прихрамывая, обошелъ кругомъ упавшее дерево. Теперь было видно, что онъ одѣтъ въ длинную, до колѣнъ, бѣлую рубаху и въ бѣлые широкіе штаны, которые обремкались внизу и лежали неровными зубцами на стоптанныхъ кожаныхъ коткахъ. Синій съ полосками посмотрѣлъ на эти штаны и спросилъ.

— Издалека идешь?

Человѣкъ опять улыбнулся, но не сразу отвѣтилъ. Сначала оглядѣлъ обоихъ мужиковъ своимъ ласковымъ и внимательнымъ взглядомъ, затѣмъ указалъ концомъ палки въ сторону горизонта, куда опускалось вечернее солнце.

— Пришелъ съ заката, иду на восходъ. До конца земли хочу дойти.

Розовый многозначительно поднялъ брови.

— Вишь ты! Пройди-свѣтъ, стало быть... Вотъ оно какое дѣло!

Синій съ полосками молча сплюнулъ и, путаясь въ мохнатыхъ зеленыхъ вѣткахъ, принялся рубить сучья. Розовый не успѣлъ еще отдохнуть, но побоялся отставать отъ товарища и, зайдя съ другой стороны, тоже заработалъ топоромъ.

Сыпались дождемъ мелкія смолистыя шепки, и огромныя лапчатые вѣтви медленно отваливались отъ своихъ узловъ.



тыхъ основаній, обнажая стволъ. И раздѣтый кедръ казался теперь безобразнымъ, какъ все, насильственно оторванное отъ жизни.

Новый человѣкъ смотрѣлъ на работу и молчалъ. Розовый усталъ, и ему хотѣлось курить, и потому онъ сдѣлался злѣе. Выпрямился, расправилъ грудь и бросилъ человѣку нѣсколько словъ, которыя долетѣли до него твердыя и колючія, какъ щепки.

— А ты бы шелъ себѣ, другъ честной... И смотрѣть тутъ совсѣмъ нечего. Тутъ тебѣ ничего не очистится.

Человѣка какъ-будто совсѣмъ не укололи эти слова. Онъ оправилъ концами пальцевъ свѣсившуюся на лобъ прядь свѣтлыхъ волосъ, сдѣлалъ еще шага два впередъ и посту- чалъ палкой по суковатому пню.

— Хорошее было дерево... Зачѣмъ срубили?

— Тебя, виднѣ, не спросились!—проворчалъ синій. Пос- торонній и праздный свидѣтель раздражалъ его и, должно- быть, мѣшалъ работать, потому что топоръ часто срывался и попадалъ не туда, куда нужно.

Человѣкъ покачалъ головой и улыбнулся.

— Вотъ и худо, что не спросились. Я бы сказалъ: не руби, оставь. Зачѣмъ здоровое губить... Вонъ, шишекъ-то на немъ было... А въ шишкахъ — орѣхи, ядрышки. Я это знаю. Хотя и не здѣшній, а знаю.

Оба не отвѣтили,—и синій и розовый. Тяжело дыша, возились надъ упавшимъ, раздѣтымъ стволомъ и обнажали его все больше и больше, отъ комля къ верхушкѣ. Новый человѣкъ присѣлъ на свѣжій пенъ, скинулъ съ правой ноги стоптанную обувь и началъ осторожно разворачивать пор- тянку. Заговорилъ вполголоса, какъ-будто самъ съ собой, но все-таки его высокій, горловой голосъ былъ хорошо слышенъ даже сквозь стукъ топоровъ и шелестъ отрублен- ныхъ вѣтвей.

— Шелъ, шелъ, да и растеръ ногу. Теперь какъ сту- пишь—болить. А идти далеко еще. Залѣчить надо. Масли- цемъ бы намазать да завязать. Затянетъ... И притомился уже я, старый человѣкъ, притомился. Отдохнуть бы дене- чекъ. Потомъ, свѣженькій-то, опять пошелъ бы... и лѣсами,

и горами, и зелеными долами. Все на восходъ... до края свѣта...

— Богу, что ли, молиться туда идешь? — не выдержалъ опять розовый. — Или чорту свѣчку поставишь?

Человѣкъ размоталъ портянку и началъ снова, поаккуратнѣе, прилаживать ее къ больной ногѣ. И между дѣломъ объяснилъ ласково и наставительно:

— Чорта нѣтъ на свѣтѣ, милый человѣкъ. Его ваши попы выдумали, чтобы васъ, сиротинокъ, пугать. И чорта нѣтъ, и зла никакого нѣтъ, кромѣ того, которое отъ людей. Богъ зла не творилъ. Онъ свѣтлый, Богъ-то. Радостный. Зачѣмъ ему зло?

— То-то, что отъ людей! — многозначительно согласился розовый и, оставивъ работу, подошелъ поближе къ пню, на которомъ сидѣлъ человѣкъ. — Тебя какъ звать?

— Странникомъ, сиротинка. Станный человѣкъ я. А другого имени у меня нѣту. Имена тоже отъ людей пошли, а Богу они не надобны. Онъ и такъ всѣхъ знаетъ.

Розовый подошелъ еще ближе.

— Что жъ, ты въ пачпортѣ такъ прописанъ, — странный, молъ, человѣкъ и больше никакихъ?

И, не дожидаясь отвѣта, посовѣтовалъ:

— А и впрямь шель бы ты, странный человѣкъ, подальше. У насъ тутъ бродягъ не любятъ. Намедни, вонъ, опять кладовку разорили. Да и урядникъ у насъ исполнительный живеть. Сейчасъ тебя заберетъ и въ станъ предоставитъ.

— Если заберетъ, то, конечно, предоставитъ! — согласился странникъ. — А только я имъ на глаза не буду попадаться, слугамъ-то человѣческимъ. Я какъ-нибудь стороной.

— Такъ, такъ! Пойдешь стороной, да невзначай въ кладовку и забредешь! — сказалъ сипій съ полосками, который тоже пересталъ работать. — Нѣтъ, ужъ ты проходи своей дорогой. Намъ ты не надобенъ.

— Эхъ вы, мои сиротинушки! — протянулъ странникъ такимъ голосомъ, какъ-будто ему было жалко не себя самого, а тѣхъ двухъ людей, которые гнали его прочь. — Куда же я пойду, на ночь глядя? И притомился я, и нога у меня стерта. Выходитъ, что надо мнѣ у васъ заночевать. А насчетъ

кладовоѣ вы напрасно. Зачѣмъ мнѣ? Дадите странному чело-  
вѣку хлѣба краюху, я и сытъ.

И, покончивъ съ этимъ вопросомъ, неожиданно пере-  
мѣнилъ разговоръ.

— Зачѣмъ дерево-то срубили?

Розовый хотѣлъ разсердиться, но странникъ смотрѣлъ  
на него такъ ласково и незлобиво, что онъ только шмыгнувъ  
носомъ и коротко отвѣтилъ:

— На домовину.

— Или померъ кто?

— Дѣдъ... На что больше этакій лѣсъ рубять? Только на  
домовины и рубять.

Странникъ недовольно покачалъ головой.

— Когда чело-вѣкъ померъ, такъ ему уже все равно. Хоть  
на навозъ его вали. А вы этакую домовину закатываете. А  
какъ живой дѣдъ былъ, — поди, все попрекали, скоро ли  
помреть. Эхъ, сиротинушки...

— Ну, ты вотъ что!—вмѣшался синій.—Тутъ тебѣ оста-  
ваться нельзя. Это нашъ послѣдній сказъ. Время не зимнес,  
и подъ кустомъ переночуешь.

— Чего жъ, подъ кустомъ? — не сдавался странникъ.—  
Село ваше—рукой подать.

Посмотрѣлъ вдоль просѣки съ выющейся посреди нея  
узкой пѣшеходной тропинкой. Въ концѣ просѣки синѣлъ  
между двумя темно-зелеными стѣнами клочокъ яснаго неба  
и ярко бѣлѣла въ синевѣ большая, недавно выкрашенная  
церковь, освѣщенная длинными лучами заходящаго солнца.  
А вокругъ нея сѣрѣли тесовыя крыши и вскинулся тонкой,  
изломанной линіей журавль надъ колодцемъ.

— Близо-то близо, да не для тебя строено! — настаи-  
тельно сказалъ синій. Потеръ пальцами надъ переносицей,  
словно ловилъ какую-то мысль. — Замокъ много въ лѣсу.  
Въ любую проснись. Тамъ пустятъ. А на село мы не пова-  
жаемъ вашего брата.

Странникъ вздохнулъ и поднялся.

— Ну, помогай вамъ Богъ. Пойду. Только не воръ я. Это  
вы напрасно... И погу растеръ. И не знаю, дойду ли...

Понель прочь отъ села, въ другую сторону просѣки,



сгорбившись и опираясь на палку, и худыя ноги неловко и устало гнулись въ широкихъ холщевыхъ штанахъ. На ходу онъ казался совсѣмъ слабымъ, жалкимъ и безпомощнымъ, а лѣсъ вокругъ него былъ такой мощный и дикій.

Розовый почесалъ въ головѣ и несмѣло проговорилъ:

— Пустить бы...

Встрѣтился взглядомъ съ нахмуреннымъ лицомъ товарища, задвигалъ плечами и съежился, но все-таки повторилъ:

— Пустить бы... Можетъ, и правда не воръ. Такъ, Божій человѣкъ. Ужъ если онъ крученый, такъ все равно—ночью заберется.

Синій съ полосками вдругъ надумалъ что-то и громко позвалъ:

— Эй ты, странникъ! Погоди...

Странникъ остановился и повернулся въ полуоборотъ къ мужикамъ. Тянувшій сквозь просѣку вѣтерокъ игралъ его жиденькой бородкой.

— Ты ступай прямо просѣкой до сухой сосны, а потомъ ворота направо! — говорилъ ему синій. — Тамъ сейчасъ за кустами, на гривѣ, и будетъ тебѣ заимка. Народъ тамъ подходящій для тебя живетъ. Переночуешь.

Розовый посмотрѣлъ на товарища, потомъ на странника, и опять остановилъ на синемъ недоумѣвающей взглядъ. Набралъ въ грудь воздуху и широко открылъ ротъ, какъ человѣкъ, который хочетъ возразить, но не нашелъ еще подходящихъ словъ. Синій скривилъ одну половину лица и буркнулъ:

— Молчи!

Затѣмъ крикнулъ страннику, который неподвижно стоялъ на одномъ мѣстѣ и слушалъ:

— Такъ вотъ, туда и ступай. Тамъ тебѣ хорошо будетъ, какъ разъ...

— И-хи-хи! — понялъ что-то розовый и разсмѣялся тонкимъ смѣшкомъ. — И правда... Ступай, человѣче. Близо. Отселѣ двухъ верстъ не будетъ.

Опять начали гнуться и дрожать тонкія ноги въ немнѣрно широкихъ штанахъ. Странникъ уходилъ вдаль и дѣ-

лался все безпомощнѣе и былъ похожъ теперь на бѣленькую полураздавленную козявку, которая черезъ силу ползетъ прочь отъ дорожной колеи, чтобы умереть гдѣ-нибудь въ тихомъ и темномъ углу. Мелькнулъ сгорбленной спиной за послѣднимъ кедровымъ стволомъ. Нырнулъ за поворотомъ въ густую чащу кустарника и исчезъ.

Розовый прислушался. Тихо. Только неутомимая пичужка опять завершала настойчиво и звонко, прыгая съ вѣтки на вѣтку гдѣ-то близко, надъ головами.

— Ловко! Въ самую пасть! Сегодня, никакъ, придуть-то?

— А ты помолчи... Языкъ у тебя бабій. Можетъ за кустомъ-то уши сидать. Дѣлай свое дѣло и молчи.

— Забавно, братъ... Вотъ тебѣ и ночлеги!

— Повыведутся — легче дышать будетъ. Одолѣли, оканные...

Посмотрѣли, какъ низко уже солнце, и торопливо схватились за пилу, — отнимать отъ ствола чурбачъ, длиной въ домовину. Съ ядовитымъ шорохомъ вгрызались въ свѣжее дерево стальные зубья, и прерывистой струйкой потекли изъ разрѣза сырые опилки.

Розовый все ухмылялся и рисовалъ въ умѣ что-то забавное.

— Нѣтъ, а ловко... Придуть ночью и возмуть всѣхъ тепленькими... И Божій человѣкъ попадетъ на прикуску. Вотъ тебѣ и слуги человѣческіе... Не дойдетъ, пожалуй, до края свѣта, а?

— Молчи, говорить... Паскуда!

---

Странникъ торопился. Нога сильно болѣла и хотѣлось поскорѣе дойти до мѣста, чтобы сѣсть тамъ, разуться и оставаться въ покоѣ, хотя бы до завтрашняго дня. Іюльскій вечеръ вѣялъ тепломъ. Мягкимъ слоємъ, готовой постелью лежала старая хвоя въ низкихъ и тѣнистыхъ мѣстахъ, но странникъ проголодался, а хлѣба у него не было. Сосало подъ ложечкой и съ каждымъ шагомъ все труднѣе становилось переставлять ноги. Напрягалъ послѣднія силы и торопился.

До сухой сосны дошелъ скоро. Она стояла прямая и острая, до половины расколота молніей. Внизу сухіе, прогнившіе обломки заросли папоротникомъ. Мягкое зеленое кружево замерло въ тишинѣ. Остаться здѣсь, лечь. Котомку подъ голову.

Засверлило въ пустомъ желудкѣ. Нѣтъ, надо добраться. Вотъ тропа на займку. Совсѣмъ плохо натопанная, едва видно ее. Крутить туда и сюда, вѣтся въ колючихъ кустарникахъ, словно нарочно выбирая самыя тѣсныя и неудобныя мѣста. И кое-гдѣ на четверть тонетъ нога въ рыжеватыхъ болотистыхъ мхахъ, поросшихъ мелкими голубыми цвѣточками.

Чѣмъ дальше, тѣмъ глуше. Непохоже на то, чтобы гдѣ-нибудь здѣсь, поблизости, было человѣческое жилье. Молчить лѣсъ той спокойной и важной тишиной, которая живетъ только до тѣхъ поръ, пока не вспугнетъ ее человекъ. Никѣмъ не тронутые догниваютъ въ топкихъ мѣстахъ и загораживаютъ тропу толстые, въ обхватъ, стволы. Странникъ наступилъ на одинъ и провалился, какъ въ пустую коробку съ тонкими и рыхлыми стѣнками, зашибъ больную ногу. Красная пыль, какъ ржавчина, осталась на бѣломъ холстѣ одежды.

Потомъ тропинка начала подниматься вверхъ, на холмикъ. Лѣсъ порѣдѣлъ, а дикій кустарникъ всталъ съ обѣихъ сторонъ ровной и густой щеткой, такъ что нужно было руками расчищать себѣ дорогу, отклоняя хлеставшія по лицу и цѣплявшіяся за одежду вѣтви.

— Обманули, сиротинки! — сказалъ странникъ и улыбнулся, но углы губъ отошли книзу, и улыбка сдѣлалась похожей на гримасу боли.

Сверху, съ холмика, неожиданно пахнуло смолистымъ дымкомъ. Странникъ опять улыбнулся и, оглянувшись назадъ, словно дѣлавшіе домовину мужики могли его услышать изъ этой глуши, сказалъ:

— Напрасно обидѣлъ-то васъ. Живуть.

Подбодрился, даже сутулую спину расправилъ немного. И облегченно вздохнулъ, когда, спустя какой-нибудь десятокъ шаговъ, сразу выросъ передъ глазами потемнѣвшій



бревенчатый уголь избы, а дальше — покосившійся плетень съ надѣтымъ на колышекъ горшкомъ.

Солнце сѣло. Конекъ раздерганной, кое-какъ застланной старымъ корьемъ крыши весь покраснѣлъ и свѣтился, а внизу уже темнѣло, и густая снѣжева выползала изъ кустовъ на поляну.

За плетнемъ кто-то шевелился. Треснула сухая палка. Потомъ наверху, въ уровень съ горшкомъ, показалась большая черная голова, въ сумракѣ похожая на медвѣжью.

— Здравствуй! — сказалъ головѣ странникъ. — Допусти страннаго человѣка.

Голова молчала. Подозрительно и пытливо смотрѣли изъ-подъ нависшихъ бровей два черныхъ глаза, и въ нихъ тоже отражался закатъ двумя яркими красноватыми точками.

— Оно бы, видишь, и въ лѣсу ничего почевать-то! — спокойно и неторопливо объяснилъ странникъ. — Время теплое. Да погу я стеръ, полѣчить надо. И ѣсть хочется. Авось краюшку хлѣба удѣлишь.

— Откуда?

Голосъ у головы былъ низкій и глухой, должно-быть — простуженный.

— Ты тѣхъ мѣстъ не видалъ, сиротинка, откуда я пришелъ... Допусти. Не лихой человѣкъ... Да и ты меня, никакъ, однимъ пальцемъ уберешь. Слабъ я.

— Чего же ты въ село не зашелъ? Какіе тутъ у меня хлѣба...

— На село мужички не допустили. Боятся, какъ бы не укралъ чего. А я и не ворую. Зачѣмъ мнѣ?

Голова исчезла, а затѣмъ и весь человѣкъ показался изъ-за угла, — высокій, огромный и какой-то темный, какъ будто покрытый копотью. Подошелъ поближе къ кустамъ, прислушался. Посмотрѣлъ на странника и сзади, со спины.

— Одинъ ты?

— Всегда одинъ хожу. Товарищей нѣтъ у меня. Одному-то человѣку свободнѣе. Я — да Богъ. И больше нѣтъ никого. Что хочу, то и дѣлаю.

Темный человѣкъ подозрительно покачалъ головой.

— А вѣдь я тебя, собачій ты сынъ, насквозь вижу. По-

дослали тебя чадоны. Самы бояться ходить, такъ котелочниковъ подсылають... Дорого ли нанялся?

Странникъ повернулъ прямо къ хозяину свое рябое старобразное лицо.

— Обижаешь ты меня. Я для того и по свѣту бѣлому хожу, чтобы никому не служить, а ты говоришь — нанялся. Неправильно это... Господь съ тобой, я и уйду. Лягу себѣ подъ кустикъ. А хлѣбца Богъ пошлетъ.

Сгорбивъ спину, повернулся было обратно, къ кустамъ. Хозяинъ остановилъ его.

— Ну, чтобы тебя явило... Ночуй. Волки тебя зарѣжутъ въ лѣсу, сухаря этакого... Только если что будетъ—съ живого шкуру сниму. Знай.

Не оборачиваясь и какъ-будто сразу потерявъ всякій интересъ къ своему гостю, пошелъ въ избу, а странникъ поплелся за нимъ слѣдомъ, какъ маленькая бѣлая тѣнь большого и чернаго человѣка.

Въ избѣ было тѣсно и низко, пахло кислымъ. Сѣрѣла большая, развалистая печь, вся облупленная съ выступающими ребрами самодѣльныхъ кирпичей. Въ темномъ углу лежали какіе-то узлы, прикрытые наброшеннымъ сверху тулупомъ.

Хозяинъ пошарилъ у печки, досталъ плошку и начатый каравай хлѣба.

— На, ѣшь. Да выйди на улицу, тамъ вольготнѣе.

— Спасибо тебѣ, сиротинка... Разуюсь я... Тогда и поѣмъ.

Странникъ присѣлъ на лавку и завопилъ со своей обувью. Темный хозяинъ вынесъ ѣду, поставилъ ее у плетня на сопковомъ обрубкѣ и, вернувшись въ избу, прислонился плечомъ къ стѣнѣ, у двери. Противъ свѣта виденъ былъ одинъ его неясный силуэтъ, и здѣсь онъ казался еще огромнѣе, такъ что изба едва вмѣщала его лохматое, нескладное и мускулистое тѣло.

Оба молчали. Потомъ, когда странникъ уже разулся и, облегченно вздохнувъ, шлепнулъ по полу босыми ногами, хозяинъ, словно нехотя, обронилъ слово:

— Бѣглый?

— Ухожу отъ зла, иду за правдой. Пожалуй, что и бѣглый.

— Не запырался бы... Видать сокола по полету. Знаемъ такихъ... Съ острова?

— Еще не привелъ Богъ. Съ восхода иду, сиротинка. А куда приду — не знаю. Мнѣ все равно. Я отъ власти бѣгу. Покуда идешь — нѣтъ надъ тобой власти: дыши вольно. Какъ осядешь на мѣстѣ — конецъ. Окрутятъ.

— Темный? Или липовымъ обзавелся?

— Въ этомъ мнѣ надобности нѣтъ. Я — сынъ Божій. Безъ имени. Не связую себя ни клятвою ни печатью и бѣгу отъ зла человѣческаго. Бѣгу властей неправедныхъ и жадныхъ и вѣры ложной и скверной...

Хозяинъ тихонько присвистнулъ.

— Эге... Такъ ты изъ тѣхъ... изъ бѣгуновъ?

— Называютъ люди и такъ. А я самъ себя никакъ не зову. Живу и славлю Бога, Отца моего...

— Да мнѣ что? Я такъ себѣ... Переночуй и уходи себѣ. Глупъ ты, я вижу. Безвредный человѣкъ.

— Живи по Богу — никому зла не сдѣлаешь... Такъ я откушаю, сиротинка. И скажу тебѣ спасибо, что пріютилъ страннаго человѣка.

Вышли оба къ плетню. Странникъ ѣлъ холодную просяную кашу и хлѣбъ. Хозяинъ подумалъ и принесъ еще кружку квасу и луковицу.

— Ышь... Голодный ты. Что есть — даю. Ничего нѣтъ больше.

— Спасибо... Холодный народъ у васъ тутъ, въ Сибири. — Странникъ ѣлъ кашу и быстро, по мышинному, двигалъ корявыми, жидко обросшими губами. — Холодный народъ, говорю... Все прочь гонять, да за кошель держатся, — не обокрали-бы... А мнѣ сказывали въ нашихъ мѣстахъ, что здѣсь странныхъ пріучаютъ. Потому и пошелъ. И властей здѣсь меньше. Божій духъ еще не весь вывелся.

— Было! — усмѣхнулся темный хозяинъ. — Въ старые годы хорошо жилось вашему брату. Ну, а теперь — шабашъ. Вороти лучше, сухарь, назадъ домой. Тутъ еще изъ тебя и душу выбьютъ.

— Не будетъ въ этомъ нужды. Я никого не обижу, а безъ обиды не убьютъ. Пріютятъ — останусь. Прогонятъ —



дальше уйду. Божій міръ — онъ великъ. Неужели не вмѣститъ одного человѣка?

— А тебѣ, чай, тѣсно?

— Люди тѣсноту сдѣлали. Настроили городовъ, придумали властей, да законы. На другого такого же человѣка, какъ на Бога молятся и живутъ посему въ тѣснотѣ и скудости. Создалъ Богъ золото на радость и украшеніе людямъ, а они на него братскую кровь покупаютъ. И огорчился Господь и отвратилъ свѣтлое лицо Свое отъ міра злого и несправеднаго. Отвратилъ и призвалъ вѣрныхъ дѣтей своихъ: идите, сказалъ, отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ, оставьте семью и имущество ваше и ко Мнѣ придѣпитесь...

Странникъ кончилъ ужинъ. Всталъ, повернулся къ темному востоку и беззвучно, одними губами прошепталъ какую-то коротенькую молитву. Бѣлѣла въ сумеркахъ его свѣтлая одежда и свѣтлая голова, какъ будто весь онъ сохранилъ въ себѣ маленькую частицу сіянія угасшаго дня.

— Чудной! — протянулъ хозяинъ. — О властяхъ говоришь этакое... Ты, можетъ, изъ государственныхъ?

— Государство отрицаю! — серьезно и отчетливо выговорилъ странникъ. — И оно — отъ человѣка, созданіе зла и гордыни. Нѣтъ царя и законовъ выше, какъ Отецъ мой Господь и правда Его. Зачѣмъ другое еще? Не нужно. Одинъ тлѣнъ.

— Врешь ты все. На людей вожжу надо. Ежели всѣ забѣгаютъ по свѣту такъ, какъ ты, — какой же это порядокъ будетъ? Всѣ передохнуть съ голоду. Ты самъ-то отъ насъ же, отъ грѣховныхъ, кормишься...

— Богъ воздастъ сторицей за страннаго человѣка... А когда всѣ просвѣтятся и отринуть земное, то никто уже не будетъ ни искать, ни жаждать, потому что придетъ тогда второе небесное царство. И будутъ всѣ люди свѣтлы и радостны, какъ небесные духи. Тогда и начнется истинное служеніе Господу: не съ кадилами и въ раззолоченныхъ одеждахъ, а въ простотѣ и весельѣ.

Просыпались въ потаенныхъ лѣсныхъ уголкахъ ночныя птицы. Одна, большая, съ сѣрыми, широкими крыльями, долго металась надъ дворикомъ заимки, беззвучно скользнула

надъ самой головой странника и испуганная опрометью бросилась прочь, въ родную темноту. Сплелись въ одну черную сътъ пестрые и яркіе днемъ переплеты вѣтвей. Кустарникъ стоялъ тяжелый, сплошной, — и гудѣла въ его влажной тѣни всякая ночная нечисть, невидимая и непонятная. Тусклыми точками вспыхивали звѣзды, — и небо казалось темнѣе земли, потому что снизу, отъ лѣсного болота къ кустарникамъ, сонно подшмались синевато-бѣлыя полосы тумана. Пахло оттуда старой гнилью и сыростью.

Странникъ тихонько зѣвнулъ. Потомъ потянулся такъ, что въ его тонкихъ костяхъ что-то громко хрустнуло.

— Слабѣю я... Не знаю, долго ли ходить еще. Слабѣетъ тѣло и душа смиряется...

Голосъ у него зазвучалъ глуше и ниже, и было въ немъ скорбное.

— Все гонять меня... Сами злы и отъ другого только зла ждуть... Смотрить человѣкъ на человѣка, какъ дикіе волки въ лѣсу. Кто зубы потерялъ, того и рвутъ.

— А ты огрызайся... Показывай зубы-то...

Странникъ покачалъ головой.

— Зла въ тебѣ много. Должно-быть, очень обижали тебя?

— Меня-то? Врешь... Не имъ, желторотымъ... Они не волки, а черви...

Туманъ доползаль до черной стѣны кустарника и остановился, не пошелъ далѣе. Высокія ели погрузились въ него по поясъ, и висѣли надъ синеватой пеленой растрепанныя сосновыя вершины, какъ сказочныя многокрылыя птицы.

— Жутко у васъ тутъ. Лѣса да топи... И солнышко мало свѣтитъ.

— Кто тебя звалъ-то сюда? Уходи, коли не нравится.

— Отъ слабости и пришелъ. Тамъ, — странникъ указаль на западъ, — очень уже гнали меня. Я и перебрался, ради помощи тѣлесныхъ, чтобы душу въ чистотѣ сохранить... Ань вчерашній день попалъ было подъ замокъ...

— Ага... Карманомъ ошибся или за безписьменность?

Странникъ съежился, — должно быть, отъ сырости, которая пронизывала его сквозь легкую одежду.

— Не выдашь меня, сиротинка?

— Тебя-то? Кому ты нуженъ, мозглякъ... Живи себѣ. Это я такъ, сначала... Думаль, не чалдоны ли состремить меня подослали... Завтра выгоню, а сегодня живи. Мнѣ до того нѣтъ дѣла, что ты есть за человѣкъ.

— Вотъ и спасибо... Я вчера, дороги не знаючи, прямо въ станъ забрелъ. Тамъ меня слуги человѣческіе, съ оружіемъ острымъ, хватъ за кошель. — „Давай, говорятъ, пачпортъ“. — Нѣту, говорю, пачпорта. Я Божій сынъ и печатью вашей не хочу запечатываться. — Ударили раза два по этому мѣсту, пониже затылка. Злобно ударили, даже кровь я сплюнулъ, потому что у меня давно груди отбиты. Привели въ станъ. Тамъ ихъ старшій начальникъ, съ золотымъ воротникомъ, ножками на меня топаль. — „Убить, говорю, ты меня можешь, и Богъ тебѣ за это спасибо не скажетъ, потому что безъ нужды даже и козявку давить не надо, а пачпорта у меня не было и нѣтъ, и именемъ человѣческимъ я не нарицаюсь“... Заперли въ холодную. Маленькій такой сарайчикъ, и куръ своихъ власти тамъ же содержать. Навозу, конечно, много навалено и духъ нехорошій. Выждалъ малость времени, нашель лазеечку и вылѣзъ, съ кошельемъ вмѣстѣ.

— Ахъ ты... Баско! — обрадовался хозяинъ. — Вотъ такъ сухарь...

— Тяжко мнѣ это, когда подъ замокъ запирають. За духъ свой убоялся, не ослабѣть бы, — и ушелъ.

— Не догнали, значитъ?

— Я лѣсочкомъ, лѣсочкомъ... Нынче къ вечеру набрелъ на село, да мужички не допустили. Сказываль ужъ я... Домовину они въ лѣсу работали, мужички-то.

— Высокій одинъ такой, сумной съ лица?

— Хорошо не примѣтилъ. Будто и такъ... Отъ села побрелъ сюда. Тяжко идти было, въ гору. Отошаль совсѣмъ.

— А про меня мужики ничего тебѣ не сказывали?

— Сказали, что, молъ, въ лѣсу займка стоитъ и тамъ странныхъ принимаютъ.

— Во, какъ загнули... Больше ничего?

— Ничего. Я и пошелъ.

Странникъ опять зѣвнулъ.

— Очень я притомился. Соснуть бы, сиротинка.

— Вонъ, подъ навѣсомъ сѣно лежить. Спи...

Подъ навѣсомъ, на сѣнѣ, странникъ разыскалъ старую, насквозь пропитанную конскимъ потомъ попоную, накрылся ею и свернуль въ клубочекъ свое тощее тѣло. Отъ усталости не спалось, ломило кости. Но подъ попоной было тепло и мягко, а сквозь рѣшетину давно развалившагося навѣса смотрѣло бархатное небо съ бѣлыми, часто мигающими звѣздами.

Черезъ полчаса пришелъ подъ навѣс и хозяинъ, устроился на почлегъ рядомъ со странникомъ. Легъ одѣтый и ничѣмъ не укрылся. Разстегнулъ только тѣсный, давившій толстую шею воротникъ рубахи.

Негромко окликнулъ странника:

— Спишь уже?

Странникъ зашевелился, спустилъ съ плечъ попоную.

— Не сплю... Кости можжать. Скоро, скоро приберетъ къ себѣ Господь. Находился.

— Помрешь — сгніешь, черви съѣдятъ. Только и всего.

— Тѣло сгніетъ, душа къ Отцу вернется. Я вѣрю крѣпко, сиротинка. Не собьешь. И ты вѣрь. Легче жить будетъ. Ты разсуди: если безъ Бога, такъ зачѣмъ и жить на свѣтѣ? Родится человѣкъ въ скорби и боляхъ, весь вѣкъ свой мучится, томится. То въ голодѣ, то въ болѣзняхъ. Потомъ помретъ. Зачѣмъ все это, если безъ Бога? Тогда уже лучше сразу, какъ родится, такъ и сверни ему шею. Страдать не будетъ.

— Глупое ты говоришь все. Богатому и безъ Бога хорошо живется.

— У васъ нѣтъ настоящаго Бога, ни у богатыхъ, ни у бѣдныхъ. У васъ Богъ выдуманный, человѣческій. Настоящаго-то вы давно забыли. Потому и не помогаетъ вамъ Богъ, что молитесь истуканамъ, да доскамъ раскрашеннымъ...

Далеко внизу, въ той сторонѣ, гдѣ осталось село, кто-то завылъ, — собака или заблудящій, изголодавшійся волкъ. Ночь примолкла, вслушиваясь въ этотъ вой, и шорохи кустарниковъ затихли.



— О о... Плачеть! — прошепталъ странникъ. — Всѣмъ тяжело: и людямъ, и звѣрю. Надъ всѣми власть довлѣтъ и гнететь долу.

Захрустѣло жесткое, съ осокой, сѣно. Странникъ ворочался, обезпокоенный какой-то новой мыслью. Долго не рѣшался заговорить снова, чтобы не надоѣсть хозяину своимъ разговоромъ,

Хозяинъ спросилъ первый:

— Давно ты такъ ходишь? Молодь ты или нѣтъ — по лицу не разберешь тебя.

— Годами не считаль. Не знаю. А давно уже. И съ каждымъ годомъ все труднѣе. Зла больше, добра меньше. Последній духъ Божій уходитъ отъ земли, и будетъ она холодна и безвидна, какъ проклятая пустыня... Ополчается государство на государство, лютуютъ святую кровь для потѣхи безумныхъ властей. И внутри, въ государствѣ, то же самое. Перечислили всѣхъ, перепечатали и сдѣлали сыновъ Божіихъ рабами человѣческими. Рабами сдѣлали ихъ и надѣли ярмо тяжелое, и ни у кого силы нѣтъ, чтобы снять то ярмо и смѣстить неправеднаго.

— Здорово ты... про властей-то... За это самое тебя и быють, что очень уже у тебя языкъ свободно привязанъ. Болтаеть глупое, какъ бубенчикъ.

— Слово — даръ Божій. И данъ онъ мнѣ на то, чтобы я сѣмена сѣялъ, а не держалъ подъ спудомъ. Ты говоришь — глупое, а есть и такіе, что слушаютъ. Тѣхъ возлюбилъ Господь. А вотъ власти ваши, — говорятъ умное, а творятъ такое, что будь на свѣтѣ дьяволъ, такъ и онъ бы возрадовался. И вчера это, въ станѣ... Господи!

Замолчалъ, натянулъ попону. Хозяинъ съ любопытствомъ приподнялся на локтѣ и всматривался въ то мѣсто ровной и глубокой темноты, гдѣ лежалъ странникъ.

— Что въ станѣ? Ну?

— Завелись, говорю, оружіемъ острымъ и величаются передъ другими людьми, какъ пастухъ передъ неразумнымъ стадомъ. — „Не бойся, молъ, мы этихъ волковъ выведемъ!“ Развѣ хорошо человѣка волкомъ нарицать? Сами довели до волчьей-то жизни...

— Не пойму я, что болтаешь! — недовольно и немного разочарованно сказал хозяинъ. — Какіе волки?

— Появились тутъ такіе люди. По-ихнему — воры, а по-моему — обиженные. На заимкѣ гдѣ-то скрываются. Такъ вотъ, большой начальникъ и посулилъ мужикамъ, что, молъ, выведетъ... Въ станѣ это я стоялъ въ уголочкѣ, когда привели меня, и ждалъ, а начальникъ въ сосѣдней горницѣ разговаривалъ. Сегодня ночью, молъ, придетъ силой несмѣтной прямо на мѣсто, на заимку, и всѣхъ выведетъ.

Аа... Ну?

Хозяинъ сѣлъ и выпрямился быстро, тревожно, какъ укушенный.

— Видать это я разъ, какъ на волковъ облаву дѣлаютъ... — все медленнѣе тянулъ странникъ, и скованный дремотой голосъ часто прерывался, дѣлая между словами глубокія паузы. — Тоже сговорились заранѣе... Мѣста раздѣлили... Пришли на мѣста и перебили тьму-тьмушую... Крови... крови... Хотѣлъ я звѣрье неразумное отвести отъ лютой смерти... Всякъ жить хочеть... Нѣтъ горечи въ жизни, если отринешься отъ человѣческаго и предашь себя Богу, вѣчному и благому Отцу... Свѣтлымъ и радостнымъ сотворишь міръ, свѣтлымъ...

— Подожди... Сегодня, говоришь? На чью заимку?

Нагнулся хозяинъ надъ засыпающимъ странникомъ, такъ что обдалъ ему лицо своимъ горячимъ дыханіемъ.

— Не запомнилъ, пожалуй... А не то Чернявинскую, что ли... Чернявинскую и есть... Далеко, чай, отсюда...

— Да... Вотъ оно какъ!

Волкъ пересталъ плакать и жаловаться подъ селомъ. А кустарники все молчали и притаились, заглядывая черезъ плетень черными, острыми головами, и что-то таили тревожное. Сразу расширилась темнота ночи, и приговоръ съ заимкой какъ будто поднялся еще выше надъ шумнымъ лѣсомъ, а сердце замерло, какъ всегда на большой высотѣ.

Странникъ вдругъ испугался и тоже сѣлъ, сбросивъ попону. Его сразу охватило сыростью, и зубы застучали отъ глубокой дрожи.

— Ты чего, сиротинка? Что-то жутко мнѣ...

Хозяинъ, — большой, косматый, — какъ-то тонко всхлипнулъ. Нельзя было понять, — застоналъ или хотѣлъ смѣяться. Потомъ поймалъ странника за плечо своей ручищей.

— Ну, великъ твой Богъ... Если самъ когда буду богатъ, такъ и тебя озолочу... Собирайся, сухарь! Уноси ноги... Съ кѣмъ говорилъ становой? Не видалъ?

— Толстый такой человѣкъ, бородатый... И побрякушка на шеѣ болтается... А одинъ глазъ забѣгаетъ... въ сторонку забѣгаетъ...

— Ага... Это волостной нашъ... Выходить, значить и тебя сюда чалдоны направили, чтобы всѣхъ вмѣстѣ накрыть... Гуртомъ, моль, дешевле!.. Нѣтъ, погоди! Чернявый дешево въ руки не дается! Еще поспоримъ... А волостной — до конца дней не забудеть...

Торопясь, выговаривалъ оборванные фразы. Вскочилъ на ноги, и голова его теперь двигалась подъ самыми рѣшетами навѣса.

— Легче, сиротинка... Затопчешь! — сказалъ странникъ и тоже поднялся, не понимая еще, въ чемъ дѣло, но чувствуя, что спокойствіе ночи разрушено, и впереди опять ждетъ тревога и усталость. — Знакомые тебѣ, что-ли... Чернявинскіе-то?

— Она — вотъ, куда ты ночевать пришелъ! — повелъ вокругъ себя протянутой рукой хозяинъ. — А я самъ Чернявый. Воръ, варнакъ. Понялъ, святой угодникъ?

Странникъ сразу понялъ и, видимо, успокоился.

— Какъ для кого, а для меня не варнакъ. Ты меня обогрѣлъ и приютилъ, и пачпортъ не спрашивалъ, и я противъ тебя зла не имѣю. Одинъ Богъ можетъ судить, не люди. Уходить теперь будешь?

Спросилъ дѣловито и просто, такъ что даже хозяинъ пересталъ безтолково метаться подъ тѣснымъ навѣсомъ. Постоялъ нѣсколько мгновений въ тяжеломъ раздумьѣ, потомъ махнулъ рукой и пошелъ въ избу. Не вздувая огня, въ темнотѣ, выносилъ изъ нея тюки, большіе и маленькіе, и складывалъ ихъ на дворѣ.

Странникъ подошелъ къ нимъ, пощупалъ. Спросилъ су-рово, какъ попъ на исповѣди:

— У бѣдныхъ не брать?

— Тоже... Что у нихъ возьмишь? Самимъ жрать нечего.

— И не бери никогда. Если мало у тебя чего — возьми у того, у котораго больше, а бѣдныхъ не грабь. И крови не проливай.

Смѣшно было, что онъ проповѣдуетъ тутъ, когда каждая минута на счету и надо прятать краденое и скрываться самому, но хозяинъ не смѣялся и не разсердился. Теперь, въ ожиданіи облавы, общество этого маленькаго бѣлаго чело-вѣчка было пріятно и не хотѣлось разставаться съ нимъ.

Съ одного края неба посвѣтлѣло, и яркая, красная полоса вынытилась надъ лѣсомъ. Туманъ теперь казался гуще, и дальше были видны его голубоватая, волокнистая пряди, плотнымъ кольцомъ охватившія со всѣхъ сторонъ займку:

— Мѣсяцъ всходитъ! — посмотрѣлъ на красную полосу хозяинъ. — Пора... Придуть скоро...

Смѣялся глазами странника.

— Взялъ-бы и ты кое-что на себя... Помогни до конца. Награжу тебя, будешь доволенъ.

Странникъ взвалилъ себѣ на плечи одинъ изъ узловъ и подался къ выходу.

— Награды мнѣ не надо. Если просить чело-вѣкъ помощи, то помоги ему для Бога, а не для награды. Чело-вѣческое возьмишь — Господнюю хвалу потеряешь. Такъ-то, сироти-нушка... Куда идти-то?

— За мной иди... Укроемся, я здѣсь всѣ тропы знаю, а другой не пройдетъ, потому что топь, болото... Самъ стано-вой и то увязнетъ.

Чернявый взвалилъ на себя всѣ оставшіеся тюки, такъ что его совсѣмъ покрыло ихъ неуклюжей тяжестью. Кряк-нулъ, пошатнулся.

— Тяжко?

— Ничего, донесемъ. Не имъ же, псамъ, оставлять. Близ-ко спрячемъ, въ кустахъ. Не отыщутъ...

Неподвижный кустарникъ зашумѣлъ и раздался на двѣ стороны, пропуская въ свое темное и загадочное цар-ство двухъ сгорбившихся подъ тяжелой ношей людей. И, когда они проходили, вѣтви опять сдвигались за ихъ спи-



нами и замирали въ тишинѣ, скрывая бѣжавшую внизъ, съ холма, тропинку.

— Сыро! — Странникъ забралъ въ руки подолъ своей длинной рубахи. — Хоть выжми.

— Болото, такъ болото и есть. Солнце взойдетъ — высохнешь. Не сахарный...

Теперь, когда опасность миновала, а вещи лежали въ надежномъ мѣстѣ, Чернявый совсѣмъ успокоился и говорилъ со своимъ новымъ спутникомъ попрежнему насмѣшливо и пренебрежительно.

Оба они сидѣли рядомъ, подъ густой елью, на вершинѣ крутого холмика, и отдыхали послѣ тяжелой и торопливой дороги. Совсѣмъ недалеко впереди, по ту сторону широкой туманной полосы, кое-гдѣ прорванной высокими деревьями, отчетливо, до послѣдняго куска коры на крышѣ, виднѣлась въ лунномъ свѣтѣ оставленная заимка.

— Подальше отойти бы, — посовѣтовалъ странникъ.

— Подождемъ... Можетъ, никого и не будетъ еще... Пожалуй приснилось тебѣ въ станѣ, со страху... А?

Странникъ ѣжился отъ холодной, пронизывающей сырости. Подогнулъ колѣни къ самому подбородку и обвилъ ихъ руками, чтобы было теплѣе. Ноги у него были босы: не успѣлъ обуться передъ уходомъ, и коты съ портянками болтались за спиной, въ котомкѣ.

Сидѣть такъ было скучно, и хотѣлось спать. Заговорилъ снова, чтобы отогнать дремоту.

— Одинъ жилъ тамъ, сиротинка? Или съ товарищами?

— Съ товарищами... Въ нашемъ дѣлѣ нельзя одному. Товарищи на работу ушли, а я остался. Вотъ и вышло такое... Подкараулили.

— Да... Худо твое дѣло. Оставилъ бы ты, сиротинка, все свое добро мышамъ на прокормъ, да и пошелъ, какъ я... И не будетъ у тебя на душѣ ни заботы ни горя... Живи Божьимъ именемъ, никого не обижай... Зачѣмъ тебѣ твое золото? Богатство — тоже власть, а всякая власть проклята...

— Разумъ у тебя въ головѣ совсѣмъ ребячій, вотъ что я тебѣ скажу. Какая у тебя жизнь? Мухи не обижаешь, а

тебя — въ тюрьму... Это развѣ дѣло? Да еще другихъ сма-  
ниваешь...

Высокій темный человѣкъ сердито сплюнулъ.

Въ сыромъ воздухѣ слова звучали глухо, какъ-будто уда-  
рялись гдѣ-то близко въ какую-то мягкую преграду. Туманъ  
ловилъ звуки, обволакивая ихъ своими бѣлыми прядями и  
спускалъ на дно долины, невидимое, какъ дно моря.

По туманному морю двигались иногда волны, вырастали  
надъ деревьями, какъ измѣнчивые, прозрачные призраки,  
колебались и таяли. Лунный свѣтъ пронизывалъ ихъ на-  
сквозь, и, казалось, онѣ горѣли своимъ собственнымъ, хо-  
лоднымъ и ровнымъ огнемъ. Отъ этого свѣта въ кустахъ и  
въ лѣсной чащѣ было еще темнѣе. Туда укрылся весь мракъ,  
побѣжденный луной.

Странникъ смотрѣлъ на призраки и вздыхалъ.

— Слушай, сиротинка...

— Чего тебѣ еще?

— Брось ты свое дѣло, говорю я тебѣ... Самъ Богъ тебѣ  
указалъ, чтобы ты бросилъ... Онъ послалъ меня.

— Богъ-то? Ври больше. Чалдоны тебя послали, а не  
Богъ... Съ голодудохнуть, что ли? Всѣ люди, братъ, оди-  
наковы... Только одни чужое берутъ по закону, а другіе —  
безъ закона... И законы-то ты и самъ не хвалишь.

— Законовъ человѣческихъ не признаю и не уважаю.  
Одинъ есть законъ Божій, и сказано въ немъ: возлюби  
ближняго, какъ самого себя...

— Воз-лю-би! — съ разстановкой передразнилъ Черня-  
вый. — Слыхали мы это и раньше. Ты повенское скажи,  
чтобы я повѣрилъ.

— Нѣтъ у меня новыхъ словъ. Все старья. Отъ древ-  
нихъ временъ пришли.

Тянулись надъ лѣсомъ и медленно таяли прозрачно-яркія  
волны. Скользили у самаго холма съ заимкой и никакъ не  
могли поглотить его. На холмѣ было свѣтло и ясно, и ра-  
зинутымъ ртомъ чернѣла въ стѣнѣ избы незапертая второ-  
пахъ дверь.

— Поспать бы теперь... — мечталъ странникъ. — И день,  
и ночь на ногахъ... Всю грудь мнѣ заложило.

Снялъ котомку, прислонился спиной къ стволу ели, подъ которой сидѣлъ. Закрывъ глаза.

Чернявый молча и зорко смотрѣлъ въ сторону заимки. Глаза у него были большіе, выпуклые, и пропикали глубоко въ толщу тумана, слѣдили за чѣмъ-то, что творилось тамъ, въ глубинѣ.

Вверхъ по холму, у кустарниковъ, скользнула какая-то тѣнь, маленькая, низенькая, какъ козявка. Пропала, едва Чернявый успѣлъ поймать ее взглядомъ. За ней—другая. И на этой другой что-то металлическое неожиданно блеснуло въ лунномъ свѣтѣ. Чернявый понялъ, что это пришла, наконецъ, полиція, чтобы сдѣлать обыскъ, и, вмѣсто досады и тревоги, почувствовалъ теперь радостное удовлетвореніе при мысли, что онъ самъ ушелъ во-время и всѣ тюки спрятаны.

Ему захотѣлось подѣлиться своей радостью, и онъ легонько толкнулъ въ бокъ задремавшаго странника. Тотъ сразу очнулся и пришелъ въ себя, какъ всѣ люди, привычныя къ волненіямъ и опасностямъ. Посмотрѣлъ туда, куда указалъ ему Чернявый, но ничего не могъ разглядѣть. Маленькіе люди-козявки уже скрылись въ кустахъ.

— Погоди, сейчасъ на поляну выйдутъ! — шепталъ Чернявый. — Смотри туда вонъ, за тѣмъ кустикомъ, съ развилкой...

Быстро, какъ брошенный мячикъ, выкатилась первая козявка на поляну передъ самой заимкой.

— Видишь теперь?

— Вижу, сиротинка, вижу... Вотъ они, слуги человѣческіе...

— Эва, сколько ихъ... Другой, четвертый... Вонъ еще трое. Съ разныхъ сторонъ заходятъ, облавой.

Странникъ беззвучно засмѣялся, такъ что все тѣло у него заходило ходуномъ отъ сдержаннаго хохота.

— Чего ты?

— А какъ же... Обходятъ, сиротинки, пустое мѣсто... Крадутся... Вотъ и я, слабый человѣкъ, властныхъ людей проведъ...

— Вишь ты, святой... Обрадовался.

— Не допустилъ злу совершиться. Заперли бы тебя, сиротинка.

— Вора укрылъ. Какое же это добро? Дуракъ.

— Не вора, а брата. Ближняго моего. Откажись теперь отъ всякаго зла. Оставь все. Уйдемъ вмѣстѣ.

— Тише болтай... Неравно услышать еще. У нихъ ухо вострое.

— Крадутся... Въ избу заходятъ...

Площадка передъ избой оживилась. Какъ-будто разорили муравейникъ, и забѣгали во все стороны его встревоженные жители. Сталкивались другъ съ другомъ, расходились. Ныряли въ непроницаемую тѣнь кустарника и опять показывались на открытомъ мѣстѣ, черные на свѣтломъ полѣ, какъ вырѣзанные изъ мрака.

— Много ихъ... Неужели все слуги человѣческіе? — удивлялся странникъ.

— Мужики есть. Понятыс... Тѣ, которые потемнѣе, видишь?... Двое надъ навѣсомъ шарятся, сѣно разрываютъ.

— А гдѣ конь-то у тебя? — вспомнилъ странникъ пропущенную попону.

— Конь? Немало ихъ перебывало тутъ...

— Охъ, нехорошо! — Странникъ пересталъ смѣяться и сдѣлался серьезенъ. — Коней воровать — самый большой грѣхъ. Брось все это. Уйди...

— Ты эти слова оставь. Чтобы не слыхалъ я ихъ больше. Надоѣло. Доброе дѣло сдѣлалъ мнѣ, помогъ — и ладно. Раскайся — такъ ступай въ полицію, доноси. Можетъ-быть, тебѣ за это отъ начальства награда выйдетъ. Возьмешь, стало-быть, и съ меня, и со становаго. На молочишко пригодится... А душу ты мнѣ не нуди... Я этого не люблю. Что еще за попъ такой выискался?

— Нарочно ты злыя слова говоришь! — шепталъ странникъ. — А на душѣ скребеть у тебя. Богъ съ тобой... я не попъ и не наставникъ...

Охладѣлъ какъ-то сразу и къ тѣмъ козявкамъ, которыя ползали вокругъ занмки, и къ разговору. Попрежнему приклонился къ стволу, закрылъ глаза.

Темный человѣкъ тербилъ пальцами густую бороду,



волновался. Гудѣли у него въ ушахъ рѣчи странника, какъ надобѣдливая муха. А передъ глазами отъ внимательнаго, напряженнаго взглядыванія, запрыгали свѣтлые метлячки.

Люди на заимкѣ понемногу собрались вмѣстѣ, двумя кучками. Должно быть спорили о чемъ-то, шумѣли. Одинъ разъ донесся даже до слуха Черняваго смутный гулъ нестройныхъ, взволнованныхъ голосовъ. Потомъ обѣ кучки слились вмѣстѣ, пошли къ кустарнику и исчезли. Ушли.

Холмикъ опустѣлъ. Бѣлѣла подъ луной растрепанная, дырявая крыша. Раскрытая дверь напоминала о заброшенности и безлюдьѣ. И волновались вокругъ холма туманные полосы, рождались прозрачные, тающие призраки.

---

Послѣ долгой, холодной ночи тайга просыпалась не сразу. Горѣла зарей половина неба. Туманъ синѣлъ, сбиваясь на низкихъ мѣстахъ въ отдѣльные, плотные комья. А въ лѣсу было еще безмолвно, не щебетали птицы, и то нѣмосе, что таилось въ ночи, не исчезало.

Чернявый уже не спалъ. Проснулся съ первыми проблесками разсвѣта, а, можетъ-быть, и всю ночь не смыкалъ глазъ. Странникъ лежалъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ задремалъ ночью. Согнулся угломъ, и попалъ головой прямо на выдавшійся изъ земли корень. Должно-быть, было ему неудобно, потому что онъ часто ворочался, шевелилъ руками и впросонкахъ шепталъ запекшимися губами что-то неразборчивое.

Сначала все было красное, потомъ зажелтѣло. Хвойный лѣсъ сдѣлался яркозеленымъ, какъ ранней весной молодыя березки. Вдали, на высокомъ увалѣ, вспыхнули первые косые лучи. И все разбудили, и прогнали, наконецъ, сырыя тѣни и безмолвіе. Завозилось, загомонило многоголосое въ самыхъ верхушкахъ елей на увалѣ и въ низкихъ, сѣрыхъ ракитахъ надъ болотомъ. Сливались всѣ звуки въ одинъ веселый утренній благовѣстъ со множествомъ тонкихъ серебряныхъ колокольчиковъ, на которыхъ хитрый звонарь выбивалъ диковинныя трели и созвучія.

Чернявый посмотрѣлъ на своего спящаго сосѣда и нахмурился.

Теперь днемъ, этотъ слабый и безпомощный человѣкъ — только обуза. И спать онъ, какъ ребенокъ. Видить, должно-быть, тяжелые сны, мучится ими и не можетъ отогнать. Во снѣ слышно, кого-то убѣждаетъ и жалуется, что не хотятъ понять его и не идутъ за нимъ, куда нужно.

Пора расходиться. Поскорѣе усадить его подальше отсюда, чтобы не попалъ опять на глаза вчерашнимъ чалдонамъ и, по святости, не выболталъ лишняго. Такъ-то будетъ лучше. Спокойнѣе.

Чернявый досталъ изъ какой-то незамѣтной дырочки въ подкладкѣ одежды тонкую промасленную пачку бумажныхъ денегъ и отдѣлилъ отъ нея двѣ трехрублевки. Подумалъ немного, потомъ положилъ одну трехрублевку на прежнее мѣсто, а другую зажалъ въ ладони.

— Будеть...

Теперь, когда туманъ растаялъ, разстояніе между займой и тѣмъ бугромъ, на которомъ провели ночь два человѣка, какъ-будто увеличилось вдвое. Въ этомъ широкомъ пространствѣ залегла глубокая сѣрая лощина, наискось перерѣзанная едва замѣтнымъ сверху, заросшимъ таломъ и ежевикой ручьемъ. Ночью, второпяхъ, они брели черезъ этотъ ручей, проваливаясь до колѣнъ въ вязкую, черную тину.

Совсѣмъ уже свѣтлый день пришелъ. И миновали страхи и очарованіе ночи. Притупилось сознаніе неожиданнаго и радостнаго избавленія отъ грозившей бѣды. Зато теперь, при свѣтѣ дня, Чернявый напряженно и злобно учитывалъ всѣ тѣ непріятныя послѣдствія, которыя породилъ ночной лабѣгъ.

Разорено старое насиженное мѣсто. Нужно теперь уходить совсѣмъ изъ этихъ краевъ, потому что, все равно, не оставлять въ покоѣ, а будутъ преслѣдовать, пока не изловятъ. А изловятъ, такъ не дадутъ и увести въ городъ, будутъ бить смертнымъ боемъ, убьютъ.

До сихъ поръ боялись. Знали, кто и зачѣмъ живетъ на тѣсной займкѣ, но не отваживались трогать. Теперь, трусливые и перѣшителные, осмѣляли. Кто-нибудь толкнулъ ихъ на это дѣло, подучилъ. Онъ же зазвалъ и полицію, чтобы прибавить бодрости чалдонамъ.

Чернявый вспомнил теперь одну черту изъ разсказа странника, которая ночью успѣла какъ-то отступить на задній планъ, стушевалась. Задвигалъ бровями и сквозь зубы выругался, — коротко, рѣзко, какъ умѣть ругаться только очень разсерженный или очень обиженный человѣкъ.

Кто? Тотъ же, кто былъ въ станѣ, у пристава, доносилъ, указывалъ. Волостной старшина съ кривымъ глазомъ. Ему и глазъ этотъ повредили когда-то за такое же дѣло. Есть у него и особая причина имѣть зубъ на лѣсную заимку: двѣ недѣли назадъ свели у него хорошую пару вороныхъ и продали ее за четверть цѣны татарамъ на ярмаркѣ. Теперь на этихъ вороныхъ какой-нибудь купецъ ѣздитъ въ Томскѣ, а то и еще дальше.

Ладно. Это такъ не останется. Чернявый нагнулся надъ странникомъ и громко позвалъ его.

— Эй, угодникъ божій! Подыматься пора! Заспался...

Странникъ открылъ воспаленные, покраснѣвшіе глаза. Хотѣлъ, было, сѣсть и съ подавленнымъ всхлипываніемъ опустился на локоть.

— О, Господи... Что-то не въ себѣ я...

На блѣдныхъ, землистыхъ щекахъ появился странный румянецъ, багровыми, рѣзко очерченными пятнами. Затяжной кашель вырвался изъ груди, поднималъ и опускалъ худыя плечи.

— Э... Вотъ такъ клюква! — удивленно посмотрѣлъ на странника Чернявый. — Расхворался, братъ... Какъ же ты теперь?

Этой новой непріятности онъ не предвидѣлъ и не зналъ теперь, что дѣлать. Подождалъ, пока странникъ прокашлялся, и рѣшилъ поступить такъ, какъ предположилъ заранѣе. Ничего, оправится еще. Худые — они живучіе. Раскачается и пойдетъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Чернявый сунулъ въ руку больному приготовленную трехрублевку.

— На, возьми... Это за услугу тебѣ. Чего глаза пучишь? Или мало? Я, братъ, самъ не богатъ... Отъ нашего ремесла тоже очень не разживешься. Даютъ, такъ бери. Что?

— Охъ, погоди... Не могу я. Какія такія деньги? Не надо

миѣ... Охъ... Не беру я. Онѣ — за печатью. Зло человѣческое. Возьми назадъ... Не надо.

Бумажка упала на землю. Чернявый растерянно подобралъ ее, повертѣлъ между пальцами.

— Вотъ чудакъ... Пригодилось бы...

Страннику удалось, наконецъ, сѣсть. Онѣ съ трудомъ разогнулъ спину, потеръ руками колѣни.

— Можжить все... Всѣ суставчики можжать. Простылъ, видно, ночью... Плохо мое дѣло, сиротинка...

— Да уже хорошаго мало. Что я теперь буду съ тобой дѣлать? Главное — недосугъ миѣ... Хоть бросай тебя тутъ, въ болотѣ...

— Не бросай, сиротинка. Пропаду я тутъ... Въ жильѣ бы миѣ...

— Ты можешь ли идти-то?

— Разойдусь, ничего... Разойдусь...

Чернявый сдвинулъ шапку, почесалъ затылокъ. Хотѣлось ему оставить странника и поскорѣе уйти изъ этой долины, которую, пожалуй, примутся сейчасъ обыскивать и обшаривать обманутые ночью чалдоны. Но странникъ смотрѣлъ на него и просилъ такъ тихо, жалобно:

— Не оставь...

— Ахъ, ты мозглякъ этакій... И чортъ принесъ тебя сюда... Сидѣлъ бы дома за печкой, да съ бабами Бога славилъ... Вишь, подмокъ... сахарный!

Напряженно задумался, скрививъ лицо въ гримасу. Скользнулъ взглядомъ по сплошной, неразрывной зеленой стѣнѣ, поднимавшейся подъ увалами надъ долиной. И быстро перебравъ въ умѣ, одно за другимъ, всѣ скрытныя мѣста, лоцинки и овраги, которые зналъ, какъ пять своихъ пальцевъ, и въ которыхъ такъ хорошо и надежно было укрываться, когда одинъ человѣкъ преслѣдовалъ, какъ звѣря, другого.

Все это не годится. Тамъ и здоровому трудно выдержать долго, а больного запрятать въ такое мѣсто, — все равно, что въ могилу. Нужно жильѣ, чтобы была крыша надъ головой и хлѣба вдоволь.

— Уже и такъ это ты неладно задумалъ! — ворчалъ Чер-



нявый. — Хоть денекъ подождать бы еще... Ты вотъ что.. Пятнадцать верстъ пройдешь?

— Не знаю, сиротинка... Я ихъ, можетъ-быть, пятнадцать тысячъ исходилъ уже, верстъ-то. А теперь не знаю... Какъ разойдусь.

— Ничего, понатужься... Знаю я одно мѣсто... Такъ, деревенька маленькая. Дворовъ пять будетъ. Живутъ тамъ раскольники, на твою вѣру похожи... Поповъ не принимаютъ и водки не пьютъ. Народъ хорошій... Тамъ тебя и примутъ, и полѣчатъ... И рѣчи твои слушать будутъ... Они на это охочи.

— Пятнадцать верстъ, говоришь? — съ сомнѣніемъ переспросилъ странникъ. Согнулъ и разогнулъ ноги въ колѣняхъ, какъ-будто хотѣлъ испытать, сохранили ли онѣ еще способность двигаться.

— Больше не будетъ. Хоть и не по пути мнѣ, а, пожалуй, проведу тебя... Укажу дорогу... Я тоже добро-то помню. А сейчасъ пойдемъ внизъ, на родникъ. Умоешься, да попьешь—лучше станетъ. Хлѣба у меня еще осталось немного.

Кое-какъ, съ надорваннымъ кряхтѣніемъ, странникъ поднялся на ноги. Закачало его туда и сюда, какъ вѣтромъ былинку. Жалобно улыбнулся и тоненькимъ дѣтскимъ голосомъ протянулъ:

— Осла-абъ... Вотъ какъ ослабъ...

Морщась отъ боли и взрывая землю длиннымъ березовымъ посохомъ, потащился за Чернявымъ. Тотъ шелъ твердо и быстро, не размѣряя шага, и странникъ отставалъ. На крутомъ спускѣ кто-то злой толкалъ его въ спину и все хотѣлъ поставить на колѣни,—и на борьбу съ этимъ злымъ тратились послѣднія силы.

Мутилось въ головѣ, широкіе зеленоватые круги ходили передъ глазами. Минуту или часъ шли до родника, — не запомнилъ.

Внизу еще пахло ночью и туманомъ, и мелкія капли росы густо блестѣли на листьяхъ. Изъ-подъ обросшаго красными и желтыми лишайниками, большого, треснувшаго пополамъ камня журчала прозрачная струйка, на нѣсколько

шаговъ пропадала подъ щебнемъ, а потомъ вливалась въ небольшую котловину. Чернявый уже фыркалъ и плескался надъ этой котловиной, когда подошелъ странникъ.

— Ну-ка, отче, попробуй бродяжяго супу... Студено, хорошо!..

Странникъ тоже поплескалъ себѣ на лицо холодной, ледяной водой, помочилъ темя. Ломота въ вискахъ, какъ-будто, ослабѣла немного отъ этого умыванья, и стихъ палящій, сжигавшій всю внутренность, жаръ.

Припалъ прямо губами къ роднику и пилъ долго, не отрываясь.

Потомъ сѣли рядомъ, на камень. Чернявый по-братски, ровно, раздѣлилъ захваченный вчера кусокъ черстваго, съжавшагося въ карманѣ хлѣба. Протянулъ было одну половину страннику, но тотъ только махнулъ рукой.

— Не надо, спасибо. Сытъ я... Добрести бы...

— Добредемъ. Вонъ ты какой, щуплый. Взвалю тебя на плечи и поташу, если упадешь. Я и быка могу унести, не только что человѣка.

— Счастье твое... А я съ дѣтства немощень былъ. Духомъ однимъ жилъ, не тѣломъ... Анъ въ немощномъ-то тѣлѣ и духъ слабѣетъ, и боюсь я угасить его,—вотъ какъ боюсь... Слабый человѣкъ,—сколько разъ уже на Бога ропталъ и имя Его позорилъ. Почему, думаю, хожу я весь вѣкъ и нѣтъ мнѣ покоя, и нигдѣ сердце мое не возвеселится, а преданные грѣху радуются и блаженствуютъ? Зачѣмъ, думаю, отъвертился, Господи, отъ сына Твоего?

— Ты и брось ходить. Умное сдѣлаешь. Хоть подъ старость-то поумнѣй!

— Не могу, сиротинка. Ропталъ, а на таковое не отваживался. Не могу я съ людьми быть. Претить душѣ. Развратъ и злоба людская, и лютость слугъ человѣческихъ... Идутъ брать на брата и свѣтлымъ именемъ Господа совершаютъ беззаконія... Вѣрую я крѣпко: разрушится царство ихъ, и придетъ Богъ въ силѣ и въ правдѣ. Будетъ тогда на землѣ миръ и благодать, уничтожатся царства и власти, и печать зла предастся сожженію.

— А людей куда дѣнешь? Пока будутъ люди,—все, братъ,

по старому останется. Они — дураки и блудники, и нужна имъ палка и баба. Коли палка не больно бьетъ, да баба грудастая — вотъ имъ и ладно. Имъ твое Божье царство ни къ чему.

Чернявый доѣлъ хлѣбъ, сдулъ съ колѣнъ крошки. Порцію странника сунулъ обратно въ карманъ.

— Отдохнулъ, святой? Или посидимъ еще?

— Посидимъ, сиротинка... Вотъ, отпадетъ отъ груди тяжестъ — и пойдемъ. Я скоро... Тебѣ недосугъ, что-ли?

Чернявый усмѣхнулся.

— Понятно, недосугъ... Мы, вотъ, сидимъ, а за тѣмъ кустикомъ, можетъ, чалдонишка взгромоздился и высѣживаетъ. Теперь, братъ, ходчѣ надо... Горитъ земля подъ ногами...

— Зачѣмъ ты имъ? Знаютъ, вѣдь, что уйдешь ты теперь! — попробовалъ успокоить своего спутника странникъ.

— Знаютъ! — многозначительно повторилъ Чернявый. — Знаютъ мокрогубые, что Чернявый не уйдетъ такъ, не расплатившись. Теперь, чай, всѣ животишки имъ подвело отъ страху.

Странникъ не понялъ.

— За что платить будешь? Они тебѣ зла хотѣли, — подъ замокъ посадить, въ клѣтку.

— Тѣми же деньгами и заплачу. Въ долгу не останусь.

— Худо, сиротинка. Отвернись отъ человѣческаго. Опять въ тебѣ зло говорить. А ты открой душу свою Богу и уйди отъ грѣха подальше, чтобы не смущало тебя.

— Мозглякъ... Жизнь — не монастырь. Подставить имъ брюхо, чтобы они кишки вымотали... Нѣтъ уже... Скорѣе у волостного его толстая утроба лопнетъ...

— Это у кривого? Что доносилъ на тебя?

— Ну, вотъ... Я его давно знаю... Онъ на меня весь народъ подвинулъ. Безъ него не осмѣлились-бы, трусы паршивые...

— И волостного не тронь, сиротинка... Проклянетъ тебя Господь, если вынешь изъ тѣла душу живую. Если его самого не жалѣешь, такъ семью пожалѣй. У него, поди, малые дѣтки есть. Онъ ихъ кормить. За что ихъ обидишь?

— Анъ врешь... Онъ вдовый, косою чортъ... И дочь у него только одна, на выданьѣ. Она и безъ тятки прокормится. Здоровая дѣвка.

— Любить отца-то. Опечалишь ее навѣкъ.

— Она-то, не знаю, любить ли, а кривой въ ней души не чаешь. Все богатство свое ей копить.

— Не тронь его!—убѣжденно просилъ странникъ. — Не тронь, сиротинка!

— Ладно, отвяжись... Чего суешься не въ свое дѣло? Отведу тебя къ раскольникамъ — и ладно. Остальное дѣло не твое.

Большое, заросшее бородой лицо Черняваго окаменѣло въ жестокой гримасѣ. И весь онъ сдѣлался какой-то твердый, какъ изсѣченный изъ гранита, со своей непоколебимой ненавистью. Маленькій, бѣлый странникъ тихонько отодвинулся отъ него, и безотчетный испугъ мелькнулъ въ его воспаленныхъ глазахъ.

Тихо и ласково журчалъ родникъ. Не понималъ, о чемъ говорятъ сидящіе надъ нимъ люди и, довольный своей холодной чистотой, ловилъ солнце прозрачными капельками, нырялъ подъ сѣрую грудь щебня и, снова вырвавшись на волю, успокоенный, разливался зеркаломъ въ котловинкѣ.

Бочкомъ, опасно, подскакала къ роднику пестрая птичка. Прыгнула на обточенную гальку, искоса посмотрѣла на что-то такое, что сидѣло повыше, на большомъ камнѣ. Одно—темное, другое—бѣлое. Опасно-ли?

Темное шевельнулось, вытянулось, сдѣлалось огромнымъ, такъ что тѣнь отъ него упала на котловинку. Птичка метнулась и исчезла.

— Идемъ, что ли? Пора...

— Идемъ, идемъ... — заторопился странникъ. Полегчало мнѣ.

Накинулъ на плечи котомку, хотѣлъ бойко подняться и зашатался опять, чуть не упалъ. Схватилъ Черняваго за рукавъ и едва перевелъ духъ.

— Что это, Господи... Неужели конецъ приближается?

— Оживешь. Раскольники лѣсные отходятъ... Они лечить



мастера... Бабы иной разъ изъ села бѣгаютъ къ нимъ за снадобьями.

— Помощь человѣческая ни къ чему. Какъ Богъ захочетъ. Рано еще мнѣ предстать передъ лицо Его. Боюсь.

Чернявый пошелъ впередъ, придерживая странника подъ локоть. Увѣренно поворачивалъ и перебирался съ одной незамѣтной тропинки на другую, словно шелъ по столбовой дорогѣ. Странникъ запинался за выдавшіеся изъ земли корни, волочилъ ноги. И внутри у него опять начало горѣть еще сильнѣе, чѣмъ прежде, какъ будто холодная родниковая вода превратилась въ расплавленный свинецъ.

Какъ сквозь сонъ слышалъ объясненія своего провожатаго, что придется сдѣлать крюкъ, такъ какъ близко отъ села проходить не годится. Увидать — и схватить. Узкими лѣсными тропиночками, въ обходъ, выйдетъ немного дальше, но зато мѣста тутъ все глухія. Ни одна душа не встрѣтится.

— И лучше, и лучше, — машинально соглашался странникъ. — Пускай не встрѣтятся.

— Вотъ только близко, версты за три, будетъ пасѣка... Кривого волостного, сердечнаго друга моего, пасѣка... Тамъ глухой работникъ живетъ. Онъ не замѣтитъ, какъ пройдемъ мимо...

— Пройдемъ, пройдемъ... — соглашался странникъ. Черняваго раздражалъ его надтреснутый голосъ, но, все-таки, хотѣлось говорить самому и слушать его отвѣты, чтобы заглушить щемящую, мучительную ненависть, вспыхивавшую при воспоминаніи о прошедшей ночи.

— Очень худо тебѣ?

— Худо, сиротинка... Мутить... На пасѣкѣ-то отдохнуть нельзя-ли будетъ?

— Да она — чья? Слышалъ вѣдь, моща святая? И подъ кустомъ полежишь.

Противъ воли, сама собой возвращалась мысль къ тому, что хотѣлось забыть до тѣхъ поръ, пока не удастся развязаться съ больнымъ. И пасѣка эта, какъ нарочно, примостилась на самой дорогѣ, такъ что нельзя обойти ее.

— А, вѣдь, я пасѣку-то разорю! — неожиданно сказалъ

Чернявый. — Сторожку сожгу и борти перебую всё. Будетъ кривому хорошій убытокъ.

— Пчелки встанутъ на защиту! — болѣзненно улыбнулся странникъ. Покусаютъ тебя, сиротинка. Больно будетъ. Волдыри насыдутъ, такъ что и глазъ не откроешь.

— Замолчи, скрипучій. Надоѣлъ ты... Веду тебя къ мѣсту. Иди и молчи.

---

Уваль за уваломъ, безъ конца. И всё подъ лѣсомъ, ни клочка свободнаго мѣста. Прошли уголкою свѣжей гари. Вязли ноги въ сѣромъ пеплѣ, хрустѣли обугленные вѣтки. Сиротливыми вѣхами стояли надъ пепломъ черные стволы, и огонь заострилъ у нихъ концы, какъ копья. Тонкая пыль, еще не сбитая дождями въ плотную корку, забиралась въ горло, надрывала грудь странника удушливымъ кашлемъ. Потомъ, за лощинкой — опять зелень и свѣжесть, и голубые цвѣты, развернувшіеся на лѣсномъ перегноѣ.

Солнце начинало парить все сильнѣе. Пахло душистой свѣжей смолой и чѣмъ-то, смѣшаннымъ изъ тысячи запаховъ, незамѣтныхъ каждый въ отдѣльности, но слившихся въ одну пахучую струю. Мягко сверкая пестрыми крыльями, кружились бабочки. Летѣлъ толстый рогатый жукъ и сердитымъ басомъ, какъ сварливый старикъ, гудѣлъ: зум... зум...

Было тепло и весело, но странникъ чувствовалъ, что есть нѣчто, совсѣмъ близко, что тревожить и омрачаетъ теплый ласковый свѣтъ, какъ набѣжавшая на солнце туча. И сквозь красноватую пелену своей болѣзни смутно догадывался, что это тѣ мысли, которыя роятся и зрѣютъ въ головѣ его темнаго спутника. Зрѣютъ и прорываются наружу, какъ пузыри на кипящей водѣ.

Хотѣлось, чтобы время шло скорѣе, скорѣе, чтобы часы сдѣлались совсѣмъ коротенькими и незамѣтно ускользали въ вѣчность, какъ мгновенія. Но несмотря на то, что мозгъ отупѣлъ отъ невыносимой боли въ вискахъ и въ темени, и все окружающее — солнце, лѣсъ, зелень — шло какъ-то мимо, далеко, какъ во снѣ, — время тянулось слишкомъ долго, и каждый пройденный шагъ отнималъ новый запасъ силы.

А тропинка все вилась въ тѣни густыхъ елей и вырывалась на маленькія, заросшія молодой березкой и боярышникомъ полянки. Временами совсѣмъ пропадала и, спустя нѣсколько десятковъ шаговъ, вновь начиналась какъ разъ тамъ, куда приходилъ Чернявый.

Страннику казалось, что они все кружатъ по одному и тому же мѣсту, но когда онъ сказалъ объ этомъ, Чернявый оборвалъ его рѣзко и грубо.

И странникъ съежился, замолчалъ. Шелъ и боялся остановиться, такъ какъ былъ увѣренъ, что, остановившись, уже не въ состояніи будетъ сдвинуться съ мѣста и останется одинъ въ дикомъ и незнакомомъ лѣсу, гдѣ свободно, какъ дома, могутъ ходить только Чернявый и волки.

Мало-по-малу, однако, въ лѣсу начали показываться кое-какіе признаки близкаго жилья. Раза два пришлось пересѣчь новыя, недавно наѣзжанныя дороги, по которымъ, должно быть, ѣздили мужики изъ села на покосы. И все чаще бѣлѣли высокіе, косо обрубленные пни.

Чернявый сдѣлался осторожнѣе, и походка у него была мягче и болѣе упруга, какъ у подкрадывающагося звѣря. Раза два оглянулся на странника, — не отсталъ ли.

— Здѣсь скорѣе надо... Село близко.

Странникъ догадался, что направо, за рядомъ сосенъ — большой и совсѣмъ голый, давно вырубленный участокъ, а сейчасъ же за нимъ — рѣчка и село. Чернявый забиралъ все лѣвѣе, въ чащу, и чутко прислушивался.

Скоро встрѣтили новую тропинку, но Чернявый не пошелъ по ней, а свернулъ въ сторону и пошелъ прямо чащей, такъ что тропинка показывалась путникамъ только временами, сквозь просвѣты между деревьями.

Странникъ запутался въ густомъ малинникѣ и тихонько вскрикнулъ отъ страха, что упадетъ сейчасъ.

— Тише ты, сволочь! — зашипѣлъ на него Чернявый. Вернулся, подхватилъ больного подъ руки, приподнял, какъ щепку, и вынесъ на чистое мѣсто. — Шумѣть нельзя. Недалеко пасѣка. Можетъ, тамъ есть кто-нибудь... Понялъ?

Пошли теперь надъ глубокимъ оврагомъ съ крутыми сыпучими берегами. Странникъ смотрѣлъ въ темную, сы-

рую разсѣлину, и ему захотѣлось упасть туда, лежать и не двигаться, ничего не чувствовать.

— Господи, скоро ли?

Прошепталъ свою жалобу едва слышнымъ шопотомъ, но Чернявый понялъ и такъ же тихо отвѣтилъ:

— Скоро. Вотъ только оврагъ обойти. Тамъ уже выберемъ въ глухія мѣста и пойдемъ безъ опаски... И отдохнуть можно будетъ. Только, чуръ, долго не отдыхать. Завтра мнѣ опять въ этихъ краяхъ надо показаться, чтобы товарищи не потеряли... Да... Наберись силы-то...

Правѣе, между двумя путниками и невидимой еще пасѣкой, лѣсъ замѣтно порѣдѣлъ. Съ тонкимъ, похожимъ на свистъ пули жужжаньемъ, пролетѣла надъ ухомъ странника пчела, за ней — другая.

На днѣ оврага было топкое болото. И чтобы обойти его, пришлось передвинуться еще ближе къ тропинкѣ, которую такъ старательно избѣгалъ Чернявый.

Онъ остановился, что-то соображая. Потомъ рѣшительно пересѣкъ тропу поперекъ и пошелъ по другой сторонѣ, по-прежнему стараясь укрываться кустами и зарослями.

Неожиданно показалась, какъ на ладони, вся пасѣка. Низкая землянка и вокругъ нея, на полянѣ, частой толпой разставленные ульи. Сочно гудѣли работающія пчелы. Чернявый потянулъ странника за рукавъ, заставилъ его присѣсть за кустомъ.

Веселый женскій смѣхъ рассыпался серебромъ гдѣ-то совсѣмъ близко.

— Молчи! — шипѣлъ на странника Чернявый. — Идохнуть не смѣй...

Странникъ былъ разбитъ, утомленъ и полонъ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ, который возбуждалъ въ немъ Чернявый своими движеніями и голосомъ. Густая зеленая вѣтка упиралась прямо въ лицо, и онъ не сразу разглядѣлъ женщину, которая смѣялась.

Это была совсѣмъ молодая еще дѣвушка, смуглая, какъ цыганка. Она только что вышла изъ-за землянки и все еще продолжала смѣяться, раскачиваясь всѣмъ своимъ здоровымъ, молодымъ тѣломъ. За ней шелъ низенькій, не старый



еще человекъ и, глядя на дѣвушку, улыбался туповатой деревянной улыбкой, какая бываетъ только у глухихъ, отрѣзанныхъ отъ міра звуковъ людей.

— Работникъ... и она... кривого дочь! — едва слышнымъ шопотомъ объяснилъ Чернявый.

— Смѣлая дѣвка, смотри-ка... Одна на поляну ходить...

На полянѣ, гдѣ стояли улы, ярко свѣтило солнце. Дѣвушка вся была облита его свѣтомъ, и ея черные, густые волосы отливали синевой, какъ крыло ворона. Свѣтлое ситцевое платье плотно облегалo тѣло и слишкомъ сильно стягивало высокую грудь, которая, какъ будто, хотѣла вырваться изъ-подъ этого некрасиваго покрыва.

Чернявый раздулъ ноздри, и въ глазахъ у него вспыхнуло что-то горячее, жадное. И еще разъ пробормоталъ, не для странника, а для себя самого:

— Смѣлая дѣвка...

Дѣвушка, повидимому, старалась объяснить что-то глухому, а онъ не понималъ или намѣренно не слушался, и только глуповато улыбался, глядя на ея радостное и раскраснѣвшееся отъ быстрыхъ движеній лицо.

— Одна пойду, понимаешь? — кричала ему надъ самымъ ухомъ дѣвушка. — Какой ты защитникъ? Смѣшной... Я, вѣдь, сильнѣе тебя... Всегда ходила одна, и ничего, — а сегодня боишься... Ахъ ты... Не понимаешь? Ну, какъ же я тебѣ расскажу?

Знаками показывала глухому, чтобы онъ оставался у землянки и не шелъ дальше. А тотъ отрицательно качалъ головой и не отставалъ отъ дѣвушки, разводя руками и улыбаясь.

Дѣвушка, наконецъ, перестала смѣяться и нахмурилась. Остановилась, сердито топнула ногой.

— Оставайся, я тебѣ приказываю... Вотъ еще!

И, увѣренная, что глухой теперь не посмѣетъ послушаться, пошла дальше по той тропинкѣ, которая вела съ пасѣки въ село, и рядомъ съ которой прошли уже съ полверсты странникъ и Чернявый.

Глухой остался на мѣстѣ, виновато опустилъ голову. Потомъ медленно вернулся въ землянку.

Чернявый тяжело сопѣлъ носомъ и такъ крѣпко стиснулъ плечо странника, что тотъ едва не застоналъ отъ боли. Дѣвушка прошла совсѣмъ близко, почти задѣла платьемъ тѣ кусты, за которыми они прятались. Чернявый провожалъ ее тяжелымъ, немигающимъ взглядомъ, и грудь у него дышала часто и порывисто, какъ у человѣка, который борется съ кѣмъ-то, кто сильнѣе его. Потомъ поползъ, не разгибаясь, слѣдомъ за дѣвушкой, выглядывая временами изъ чащи, чтобы не потерять ее изъ вида.

Странникъ сначала остался на мѣстѣ, не понимая, зачѣмъ его провожатый возвращается обратно по той же дорогѣ, которую они уже миновали съ такимъ трудомъ и тревогой. Но затѣмъ ему сдѣлалось странно остаться одному теперь, на половинѣ пути, больному и безъ пріюта. Торопливо, падая лицомъ въ землю и царапая руки колючками, онъ потащился вслѣдъ за Чернявымъ.

Чернявый крался впередъ, не замѣчая ничего, кромѣ дѣвушки, которая бодро и быстро шла по тропинкѣ. И его огромное тѣло съ непонятной для человѣка звѣриной ловкостью извивалось среди густыхъ зарослей. Странника задерживалъ каждый сучекъ, каждый выступившій изъ земли корень. Онъ пробирался все медленнѣе и, наконецъ, почти потерялъ Черняваго изъ вида, но въ это время шедшая впереди по тропинкѣ дѣвушка остановилась, и Чернявый тоже замеръ на мѣстѣ, сжавшись комкомъ, какъ будто готовый настигнуть ее однимъ сильнымъ прыжкомъ.

Дѣвушка нагнулась, сорвала какой-то большой цвѣтокъ съ толстыми розоватыми лепестками, покрытыми мелкими коричневыми крапинками. Долго разсматривала его, стряхнула прицѣпившагося къ лепестку жучка и, держа цвѣтокъ въ рукѣ, пошла дальше.

Странникъ тѣмъ временемъ догналъ своего спутника и жалобно зашепталъ, едва удерживаясь отъ кашля и вздрагивая отъ корчившаго все его тѣло лихорадочнаго озноба.

— Сиротинка... Куда же ты? Не могу я такъ... Тяжко мнѣ... Дай отдышаться мнѣ...

Чернявый быстро обернулся и посмотрѣлъ на него удивленно, какъ на совсѣмъ незнакомаго человѣка. Потомъ вспо-

мнилъ и яростно погрозилъ кулакомъ. Сказалъ громко, почти не сдерживая голоса отъ досады и злобы:

— Пошелъ прочь! Пришибу тебя, гадина... Уходи дальше, или раздавлю, какъ жабу...

— А какъ же... въ деревню-то... — стоналъ странникъ и размазывалъ по лицу кровь изъ свѣжей царапины.

— Аа...

Чернявый схватилъ его за воротъ и, какъ щепку, поволокъ прочь отъ тропинки. Размахнулся, изо всѣхъ силъ ударилъ кулакомъ по безжизненно повисшей головѣ. Потомъ ткнулъ еще разъ ногою въ бокъ и побѣждалъ за дѣвушкой, ломая сучья и сворачивая кусты, прыгая черезъ ямы и кочки. Глаза у него были круглые, какъ у безумнаго, и двигались мускулы на обросшихъ бородой скулахъ.

Впереди, на тропинкѣ, слышались удаляющіеся шаги другого, убѣгавшаго прочь человѣка, — drobные и легкіе. Потомъ пронзительно, надорванно крикнулъ женскій голосъ и сейчасъ же заглохъ, придавленный тяжелой, жесткой ладонью. Что-то забилося на землѣ въ короткой неравной борьбѣ. И хрипло, прерывисто дышало огромное, сильное, злобное существо, наслаждаясь мстью и удовлетворяемой страстью, и мускулистыми, мохнатыми лапами срывало тонкое платье съ грубо измятаго, обезсиленнаго женскаго тѣла...

\* \* \*

Странникъ лежалъ неподвижно, закрывъ лицо руками и подогнувъ ноги. Удары Черняваго на нѣсколько минутъ лишили его сознанія, погрузили въ сѣрое и безразличное ничто, въ которомъ не было ни страданія, ни обиды. Потомъ сознаніе понемногу вернулось, и первое чувство, которое напомнило о себѣ больному и избитому человѣку, было — боль въ головѣ и въ груди, особенно въ томъ мѣстѣ, куда угадать тяжелый сапогъ Черняваго. Боль была нестерпима. Странникъ скрипѣлъ зубами и не могъ шевельнуться, потому что при каждой попыткѣ къ движенію горячая волна заливала голову и въ глазахъ темнѣло.

Голова какъ-будто раскалывалась на части и бродили въ ней странные, похожіе на сны, образы, сквозь которые

какъ-то неясно и отдаленно припоминались лѣсъ, трудная дорога и побои Черняваго.

Образы были длинны, какъ прожитая жизнь, и такъ же однообразны и несложны, какъ дни этой жизни. Только мѣсто и время — все перепуталось, и тѣни дѣтства рождались рядомъ съ воспоминаніями о вчерашнемъ днѣ и о тѣхъ двухъ мужикахъ, которые рубили въ заповѣдномъ лѣсу домовину.

И такое все было неласковое, грубое, жестокое въ этихъ однообразныхъ тѣняхъ. Еще хуже бередили онѣ животную тѣлесную боль, какъ-будто отрывали по кусочкамъ переполненный чѣмъ-то жгучимъ, истомленный болѣзною мозгъ.

Дошедшее до зенита солнце медленно катилось внизъ по задергивавшемуся полосатыми легкими облаками небу. Жаръ спадалъ и тѣнь большого дерева, передвинувшись, покрыла странника. Ему сдѣлалось немного легче. Съ мучительнымъ усиленіемъ онъ повернулся на спину, привычнымъ движеніемъ поискалъ около себя котомку. Ея не было. Должно быть, оторвалась и осталась тамъ, у тропинки.

Понемногу странникъ овладѣлъ своими мыслями, отогналъ ненужные образы и припомнилъ то, что случилось сегодня.

Должно быть, онъ обманулъ, этотъ человѣкъ, который называетъ себя Чернявымъ. Обѣщалъ привести въ спокойное, хорошее мѣсто, гдѣ можно отдохнуть и полечиться, а самъ бросилъ среди дороги и побилъ.

Странникъ не умѣлъ сердиться. И онъ слишкомъ привыкъ къ тому, что его всюду гнали и обманывали, но теперь онъ успѣлъ уже привыкнуть и къ мысли, что скоро отдохнуть и успокоится, — и разбитая надежда огорчала его.

Земля, по которой онъ ходилъ до сихъ поръ, пока не упалъ, срѣзанный болѣзною и усталостью, была велика — и слишкомъ чужда для него. И на всей этой большой, чужой землѣ не было у него своего, родного мѣста, какъ не было своей семьи и своего имени.

Пока странникъ былъ здоровъ и достаточно крѣпокъ, онъ всегда вблизи себя чувствовалъ Бога. А если есть Богъ, то не нужно ничего, кромѣ Него, и чѣмъ болѣе чужда и не-



нужна земля — тѣмъ лучше. Богъ велѣ его впередъ, изъ села въ село, изъ города въ городъ. Давалъ силу и хитрость, чтобы избѣгать притѣсненій и неволи. Говорилъ со странникомъ, когда былъ тотъ одинокъ и терялся на великой землѣ, какъ песчинка въ пустынѣ.

А теперь странникъ лежалъ и думалъ о томъ, что Богъ отступился отъ него.

Привелъ его къ самымъ краямъ человѣческой жизни, къ непроходимой темной тайгѣ, за которой есть только вѣчный ледъ, холодъ и смерть, — привелъ и оставилъ.

Болѣзнь теперь грызетъ тѣло. И слабѣетъ душа, и гибнетъ.

Такъ ли думалъ онъ кончить жизнь, когда послушался призыва своего Господа, оставилъ все и ушелъ? Ждалъ онъ, что придетъ часъ награды, и что его усталые глаза увидятъ Божіе царство, царство свободы и правды. А земля по-прежнему чужда, и нѣтъ на ней родного мѣста, а люди исполнены духомъ человѣческимъ и гонятъ того, кто не хочетъ оправдать ихъ и служить Отцу своему.

Случилось недавно еще что-то, что наполняло душу странника мертвеннымъ холодомъ и чего онъ никакъ не могъ вспомнить.

Утомленный духъ натянулся, какъ струна. Напряги его еще однимъ страданіемъ — и лопнетъ. Странникъ зналъ это и все-таки хотѣлъ, но въ то же время и боялся вспомнить.

Началось тамъ, на пасѣкѣ, гдѣ роємъ гудятъ пчелы и носятъ медъ въ свои соты.

— Господи! Зачѣмъ оставилъ меня?

Странникъ вспомнилъ. Замеръ отъ тяжелаго подозрѣнія и чувствовалъ, что струна натянулась еще туже. Вотъ-вотъ лопнетъ.

— Отецъ мой! Зачѣмъ Ты оставилъ меня?

Никто не отозвался въ лѣсу. Чуждо молчала земля. Богъ не слышалъ.

Нужно найти его — огромнаго, злого. Узнать, можетъ-быть, — не поздно. Сказать ему, что есть Богъ, и что Онъ проклянетъ того, кто совершилъ насиліе надъ слабымъ. Да,

есть Богъ. Онъ отошелъ сейчасъ, потому что такова Его воля, но Онъ есть.

Духъ еще жилъ, и даже поборолъ слабое тѣло и заставилъ подняться. Но разогнуть спину странникъ не могъ и шелъ сторбленный, какъ-будто земля владѣла уже имъ и не хотѣла отпустить.

На мягкой почвѣ остались крупные, глубоко вдавленные слѣды тамъ, гдѣ бѣжалъ Чернявый. Надломленные вѣтки безсильно повисли и листья на нихъ уже свертывались и блекли.

Въ одномъ мѣстѣ слѣды разошлись такъ далеко, что легко было потерять ихъ. Здѣсь Чернявый подвигался бѣшенными скачками. Боялся упустить кого-то, потерять изъ вида.

— Господи, помоги мнѣ...

Вотъ и тропинка. Немного въ сторонѣ отъ нея, на приямтой травѣ, лежало что-то свѣтлое.

Странникъ дрожалъ и колѣни у него подгибались. Жесткій комокъ подкатывался къ горлу, мѣшая дышать.

Но духъ еще жилъ. Заставилъ подойти.

Вотъ она лежитъ—красивая, нагая, растерзанная... Только кое-гдѣ разорванные клочья одежды остались на тѣлѣ и еще хуже, еще позорнѣе обнажаютъ наготу.

Закинулась назадъ голова съ тяжелыми, черными волосами. Вышли изъ орбитъ глаза—большіе, мутные, уже не живые и не человѣческіе. А на шеѣ, подъ бѣлымъ, мраморнымъ подбородкомъ остались царапины и синеватые полосы. Здѣсь чьи-то пальцы сдавливали горло, вырвали жизнь изъ молодого тѣла.

На лѣвой груди, выпуклой и круглой, сидитъ продолговатый, вонючій жукъ съ колѣнчатыми щупальцами, — такой, какіе всегда садятся на навозъ и падаль, — а другой ползетъ по животу и ссорится съ большими зелеными мухами изъ-за свѣжей добычи.

Странникъ смотрѣлъ и видѣлъ передъ собой гнусный грѣхъ и смертельный ужасъ, и дрожалъ.

Тотъ самый человѣкъ, съ которымъ онъ провелъ ночь и шелъ потомъ по лѣсу—обнажилъ, опозорилъ и убилъ ее.

А онъ спастъ этого человѣка отъ рукъ властей, отъ неволи и плѣна и звалъ на новую жизньъ.

— Господи... Ослабѣлъ духъ мой... Зачѣмъ оставилъ меня?

Лежала на смятой травѣ мертвая женщина и странно бѣлѣло ея матовое тѣло на яркой зелени. И отъ того, что вокругъ все было такъ спокойно и тихо, и съ хлопотливой радостью чирикали птицы, — ужась насилія былъ еще холоднѣе и безпощаднѣе.

Здѣсь, на запятнанной грѣхомъ зелени, лежало человѣческое зло и человѣческое безуміе. Обнаженная, смердящая язва жизни, гниль и позоръ той великой земли, по которой ходилъ странникъ...

И страннику казалось, что здѣсь есть и его грѣхъ, и что его руки тоже прикасались къ этому тѣлу. Блудливо и жадно срывали покровы, кошунственно уничтожали красоту.

Весь ли онъ ушелъ къ Богу? Не оставилъ ли въ себѣ человѣческое?

Странникъ нагнулся, прикрылъ наготу убитой женщины измятымъ, грязнымъ клочкомъ ея одежды. Потомъ тихо и скорбно прижалъ горячія губы къ ея лбу, чтобы почтить страданіе.

— Не я ли шелъ за тобою, Господи? Оставилъ все и пошелъ?

Поднялъ глаза къ небу, туда, гдѣ свѣтло и свободно, потому что тамъ нѣтъ человѣка. Но пусто было небо и спокойно молчало. Тогда натянутая струна оборвалась, и чистое пламя духа погасло.

И не было больше силъ оставаться здѣсь, лицомъ къ лицу съ гнусностью человѣка.

Странникъ пошелъ прочь отъ тропинки, не зная, куда и зачѣмъ идетъ, потому что въ глазахъ темнѣло; и все спуталось, — земля, лѣсъ и небо.

Колючій кустарникъ втыкалъ въ его тѣло свои шипы, а онъ не чувствовалъ боли, какъ-будто тѣло было чужое. А ноги не ощущали земли, по которой ступали.

Долго ли шелъ? Все равно. Больше нѣтъ времени. Нѣтъ ни вчера, ни завтра, и впереди не видно дороги; и не можетъ ея быть, потому что дальше стѣна...

Пахнуло тяжелой болотной сыростью. Черная яма оврага разинула впереди свою пасть. Странникъ не видѣлъ ея и шелъ, полузакрывъ глаза, протянувъ впередъ руки, какъ слѣпой.

Съ глухимъ шорохомъ посыпалась изъ-подъ ногъ земля. Комья падали на дно оврага одинъ за другимъ, словно на крышку гроба. Странникъ пошатнулся, инстинктивно схватился рукой за длинный, похожій на веревку, корень. Тотъ выскользнулъ изъ ослабѣвшихъ пальцевъ, и они нѣсколько мгновеній, сгибаясь и разгибаясь, беспомощно ловили воздухъ. Потомъ странникъ упалъ на спину, на скользкій, крутой склонъ, размытый весенними водами. Скатился внизъ, нѣсколько разъ перевернувшись черезъ голову неуклюже и безсильно, какъ мѣшокъ.

Испуганная внезапнымъ паденіемъ лягушки метнулись въ застоявшуюся, покрытую зеленой плѣсенью, лужу. И выставивъ изъ-подъ слизистыхъ водорослей свои большіе, стеклянные глаза съ застывшимъ въ нихъ выраженіемъ тупого любопытства, съ интересомъ разсматривали что-то новое, явившееся въ ихъ тинистое царство.

Странникъ лежалъ смирно на самомъ краю лужи и никого не трогалъ. Кровь на лицѣ смѣшалась съ грязью и образовала неподвижную, странную маску. Только пальцы на рукъ все еще сгибались и разгибались, съ упрямымъ постоянствомъ преслѣдуя какую-то ускользавшую опору.

Кончился день. Вечеромъ на тропинкѣ шумѣли тревожные человѣческіе голоса. Кто-то громко и безстыдно ругался, кто-то плакалъ. Ночью стихло.

Черная, нескладная птица съ хищнымъ клювомъ сѣла на дерево, надъ оврагомъ, и, изогнувъ голову на бокъ, смотрѣла внизъ, разсматривала въ темнотѣ что-то нужное для нея, но немного страшное. За первой птицей неслышно, какъ тѣни, прилетѣли другая, третья. Сѣли на то же дерево и нетерпѣливо переминались съ ноги на ногу, раскачивая вѣтви.

Когда восходила красная, кровавая луна, первая птица громко каркнула, такъ что далеко въ лѣсу ей отозвалось почное эхо, степенно взмахнула крыльями и, описывая ши-



рокіе круги, опустилась на дно оврага. Другія немного выждали и тоже, крутясь, какъ осенніе листья, погрузились въ болотистую мглу.

Тяжелый, больной, красноватый свѣтъ, съ траурными черными тѣнями, расползлся по тайгѣ. Оврагъ былъ слишкомъ глубокъ. Тамъ оставалась прежняя, непроницаемая темнота, и въ этой темнотѣ что-то кончалось. И съ довольнымъ клекотомъ опьянялись свѣжей добычей черные хищники...

---

# Обреченные.

## I.

Городъ раскинулся полукругомъ у самого моря. Въ тихую погоду магазины и богатяя гостиницы набережной отражаются въ водѣ, какъ въ зеркалѣ. Въ бурю ихъ обдастъ снопами крупныхъ, холодныхъ брызгъ, и на толстыхъ, чистыхъ стеклахъ огромныхъ оконъ остается легкій бѣловатый налетъ соли. Изъ садовъ спускаются кипарисовыя аллеи до мокрой гряды валуновъ, и въ садахъ странно пахнетъ томящимися въ жаркій день розами и свѣжей, щекочущей ноздри морской сыростью. Противъ ресторановъ и гостиницъ, уже на самой водѣ, въ бѣлой чертѣ прибоя, стоятъ, какъ длинноногіе желѣзные пауки, павильоны-поплавки, съ надувающимися отъ вѣтра бѣлыми, обшитыми краснымъ, драпировками. Тамъ, въ прохладѣ, любятъ пить и ѣсть и спокойно прислушиваться къ ропоту прибоя, отъ ударовъ котораго вздрагиваютъ прочныя желѣзныя сваи. По узкой набережной улицѣ, между гранитной облицовкой берега и сверкающей линіей магазиновъ и гостиницъ, всегда плывутъ шумныя и пестрыя людскія толпы, мягко шипятъ резиновыми шинами удобные, дорогіе извозчики съ полотняными зонтиками надъ мѣстами для пассажировъ, звенятъ и стрекочутъ велосипеды. Толпы идутъ, переплетаются, свиваются въ длинную многоцвѣтную гирлянду и плавно передвигаются подъ музыку, которая играетъ два раза въ день, утромъ и вечеромъ. И толпѣ кажется, что такъ же, какъ и музыка, все остальное создано для нея одной: зеленое пѣнистое море и глубокое синее небо, солнце и теплый бризъ, розы, кипарисы и магноліи. Поэтому она довольна, и смѣется, и машетъ зонтиками, и

съ аккуратнымъ самодовольствомъ ступаетъ по тротуару хорошо вычищенной обуви. Волна набѣгаетъ на гранитъ набережной и отступаетъ назадъ, подергиваясь пѣнной сѣтью, такая же чистая и соблазнительно недоступная, но нехорошо бѣлѣють на ней размокшіе окурки и клочки газетной бумаги, которые бросаетъ довольная толпа.

Играетъ музыка. Зеленѣють, погружаясь въ море, лучи солнца. Пряно и раздражающе пахнутъ розы и свѣшивающіяся съ балконовъ лиловые кисти глициній.

Если подниматься по той улицѣ, которая ведетъ отъ набережной прямо вверхъ, въ горы, стиснутая двумя рядами каменныхъ заборовъ и контрфорсовъ, то скоро начинаешь уставать, пачкаешь обувь пылью, и хочется вернуться обратно къ морю, ближе къ его влажнымъ и ласковымъ объятіямъ. Изъ-за каменныхъ стѣнъ зеленѣють сады, рисуются на бѣломъ голубоватыми тѣнями лѣпныя украшенія виллъ. Но это — чужое, а подъемъ утомительно крутъ и слишкомъ много подъ ногами тонкой, бѣлой пыли.

Потомъ заборовъ дѣлается меньше, а садовъ больше. Очень правильными, хорошо причесанными рядами стоятъ виноградники. Чѣмъ дальше отъ моря, тѣмъ больше занимаетъ оно мѣста внизу, сравнительно съ узкой, свернутой полукругомъ, ленточкой набережной. Хочется имѣть крылья и летѣть надъ нимъ въ голубую, прозрачную пустоту, туда, далеко и высоко, гдѣ никого не было.

У кого нѣтъ крыльевъ, тотъ идетъ дальше по дорогѣ, ближе къ горами, и на крутомъ поворотѣ, который дѣлаетъ дорога надъ скалистымъ обрывомъ, подходитъ къ большому сѣрому дому съ широкимъ подъѣздомъ и балконами. Балконы выходятъ въ садъ, разбитый у обрыва. Въ саду есть бесѣдка. Съ балконовъ и изъ бесѣдки видно все море, все небо и весь народъ. И кажется, что здѣсь хорошо и просторно жить.

Домъ населенъ густо. Это — благотворительный пансіонъ для чахоточныхъ. Ихъ двадцать шесть человекъ, мужчинъ и женщинъ. Въ саду и на балконѣ для нихъ поставлены длинныя, безобразныя кушетки, висятъ гамаки. Здѣсь боль-

ные лежать, когда это нужно по тому расписанію ихъ жизни, которое составили для нихъ доктора.

Сейчасъ, послѣ завтрака, ихъ только четырнадцать. Здѣсь, наверху, съ моря дуетъ слишкомъ рѣзкій вѣтеръ. Многіе остались въ комнатахъ, гдѣ пахнетъ креозотомъ и эфиромъ.

Тѣ, которые лежать поближе одинъ отъ другого, изрѣдка переговариваются тихими и лѣнивыми словами. Это не рекомендуется, но безъ словъ слишкомъ скучно.

— Тамъ, на морѣ что-то опять чернѣетъ...

— Это пароходъ.

— Нѣтъ, фелюга. Блестить парусъ. У нихъ вѣдь такіе огромные паруса.

— А я вамъ говорю, что это пароходъ. Я вижу дымъ. Вотъ онъ тянется полоской, какъ облачко...

— Михаилъ, куда вы дѣли газету?

— Она у Бобровской.

— Бобровская опять не выходитъ. У нея осложненіе въ ногѣ.

— Кажется, въ желудкѣ.

— Вовсе нѣтъ... Она уже соглашается на операцію.

— Ну, развѣ это...

Долго молчатъ. Въ бесѣдкѣ, за подстриженнымъ лавромъ, свѣтлѣетъ платье фельдшерицы. Ее сразу замѣтно, потому что у нея полное, крѣпкое тѣло и розовыя щеки, покрытыя тонкимъ пушкомъ, какъ персикъ. Она положила на колѣни раскрытую книгу и, перегнувшись черезъ перила, смотреть внизъ. Подъ обрывомъ, между городомъ и пансіономъ — кладбище. Его закутали густой зеленью, которая сочно и пышно разрастается на могилахъ. Все-таки видны прямые, холодные кресты, часовни надъ склепами и памятники. Должно быть, мертвыхъ зарываютъ недостаточно глубоко въ пористую, буровато-красную почву. Въ сырые и жаркіе лѣтніе вечера, когда нѣтъ вѣтра, съ кладбища къ бесѣдкѣ, вмѣстѣ съ запахомъ цвѣтовъ, поднимается легкое, едва ощутимое, но отвратительное зловоніе. Больные чувствуютъ его особенно сильно. И вспоминаютъ, что подъ мраморными крестами и позолоченными часовнями лежатъ гниющие



трупы со слизистымъ, зеленоватымъ, сползающимъ съ костей мясомъ.

Фельдшерица смотритъ внизъ. Тамъ, въ гущѣ деревьевъ, происходитъ то же, что и каждый день, давно надоѣвшее. Доносится до слуха гнусавое пѣніе, блестятъ серебряные, нашитые крестомъ позументы на черной ризѣ священника.

Хочется спуститься къ морю, замѣшаться въ пеструю, довольную толпу, услышать музыку, — тѣ легкіе мотивы, которые играетъ симфоническій оркестръ у кургауза, и которые, лаская слухъ, сейчасъ же ускользаютъ изъ памяти.

— Лидія Львовна...

— Сейчасъ.

Идетъ изъ бесѣдки въ садъ. Спускается по тремъ деревяннымъ, темно-сѣрымъ отъ ветхости ступенькамъ, которые скрипятъ подъ ногами.

— А мнѣ, вотъ, кажется, что у меня температура что-то не того... Вы не находите?

Фельдшерица кладетъ маленькую, мягкую ладонь на сѣрый, сухой, какъ пергаментъ, лобъ. И ея рука кажется розовѣе.

— Пойдемте...

Уходя въ вдвоемъ изъ сада въ комнату больного, — просторную, но слишкомъ голую, похожую на номеръ дешевой провинціальной гостиницы. Странно, что пахнетъ не табакомъ и водкой, а лекарствомъ и болѣзною.

Чтобы измѣрить температуру, больной разстегиваетъ рубашку, спускаетъ ее съ одного плеча. И ему не стыдно, хотя тѣло, которое онъ обнажаетъ передъ женщиной, — худое и некрасивое.

Въ саду осталось одиннадцать. Разговариваютъ.

— Михаилъ, куда вы дѣли газету?

— Я сказалъ уже вамъ, что она у Бобровской.

— Я все-таки думаю, что это пароходъ.

— Нѣтъ, фелюга.

— Видно дымъ...

— Подождите... слышно музыку... съ набережной...

— Нѣтъ, это ближе... Поютъ на кладбищѣ...

Долго молчатъ. Слышно, какъ въ столовой, изъ которой есть выходъ прямо на балконъ, бьютъ часы.

— Разъ... Два...

На кладбищѣ кого-то зарыли. Псаломщикъ связалъ въ маленькій будничный узелокъ епитрахиль и черную ризу съ позументами. Потомъ попъ и псаломщикъ ѣдутъ вдвоемъ на извозчикѣ. Быстро катятся съ горы внизъ, въ городъ.

— Два часа... Я встаю.

— А я буду лежать. Я недавно температурилъ.

— Чортъ знаетъ... Мнѣ опять перемѣнили плевательницу. У меня зеленого стекла, а дали синюю...

За лавровымъ деревомъ, въ бесѣдкѣ, гдѣ фельдшерица забыла свою книгу, показываются трое: женщина и двое мужчинъ.

— Господа, когда же мы въ городъ?

— Сегодня вѣтеръ... Отложили до завтра.

Прибой окаймляетъ берегъ и блеститъ ярко, — гораздо ярче, чѣмъ блестѣли позументы на черной ризѣ. И тамъ, внизу, все такое свѣтлое, напоенное солнцемъ. Кажется, что все соткано изъ прозрачнаго стекляннаго тумана, и люди, которые туда спустятся, будутъ тоже чисты, прозрачны и радостны.

Одинъ думаетъ, что въ такую погоду хорошо кататься на лодкѣ съ косымъ, какъ крыло ласточки, парусомъ и бороться съ бурунами, но не говорить объ этомъ. У женщины большіе, выпуклые глаза. Въ глубинѣ зрачковъ прыгаютъ зеленые огоньки. Должно быть, это отражается море.

— Она читаетъ Бебеля, нашъ херувимчикъ... Это вы дали ей, Михаилъ? Не отпирайтесь, я знаю...

Зеленые огоньки замираютъ. Теперь въ нихъ, потускнѣвшихъ, есть что-то злое.

— Конечно, я. Почему же нѣтъ?

И Михаилъ бережно поднимаетъ книгу, когда она падаетъ изъ рукъ женщины съ зелеными глазами. Страхиваетъ съ обложки песокъ, кладетъ книгу на прежнее мѣсто.

Другой, который думалъ о лодкѣ, недружелюбно смотреть на женщину.

— У васъ скверный характеръ, Женя, и вы — баба. Почему вы пристрастно относитесь къ фельдшерицѣ?

— А... Я знаю. Вы всѣ влюблены въ нес. Рады были

бы цѣловать у нея хотя кончики пальцевъ. А я ее ненавижу, потому что она холодная и безчувственная. Она... не понимаетъ, что нехорошо. Нехорошо быть такой сытой, розовой, съ пушкомъ... Зачѣмъ она здѣсь? Она раздражаетъ. На видъ такая ровная, спокойная, а всегда рисуется. И вы тоже хороши, Ерастовъ... Пока не было Михаила, она читала вашего Лаврова, а теперь перешла на Бебеля. Да и не читаетъ, а только держать на колѣняхъ... Противная...

— Это глупо, Женя.

Михаилу неприятно, и хочется крикнуть имъ, чтобы они замолчали, потому что внизу такъ свѣтло и просторно, и пріятно смотрѣть туда, не отрываясь, и ни о чемъ не думать. Но онъ поворачивается спиной къ повисшимъ надъ обрывомъ периламъ и говорить:

— Пойдемте къ Панину. Онъ скучаетъ, бѣдняга... Вторую недѣлю не выходитъ изъ комнаты.

## II.

Панинъ — это только по паспорту. Пять лѣтъ онъ жилъ нелегально и работалъ въ партіи, — въ тѣ короткіе перемены, когда не сидѣлъ въ тюрьмѣ. И лечится ему нужно тоже нелегально, потому что онъ еврей и, кромѣ того, бѣглый. Его помѣстили въ самый маленькій номеръ, во второмъ этажѣ, и берутъ съ него половинную плату. Рядомъ живетъ Михаилъ, старый товарищъ по партіи. Въ безсонныя ночи они, если захотятъ, могутъ перестукиваться, какъ прежде, въ одиночныхъ камерахъ.

Когда трое пришли къ Панину изъ садовой бесѣдки, въ комнатѣ сдѣлалось совсѣмъ тѣсно. Михаилу не хватило стула. Онъ сѣлъ на постели, у ногъ товарища.

Панинъ лежитъ на постели длинный, вытянутый, и отъ бѣлизны подушекъ и одѣяла, его лицо кажется почти чернымъ. Давно небритая борода отросла ровной, густой щетиной. Бѣлки глазъ сверкаютъ изъ двухъ черныхъ ямъ.

Поздоровался низкимъ, глухимъ голосомъ.

— Спасибо, что навѣстили. Лежу тутъ, какъ въ гробу. Одна Лидія Львовна только и заглядываетъ, да и то больше

по части температуры. Утромъ докторъ книгу увидалъ, — отнялъ, чортъ его возьми... А хорошая книга была...

У Жени совсѣмъ погасли въ глазахъ зеленые огоньки. Съежилась въ уголкѣ комнаты, сдѣлалась скромная, сѣрая. Казалась старше своихъ двадцати двухъ лѣтъ. И глядѣла, не отрываясь, на черное лицо Панина, какъ-будто увидала въ немъ что-то новое, важное — и роковое.

Третій, Ерастовъ, грызетъ ногти. Онъ не любитъ видѣть человѣка, про котораго говорить, что онъ умретъ, если не сегодня, то завтра. И спрашиваетъ какъ-то вскользь, между прочимъ:

— А какъ съ температурой у васъ?

Панинъ перевелъ глаза въ его сторону, и отъ этого яркіе бѣлки сдѣлались еще больше. Женя отвернулась, вздрогнула едва замѣтно, одними плечами.

— Сегодня гораздо лучше... Тридцать восемь и одна... Только, вотъ, слабость проклятая. Шевелю ногой — и сейчасъ же весь обольюсь потомъ. Но теперь уже дня черезъ два встану. Надоѣло лежать.

— Рано. Еще не позволять.

— А я встану. Надоѣло.

Въ голосѣ проскользнула капризная нота. И усаыя губы сжались дѣтской гримасой.

Ерастовъ разсѣянно перебираетъ на маленькомъ столикѣ пузырьки и баночки съ лекарствомъ, продолговатый кожаный футлярчикъ съ працевскимъ шприцемъ. И раскаивается, что пришелъ сюда, послушавшись Михаила. Не о чемъ говорить больше. Кажется, что все, относящееся къ жизни, каждый намекъ на сложное изъ сегодня и завтра будетъ колоть больного, приговореннаго къ смерти.

Панинъ самъ спрашиваетъ, — что новаго.

— Въ городѣ на-дняхъ предполагается большой митингъ! — рассказываетъ Михаилъ. — Митингъ съ дискуссіей. Будутъ говорить по аграрному вопросу.

— Мм... А кто выступаетъ отъ нашихъ?

Михаилъ называетъ имена.

— Просили и меня, да я отказался. Я вообще не ораторъ,



а брать на себя такую отвѣтственность... Да и нервы опять не выдержатъ.

Панинъ съ сожалѣніемъ шевелить своей черной головой на бѣлой подушкѣ.

— Напрасно, братъ... Провалятся всѣ эти здѣшніе молодкосы и будетъ намъ срамъ великій. Закокаетъ ихъ Семень. Право, пошелъ бы ты, на всякій случай... Какъ увидишь, что окончательно проваливаются — выступи и поддержи.

Вмѣшалась Женья. Въ глазахъ у нея опять запрыгали зеленныя искры, — и теперь видно было, что онѣ загораются не отъ моря, а тогда, когда она смотритъ на Михаила.

— Вы нелѣпости говорите, Панинъ... Михаилу нельзя выступать. Вѣдь онъ уже пробовалъ одинъ разъ, — и ничего не вышло, кромѣ нервнаго припадка.

— Ну, вотъ... Одинъ разъ не вышло, а другой выйдетъ. Нельзя же такъ оставлять дѣло.

Панинъ смотритъ на Михаила, который недоволенъ тѣмъ, что Женья говоритъ за него.

На темномъ лицѣ больного какъ-то сверху скользнула и зазмѣилась пронизательная, проницательная улыбка. И Михаилъ отвѣчаетъ, чтобы успокоить больного, а еще больше для того, чтобы противорѣчить Женѣ:

— Можетъ-быть, я пойду. Я еще подумаю... Даже навѣрное, я пойду.

У Жени вспыхнули щеки.

— Ну, конечно... У васъ всегда семь пятницъ на одной недѣлѣ. Удивительно послѣдовательный человѣкъ.

Ерастовъ догрызъ себѣ ноготь до боли. Онъ не любитъ, когда Панинъ и Михаилъ заговариваютъ при немъ о какихъ-нибудь, болѣе или менѣе интимныхъ, партійныхъ дѣлахъ, потому что онъ самъ — другого лагеря, и среди такихъ разговоровъ чувствуетъ себя совсѣмъ чужимъ. Открываетъ и закрываетъ кожаный футлярчикъ.

Михаилъ разсѣянно проводитъ рукой по складкамъ одѣяла. Подъ толстой бѣлой тканью деревянно и остро торчатъ ступни ногъ больного. Такъ неподвижны и прямы онѣ бываютъ только у мертвыхъ.

— Вы все ссоритесь... — говорить больной, и его улыбка

дѣлается жалобной. — Ничѣмъ не заняты и поэтому ссоритесь .. Вотъ, я поправлюсь и тогда опять расшевелю васъ. Помните, какъ у насъ одно время хорошо все наладилось? Вмѣстѣ читали, обмѣнивались мнѣніями... Если въ такое время, какъ сейчасъ, ничѣмъ не реагировать на дѣйствительность, то вѣдь можно съ ума сойти отъ тоски ..

— Чего тамъ... реагировать! — Михаилъ убралъ руку съ одѣяла и спряталъ ее въ карманъ. — Нужно пить, ѣсть, глотать лекарства... Выполнять предписанія... Вотъ и вся реакція.

Ерастовъ смѣется.

— Вы сдѣлались благоразумны, Михаилъ. Давно ли?

Слова вязнуть во рту и путаются. Въ головѣ тяжело, шумно. Какая-то паутина облѣпила мозгъ. Всѣ трое гостей чувствуютъ это одинаково, и всѣмъ хочется встать и уйти куда-нибудь подальше, разбрестись по угламъ и никого не видѣть.

Коленкоровая занавѣска на окнѣ приспущена и подъ потолкомъ виситъ сѣрая скука.

Слышно, какъ кашляютъ. Сначала кто-то всхлипываетъ и давится мокротой гдѣ-то близко, за стѣной или на балконѣ. Потомъ другой идетъ по корридору и тоже кашляетъ, и щелкаетъ крышкой плевательницы. А внизу, въ саду, хриплымъ басомъ лаютъ, какъ въ пустую бочку.

Панинъ поднимаетъ брови и морщитъ на лбу кожу глубокими и тонкими складками. Онѣ расходятся вѣеромъ отъ переносицы и потому лицо принимаетъ странный, искусственный видъ.

— Цѣлый оркестръ, однако... Съ флейтами и контрабасомъ... А и надоѣло же мнѣ здѣсь, господа. Если бы не надежда, что все это когда-нибудь пройдетъ, кончится... Зачѣмъ тогда и тянуть всю эту волокиту? Кромѣ того, я серьезно начинаю сомнѣваться въ пользѣ этихъ обязательныхъ часовъ ѣды, сна, лежанья, прогулокъ взадъ и впередъ по одной и той же дорожкѣ, въ 15 шаговъ длиной... Это слишкомъ напоминаетъ тюрьму.

Ерастовъ откусилъ другой ноготь и серьезно, съ такимъ же сморщеннымъ, какъ у Панина, лицомъ, замѣтилъ:

— Это и есть тюрьма. А мы — преступники, которые вопли ея заслужили. Другіе живутъ, горятъ, работаютъ за десятерыхъ, ломаютъ старую гниль и создаютъ новую жизнь... А мы — надломилась раньше времени, набрали въ себя этихъ самыхъ коховскихъ запятыхъ и оказались ни къ чему не пригодны. Вы понимаете: испортились въ тотъ самый моментъ, когда, можетъ-быть, были всего пужнѣе. Развѣ это не преступленіе!

Женя обидѣлась.

— Вы говорите неумные парадоксы. Какъ-будто мы всё намѣренно, изъ трусости или просто изъ лѣни, бѣжали отъ жизни...

— Дегенератъ, маттоидъ, тоже дѣйствуетъ ненамѣренно. Однако, его запираютъ.

— Запираютъ, но не вылечиваютъ! — сказалъ Панинъ и сдѣлалъ движеніе рукой въ сторону Ерастова, какъ-будто отгонялъ его. — Поэтому я и думаю, что мы сдѣлали глупость, не спаливъ свою жизнь до конца яркимъ пламенемъ, а забрались сюда, на эти постели и кушетки. Въздѣсь, все равно, мы догораемъ — и догораемъ скверно, дымно, чадно... Сбились въ одну кучу и только мѣшаемъ одинъ другому, потому что минуты сравнительнаго благополучія отравляются видомъ чужихъ страданій. Нѣтъ, больше я не хочу такъ... я рѣшилъ твердо.

— Ты долженъ подождать до зимы! — убѣждалъ Михайль. — Тогда, вмѣстѣ съ первымъ снѣгомъ, уѣзжай на сѣверъ. А теперь это гибель.

Женя повторяетъ послѣднія слова, какъ эхо:

— Это гибель.

Но, должно быть, думаетъ о другомъ.

Больной медленно, съ трудомъ поворачивается на бокъ. Подкладываетъ подъ голову согнутую руку. И мелкія капельки пота появляются у него на лбу.

— Слушайте, товарищи... Кто изъ васъ зналъ Невѣрова? Онъ работалъ сначала на Донецкомъ бассейнѣ подъ кличкой... подъ кличкой Катина. Затѣмъ былъ въ Москвѣ, а оттуда попалъ сюда — на югъ. И его тоже помѣстили въ больницу, только не въ эту.

— Я зналъ!—сказалъ Михаилъ.—Невысокій, рыжеватый, съ бѣлыми усами. Хорошій ораторъ, но путаная голова. Онъ потомъ образовалъ за границей свою собственную группу.

— Вотъ, онъ самый... Въ больницѣ онъ лежалъ подъ особымъ надзоромъ, до приговора, и ему грозила ссылка. Былъ уже въ послѣднемъ градусѣ,—температура не опускалась ниже сорока. Каждый день харкалъ кровью!. Такъ вотъ... онъ не захотѣлъ чадить помаленьку, медленно. Сговорился съ товарищами на волю, — у него было тутъ нѣсколько сторонниковъ,—и бѣжалъ за границу въ жесточайшемъ пароксизмѣ. Такъ какъ самъ не могъ ходить, то его вынесли на простынѣ, черезъ окно... Вы понимаете? И, какъ только передъ нимъ развернулась прежняя возможность дѣятельности, онъ ожилъ. Поработалъ еще около двухъ лѣтъ,—и работалъ усиленно, энергично. Горѣлъ во всю. А больничные врачи были увѣрены, что онъ не проживетъ больше недѣли, такъ какъ отъ легкихъ остались какіе-то обрывки... клочья...

Всѣ трое давно знали эту исторію. Помнили даже, какъ Невѣровъ, догорающій, съ пустой грудью, затѣялъ огромную попытку,—пересоздать партію. Попытка не удалась. И въ партійныхъ воспоминаніяхъ его имя живетъ, главнымъ образомъ, какъ имя дезорганизатора и отступника, подкладывавшаго палки подъ колеса партіи въ самое трудное время.

Теперь, въ тѣсной и чужой комнатѣ, больше хотѣлось думать о Невѣровѣ—отступникѣ, чѣмъ о Невѣровѣ—героѣ, желѣзной волей поборовшемъ свою болѣзнь.

— Ну, Невѣровъ...—холодно сказала Женя и вытянула впередъ губы.—Онъ немногаго стоилъ.

Больной приподнялся на локтѣ. Вваливаясь грудью вздрагивала и нервно поднималась подъ обвисшей широкими складками рубашкой.

— А вы... вы знаете, что этотъ Невѣровъ на цѣлую голову выше насъ всѣхъ? Да, на цѣлую голову? Мы должны чтить его память, уважать его, какъ героя долга,—мы, жалкіе, разлагающіеся трусы... Добровольные затворники... Да! Когда лежишь тутъ, на одномъ мѣстѣ, цѣлые недѣли, мѣ-



сяцы, то поневоле много думаешь... И многое дѣлается яснымъ... Никто не имѣетъ права отзываться о немъ дурно. Это неблагодарно и... нечестно... потому что всякая несправедливость—нечестна... Да, я говорю вамъ это.

Опустился опять на подушку, — неловко, бокомъ, и началъ кашлять. Брызги розовой слюны появились на подушкѣ.

Трое сидѣли и ждали, когда это кончится. Ерастовъ отвернулся.

Вѣтеръ всколыхнулъ оконную занавѣску, пропустилъ въ комнату лишнюю волну воздуха и свѣта. Волны докатились до больного и, какъ-будто, успокоили его.

Плохо повинующейся рукой онъ досталъ со своего стола облатку съ порошкомъ, проглотилъ ее. Откинулся на спину, и ноги опять вытянулись острыя, деревянные, почти мертвыя.

— Вотъ гадость какая... Вдругъ схватить иногда... И такая боль, какъ-будто грудь разрывается на части. Нѣтъ, пора съ этимъ покончить.

Михаиль поправилъ у него на груди одѣяло, ласково, какъ заботливая нянька, пригладилъ рукой растрепавшіеся волосы.

— Тебѣ нельзя волноваться, Панинъ. Нельзя много читать, нельзя заботиться о разныхъ постороннихъ для тебя вещахъ. Не забывай, что ты сейчасъ, все-таки, пансіонеръ, а не партійный работникъ.

— Вотъ этого я и не хочу. Невѣровъ уѣхалъ при сорока температуры, а у меня только тридцать восемь.

— Съ десятинами!—поправила Женя.

— Ну, все-равно. Съ одной десятой. На той недѣлѣ я ликвидирую свой лечебный курсъ, и—выхожу на волю. Чортъ съ ней, съ этой вонючей тюрьмой. Во всякомъ случаѣ, на два-то года я могу еще рассчитывать. А здѣсь, можетъ-быть, слохну черезъ мѣсяць. Прямой расчетъ, дѣточки мои... Разорву цѣпи, сломаю рѣшетки... Довольно!

Женя безпокойно вертится на своемъ стулѣ, выдвигается изъ угла, дѣлается больше ростомъ и не такая сѣрая. Ей хочется уговорить Панина, побѣдить его своимъ авторите-

томъ. Поэтому она говоритъ слишкомъ громко, такъ, что больной морщится.

— Васъ не выпускать. Доктора прямо совершать преступленіе, если выпускать васъ изъ санаторіи въ такомъ состояніи.. Наконецъ, вы не имѣете никакого права сознательно убить себя. Вы принадлежите партіи... Невѣровъ— не примѣръ. Это исключеніе, которому вы не можете слѣдовать. Это исключеніе.

Михаилъ видитъ, что больному непріятно и больно, и онъ самъ чувствуетъ всю эту боль до кончиковъ ногтей, до самой глубины сознанія. И, чтобы загладить безтактность, говоритъ преувеличенно мягко и поэтому такъ же фальшиво, какъ Женя.

— Положимъ, еще неизвѣстно, исключеніе ли... Панинъ, кажется, взрослый человѣкъ и самъ понимаетъ, чѣмъ онъ рискуетъ въ данномъ случаѣ... Онъ уѣдетъ, когда захочетъ... и только.

Но Панинъ не вѣритъ. Блѣднѣетъ сильнѣе и прижимаетъ обѣ руки къ груди, гдѣ зрѣетъ боль.

— Повидимому, вы смотрите уже на меня, какъ на покойника. Можетъ-быть. Говорятъ вѣдь, что чахоточные всегда слишкомъ самоувѣрены... Ну, вотъ опять... а...

Больной гнется на постели, и кажется, что подъ смятымъ одѣяломъ корчится и стучитъ костями голый, сухой скелетъ. Толстыя синія жилы крупными петлями наливаются на вискахъ. И брызги, розовыя, какъ цвѣточные лепестки въ саду, падаютъ на бѣлую ткань, и густо темнѣетъ среди нихъ круглое и мокрое, какъ чернильная клякса, кровавое пятно.

Михаилъ бѣжитъ по коридору, весь пустой и легкій отъ ужаса и ѣдкаго, уничтожающаго состраданія. Зоветъ фельдшерицу.

— Лидія Львовна! Идите скорѣе... Съ Панинымъ опять...

Фельдшерица идетъ наверхъ,—здоровая, полная, съ розовыми щеками. На ходу неторопливыми и плавными, но быстрыми движеніями поднимаетъ повыше, за локти, бѣлые обшлага рукавовъ.

Въ саду пахнутъ розами и грубыми, мясистыми листьями лавровъ.

### III.

Обѣдали ровно въ четы́ре часа. Сторо́жъ, который всегда немного пьянъ и часто мигаетъ красными глазками, долго и протяжно звонитъ въ колоколъ. Начинаетъ торопливой трелью, потомъ ведетъ *ritardando* и кончаетъ медленными, рѣдкими ударами, какъ-будто зоветъ на похороны.

Мѣдныя удары падаютъ съ обрыва внизъ, прыгаютъ черезъ кладбище, катятся по изгибамъ дороги. Должно быть, имъ тоже хочется туда, къ морю, гдѣ шумно и весело,—но не хватаетъ силы. Замираютъ въ виноградникахъ. А тамъ, по набережной, ходятъ въ это время самые богатые и самые сытые, вѣжливо разговариваютъ, помахиваютъ тростями и зонтиками. И старательно дѣлаютъ положенное число шаговъ, чтобы пріобрѣсти аппетитъ.

Въ пансіонѣ, въ чистыхъ и убивающе-однообразныхъ комнатахъ, гдѣ живутъ больные, колоколъ звучитъ слишкомъ громко и раздражаетъ. Онъ будитъ даже спящихъ, и всѣ его слышать, но не всѣ могутъ встать и пойти въ столовую, гдѣ двѣ горничныя приготовили длинный столъ.

Тяжело больные остаются у себя дома, не выходятъ. Ихъ нѣсколько человѣкъ. Одинъ изъ нихъ уже второй годъ умираетъ, весь источенный туберкулезомъ, но остатки жизни упрямо въ немъ держатся, и онъ тянетъ недѣлю за недѣлей. Его кормятъ, какъ ребенка, поднося ему ко рту маленькую ложечку.

У этого больного есть здѣсь, въ городѣ, отецъ, некрупный чиновникъ, который приходитъ къ сыну каждое воскресенье, долго смотритъ на него, вытираетъ глаза засморканнымъ платкомъ и молча уходитъ. Сынъ его не любитъ.

Тѣ, которые достаточно здоровы, чтобы обѣдать за общимъ столомъ, приходя въ столовую, окидываютъ большую комнату быстрымъ и подозрительнымъ взглядомъ. Они сводятъ балансъ: столько-то убыло, столько-то прибыло. И потомъ, сядя на мѣсто, заботливо вынимаютъ свою салфетку изъ запирающагося крышкой жестяного футляра. Каждый имѣетъ свой собственный футляръ, чтобы не заразиться отъ сосѣда.

Въ концѣ стола занимаетъ мѣсто дежурный врачъ. Ихъ двое, и они дежурятъ черезъ день. Одинъ—толстый, съ блестящей, чисто вымытой лысиной и блестящими очками. Блестятъ, кромѣ того, высокіе воротнички и лаковые башмаки. Отъ этого врача пахнетъ душистымъ мыломъ и сигарой. Онъ любитъ шутить съ больными, во время обѣда барабанивъ пальцами по краю тарелки и что-то мурлычетъ себѣ подъ носъ. Больные считаютъ его сапожникомъ и предпочитаютъ лечиться у другого,—худого и длиннаго, который весь мутень и одноцвѣтенъ, какъ-будто покрытъ сѣрой пылью. Борты пиджака прожжены у него карболкой и разными ѣдкими лекарствами.

На томъ же концѣ стола, рядомъ съ врачомъ, садится Лидія Львовна. Къ обѣду она снимаетъ свой просторный бѣлый халатъ и поэтому похожа на обыкновенную хозяйку. Но всѣ знаютъ, что настоящая хозяйка—не она, а та пожилая, сухопарая женщина, съ гладко зачесанными волосами и остренькимъ носомъ, которая сама не садится за столъ, а съ мышшнымъ проворствомъ бѣгаетъ туда и сюда, гремитъ ключами, ворчитъ на горничныхъ. Это—экономка.

Когда всѣ уже на мѣстахъ и служанки вносятъ миски съ супомъ, а больные начинаютъ гремѣть тарелками, прибѣгаютъ еще три человѣка, запыхавшіеся и вспотѣвшіе. Торопливо здороваются, садятся, небрежно разворачиваютъ салфетки. Это—тоже больные, но они не живутъ въ пансіонѣ, а только ходятъ сюда завтракать и обѣдать. Поэтому они держатся немного особнякомъ и составляютъ свою собственную маленькую компанію.

У нихъ не такія лица и не такой разговоръ, какъ у постоянныхъ обитателей пансіона. Они всегда полны чѣмъ-то, что приносятъ сюда съ моря, съ людныхъ и свѣтлыхъ прибережныхъ улицъ. И постояннымъ пансіонерамъ кажется, что въ глазахъ этихъ пришельцевъ отражается и дразнитъ та самая жизнь, отъ которой пансіонъ отдѣленъ каменнымъ обрывомъ и тѣснымъ кладбищемъ.

Всѣхъ троихъ зовутъ однимъ и тѣмъ же нарицательнымъ именемъ: „приходящій“. Даже Лидія Львовна спрашиваетъ, глядя на ихъ оживленные лица и слегка улыбаясь:



— Приходящіе, вы хотите еще супу?

Говорятъ больше въ промежуткахъ между блюдами, пока служанки смѣняють приборы. За ѣдой сосредоточиваются и отрываются отъ тарелокъ только для жалобъ.

— Мнѣ опять дали пережареное мясо. И зачѣмъ такъ много луку? Я терпѣть не могу лукъ и поэтому долженъ остаться безъ жаркого.

Похожая на мышъ экономка вывертывается изъ какой-то норки, суетъ носъ въ тарелку. Убѣждается, что жаркое вполне удовлетворительно, и бѣжитъ дальше. Ей некогда.

— А я вчера въ супѣ нашель два волоса: рыжій и чернѣй. Нечего сказать, гигиенично!

— Мнѣ кажется, что соусъ слишкомъ пересолень. Какъ вы находите?

Лидія Львовна улыбается, а веселый врачъ барабанить пальцами по тарелкѣ, но надъ столомъ виситъ атмосфера досады и недовольства.

Приходящіе ѣдятъ много и бойко. Они пришли снизу, съ моря, и проголодались. Экономка довольна ими, хотя послѣ нихъ и не остается лишнихъ порцій.

На третье подаютъ сладкую кашу съ молокомъ. Ее подозрительно нюхаютъ.

— Пахнетъ... пахнетъ мышами.

Столъ гудитъ, какъ улей. Врачъ перестаетъ барабанить и хочетъ нахмуриться, но у него ничего не выходитъ. Только очки соскальзываютъ на самый кончикъ носа. Экономка волнуется.

— Право, я не знаю, господа... Лидія Львовна, развѣ вы тоже находите?

Лидія Львовна невозмутимо поливаетъ молокомъ свою порцію.

— Каша очень хороша.

Нѣсколько паръ глазъ смотрятъ на фельдшерицу съ нескрываемой ненавистью. Негодуютъ. Конечно, она можетъ сѣсть все, что угодно, со своимъ здоровымъ желудкомъ. Но зачѣмъ такъ авторитетно заявлять свое мнѣніе, развѣ она сама тоже принадлежитъ къ администраціи и, слѣдовательно, замѣшана во всѣхъ этихъ плутняхъ?

За столомъ у каждаго пансіонера свое, разъ навсегда определенное мѣсто. Это произошло само собой, просто потому, что удобнѣе и проще имѣть каждый день одного и того же сосѣда.

Направо отъ Михаила — приходящіе, нѣскольکو пустой стулъ. Здѣсь сидѣлъ Панинъ, пока не слегъ. Дальше — немолодой уже человѣкъ, съ просьбою на вискахъ. Носитъ два большихъ перстня, всегда въ манжетахъ, хотя отъ жары крахмальная ткань размякаетъ и дѣлается липкой. Съ Михаиломъ разговариваетъ мало и, когда оборачивается направо, дѣлаетъ такую гримасу, какъ-будто ему больно.

А Женя сидитъ по другую сторону приходящихъ, ѣстъ мало и разсѣяннo. Глаза у нея потухшіе, сѣрые. Хочетъ о чемъ-то спросить Михаила и не рѣшается.

Михаилъ изрѣдка поднимаетъ глаза отъ тарелки. Встрѣчается тогда съ ласковымъ, улыбающимся взглядомъ Лидіи Львовны и отворачивается.

У половины обѣдавшихъ каша остается не съѣденной. Демонстративно отодвигаютъ тарелки, гремятъ стульями. Экономка суетится, быстро, быстро, какъ мышь, шмыгаетъ по всѣмъ угламъ.

Человѣкъ, который умираетъ уже второй годъ, лежитъ у себя въ номерѣ, закрывъ глаза. Его только-что накормили и оставили одного. Теперь онъ прислушивается къ шуму и ропоту, который доносится изъ столовой.

Ему кажется, что столовая — это такая красивая, просторная и веселая комната. И люди, которые тамъ находятся, тоже должны быть красивы и веселы, потому что они могутъ собираться вмѣстѣ, шумно разговаривать, передвигаться цѣлой толпой съ мѣста на мѣсто. Да, да... И гдѣ то тамъ, далеко, есть что-то еще болѣе красивое, — море горы, зелень садовъ. Они могутъ видѣть все это. Весь міръ — для нихъ.

Человѣкъ, надъ которымъ издѣвается сама смерть, стоитъ. И лежитъ одинокій, ненужный самому себѣ. Смерть медленно подбирается, заглядываетъ ему въ глаза, сквозь опущенныя вѣки. И лѣниво уходитъ прочь, оставивъ человѣку зародыши новаго страданія, новую язву. Она еще

подождать. Не сегодня и не завтра. Вѣдь, все равно, онъ уже почти умеръ.

Въ столовой пустаѣтъ. Врачъ выходитъ вмѣстѣ съ Лидіей Львовной и, наклонившись къ ея уху, нашептываетъ ей что-то веселое.

На балконѣ Женя останавливаетъ Михаила.

— Вы будете лежать?

Михаилъ слѣдитъ за удаляющейся широкой спиной врача и не слышитъ.

— Вы будете лежать, Михаилъ?

— Ахъ, что? Это вы... Да, да. Я буду лежать.

— Пойдемте лучше въ бесѣдку. Мнѣ хочется поговорить съ вами.

— Нѣтъ, я буду лежать. Я усталъ.

Пожилой господинъ въ манжетахъ беретъ подъ руку другого, съ бритымъ лицомъ. Онъ самъ — музыкантъ, а бритый — пѣвецъ, который потерялъ голосъ и можетъ говорить только шопотомъ.

— Вы читали, какіе лавры пожинаетъ Мосальскій въ Харьковѣ?

— Ложь... Это сапожникъ. Когда я пѣлъ въ Кіевѣ, онъ былъ у насъ на выходныя. Знаете, на роляхъ тѣхъ придворныхъ, которые извѣщаютъ, что король сейчасъ пожалуетъ. Но даже и тутъ всегда проваливался, — и увѣрялъ, что его нарочно подводитъ оркестръ. Вы понимаете?

— Можетъ-быть, такъ и было... Но теперь онъ какъ разъ отличается въ вашей коронной партіи.

— Ложь. Это сапожникъ.

Пѣвецъ недружелюбно смотритъ на музыканта и двумя пальцами поглаживаетъ себѣ кадыкъ, поднявъ кверху бритый подбородокъ. Ему кажется, что горло пошло на улучшение. Замѣтно пошло на улучшение.

Идутъ по дорожкѣ. Крупный желтый песокъ, смѣшанный съ осколками раковинъ, хруститъ подъ ногами.

#### IV.

Съ горъ, по той дорогѣ, которая вьется надъ обрывомъ, между пансіономъ и кладбищемъ, спускается въ городъ

компанія туристовъ. Толстыя подошвы весело стучать по камнямъ. Лица потемнѣли отъ загара и пыли. Одна дѣвушка, — хорошенькая, съ гибкимъ мускулистымъ тѣломъ, — бѣжитъ впереди въ бѣломъ облакѣ своего платья, съ бѣлой войлочной шляпой на головѣ. Шляпа сбилась на затылокъ, и темные волосы крупными волнами падаютъ на лобъ и щеки. Толстый мужчина съ мягкимъ животомъ, въ который врѣзался широкій поясъ, не можетъ догнать и сердится. Другіе прыгаютъ огромными шагами, размахиваютъ своими длинными кизилевыми палками съ развилинами у верхняго конца.

Свѣжіе, только-что сорванные цвѣты вездѣ — въ рукахъ, въ петличкахъ, за лентами шляпъ. Большая красная роза торчитъ за ухомъ толстаго, и поэтому онъ похожъ на празднующаго Силена.

Остановились перевести духъ и посмѣяться какъ разъ подъ стѣной пансіона. Прислонились спинами къ шероховатой каменной кладкѣ, и развилины палокъ почти касаются свѣшивающихся изъ сада запыленныхъ вѣтвей. Дѣвушка не можетъ остановиться спокойно и кружится на одномъ мѣстѣ, а волосы у нея вырвались изъ-подъ шляпы и развѣваются по вѣтру.

Одинъ, самый молодой, набралъ полную грудь воздуха и что-то крикнулъ неразборчиво, во всю силу своихъ здоровыхъ легкихъ, такъ что вышло похоже на пьяное восклицаніе діонисова праздника:

— Эвоэ!

Другіе подхватили этотъ крикъ и принялись бросать его туда и сюда. И даже толстый челоуѣкъ съ перетянутымъ животомъ тоже былъ весь полонъ молодымъ, пылающимъ весельемъ и громко бросилъ вызовъ бушующей жизни, выпячивая пухлые, какъ у сатира, губы.

— Эвоэ!

Дѣвушка съ пышными волосами подарила ему новую розу: И всѣ, схватившись за руки, закружились вокругъ этой пары — дѣвушки и толстяка, — плясали и подпрыгивали, ничѣмъ не стѣсненные, сильные и молодые.

Нѣсколько цвѣтовъ упало на землю. Ихъ растоптали,



смѣшали съ пылью. Зачѣмъ беречь? Еще такъ много цвѣтовъ и такъ много веселья впереди...

— Эвоэ!

А сверху, сквозь пыльные вѣтви, смотрѣли на нихъ сѣрыя лица со злыми глазами. Выглядывали, притаившись въ тѣни, какъ темные духи, которые боятся свѣта. Потерявшій голосъ пѣвецъ шепталъ своему сосѣду:

— Развѣ это не возмутительно? Какъ-будто они не нашли другого мѣста, чтобы безобразничать...

— И какъ онъ смѣшонъ, этотъ толстый! — соглашался музыкантъ. — Я думаю, что всѣ они просто пьяны.

— И эта барышня?

— Да, и барышня тоже.

Женя смотрѣла внизъ изъ бесѣдки, — тусклыми, безжизненными глазами. Потомъ повернула лицо къ Ерастову. Тотъ ритмически покачивался, шевелилъ губами и улыбался. Крикнула ему надорваннымъ, рѣзко звенящимъ голосомъ:

— А вы? Что вы? Ну, кричите, пляшите... Ха, ха! Бѣгите такъ, какъ они, съ самыхъ вершинъ къ морю... Бросайтесь цвѣтами, кружитесь... Ну, что же вы?

И Ерастовъ сразу пересталъ улыбаться, опустил отяжелѣвшія руки, отошелъ въ уголъ. Веселые и сильные бѣжали уже внизъ, и постепенно замирали ихъ крики за поворотомъ дороги.

## V.

На балконѣ самая крайняя слѣва складная кушетка, — одна изъ тѣхъ, которыя слывуть у больныхъ подъ названіемъ сороконожекъ, — принадлежитъ Михаилу. Онъ отвоевалъ ее въ свое пользованіе съ самаго появленія въ пансіонѣ. Впрочемъ, никто не протестовалъ противъ этого захвата, потому что здѣсь, у стѣны, въ жаркіе дни болѣе душно.

Направо сегодня пусты четыре кушетки подъ рядъ. На одну изъ нихъ выбралась, было, сейчасъ же послѣ обѣда маленькая кудрявая дѣвушка, похожая на десятилѣтняго ребенка, — Бобровская. Она была такъ легка, что полотно кушетки подъ ея тяжестью почти не натягивалось. Лежала какъ-то неудобно, крошечнымъ, жалкимъ комочкомъ, съ

большими задумчивыми глазами на дѣтскомъ лицѣ. И отвѣтила чуть слышимъ, шелестящимъ, какъ сухіе листья, голосомъ на молчаливый вопросъ Михаила.

— Ахъ, это ничего, что такая слабость... Къ этому я привыкла... Но, вотъ, боли... Иногда мнѣ кажется, какъ будто кто-нибудь разворачиваетъ мнѣ животъ тупыми желѣзными крючьями. Должно быть, вы никогда не испытывали такихъ мученій. Это очень худо. И во время приступовъ боли мнѣ очень хочется умереть. А потомъ выползу, какъ сейчасъ, на солнышко, и тогда мнѣ думается, что жизнь еще не такъ плоха. Да... Пожить... еще немного, какъ вы думаете? Погрѣться. Посмотрѣть, какъ блеситъ море.

— Это хорошо—смотрѣть на море!—согласился Михаилъ.—Только оно слишкомъ далеко отъ насъ. Я хотѣлъ бы, чтобы оно было ближе.

— Когда мнѣ лучше, я немного читаю. Сегодня прочла двѣ статейки изъ вашей газеты. Она мнѣ не нравится, ваша газета. Мнѣ кажется, что люди, которые въ ней пишутъ—злые, безсердечные и больные. Они обо всемъ говорятъ со злобой, съ ненавистью. Они ничего не любятъ.

Прошелъ, прихрамывая, по балкону, вдоль ряда кушетокъ, не старый еще, но сморщенный и лысый человѣкъ. Посмотрѣлъ на Михаила и Бобровскую, хихикнулъ.

— Такіе же, какъ этотъ!—указала на него Бобровская.—А этотъ даже себя не любитъ. Я знаю.

— А вы знаете, почему у этого человѣка такой характеръ? Потому, что его слишкомъ много оскорбляли въ жизни. Вынули изъ него всю любовь, какая была въ немъ, и кромѣ того, вогнали въ чахотку. Оскорбленные и униженные всегда злы. Это ихъ право и даже ихъ долгъ. И злоба ихъ такъ же свята, какъ любовь.

— Почему же не золь Ерастовъ? Его тоже оскорбляли. Онъ хочетъ казаться злымъ и говорить о террорѣ, но это онъ нарочно. На самомъ дѣлѣ онъ никого не могъ бы убить, даже послѣдняго негодяя.

Занявъ свое мѣсто, пятое отъ стѣны, Ерастовъ. Бобровская повернула голову въ его сторону.

— А вы легки на поминѣ... Я, вотъ, лежу и хвалю васъ.

— Напрасное занятіе... Не за что. Развѣ только за то, что температура упала. А вчера докторъ выслушивалъ, выстукивалъ и сказалъ, что процессъ не распространяется.

— Счастливый вы... Къ осени выздоровѣете, уѣдете... Куда вы думаете направиться?

— Да куда же мнѣ? Опять въ статистику, новый процессъ наживать.

До Михаила теперь плохо достигали слова Бобровской. Онъ повернулся на спину, закрылъ глаза. Думалъ о Панинѣ, о Лидіи Львовнѣ, потомъ опять о Панинѣ. Съ болѣзненной рѣзкостью представилъ его себѣ уже мертвымъ, въ гробу, и вздохнулъ.

Провели вмѣстѣ рядъ лѣтъ, — короткій, но полный содержанія. Иногда развѣзжались по разнымъ концамъ Россіи, но ухитрялись при всякихъ положеніяхъ сохранять между собою разъ установившуюся связь, несмотря на всѣ конспиративныя и полицейскія преграды. Связь скоро порвется, наконецъ, — и теперь уже почти порвалась. Странно. Не страшна и не таинственна, а несправедлива смерть. Несправедливо, что тонкій, совершенный человѣческій организмъ въ борьбѣ за существованіе уступаетъ какой-то бессмысленной клѣткѣ, не умѣющей даже наслаждаться той жизнью, которую она отнимаетъ. И несправедливо, что умереть нужно тогда, когда и умомъ и волей хочется жить, — для себя, для своего личнаго я и для работы.

Такъ это старо. И каждый человѣкъ думаетъ то же самое, но ярко и опредѣленно чувствуетъ это только тогда, когда смерть заглянетъ въ глаза ему самому. Тогда хочется громко кричать объ этой несправедливости и бессильно грозить кулаками кому-то, кто равнодушенъ къ проклятіямъ. Самъ Панинъ, который теперь умираетъ, говорилъ когда-то:

— Несправедливость—душа міра. И поэтому одно голое негодованіе такъ смѣшно и бессильно. Нужно бороться. Бороться головой, руками, зубами,—всѣмъ, чѣмъ возможно.

Ну вотъ, онъ не могъ побороть какую-то микроскопическую палочку, глупую клѣтку. И умереть не такъ, какъ думалъ.

Кто-то застоналъ, — тихонько, какъ будто извиняясь за то, что долженъ беспокоить другихъ своимъ собственнымъ страданіемъ. Это — Бобровская.

Михаиль всталъ, готовый помочь, чѣмъ можетъ, — и зналъ, что его помощь безсильна, и что здѣсь несправедливость тоже сильнѣе человѣка.

У Бобровской опять жгучія схватки въ кишкахъ, въ извѣденномъ туберкулезомъ животѣ. Она корчится, перегибается пополамъ, и только одна нога, — тоже больная, — вытянута прямо и безжизненно и далеко выставилась изъ-подъ платья, — дѣтская, безъ мускуловъ, съ выпуклымъ колѣномъ.

Ерастовъ безпомощно протягиваетъ руки.

— Смотрите, Михаилъ... Что же это такое? Вѣдь это невозможно.

Другіе больные съ любопытствомъ поднимаютъ головы, поворачиваются. Имъ страшно и въ то же время интересно, такъ какъ вносить разнообразіе въ пустые часы лежанья, — и пріятно, потому, что это не съ ними.

Кто-то совѣтуетъ:

— Уведите ее.

Бобровскую уводятъ. Она идетъ, волоча больную ногу и безобразная со спины, когда не видно свѣтлаго лица, — какъ маленькій гномъ.

Нѣсколько минутъ оставшіеся на балконѣ больные ворочаются, перешептываются. Нудныя, больныя слова падаютъ, какъ грязныя капли въ гнилое болото.

Михаиль вернулся на балконъ, легъ. Только что пережитое впечатлѣніе быстро теряетъ свою остроту. Онъ разбитъ весь и усталъ, хочется задремать. И незамѣтнымъ, прозрачнымъ облачкомъ набѣгаетъ легкое забытье, нѣжное, ласковое, останавливаетъ мучительную работу мысли.

Сквозь сонъ почувствовалъ, что кто-то рядомъ. Открылъ глаза. Лидія Львовна сидитъ у его кушетки на складномъ садовомъ стулѣ и держитъ въ рукахъ ту самую книжку, которую утромъ забыла въ бесѣдкѣ. На истрепавшемся уголкѣ переплета еще замѣтны, Михаилъ сразу увидалъ ихъ, приставшія къ рыхлой бумагѣ песчинки.



Она не читаетъ. И, когда Михаилъ взглядываетъ на нее, незамѣтно отворачивается.

Михаилъ опять закрываетъ глаза. Ему пріятно, что они — рядомъ. Сама выбрала это мѣсто, хотя здѣсь, говорятъ, душно. Значить, его, Михаила, она дѣйствительно отличаетъ отъ другихъ. И вѣдь онъ не нуждается сейчасъ въ ея врачебныхъ заботахъ. Она пришла къ нему не какъ къ больному.

Такъ хорошо, уютно лежать теперь. Онъ уже не дремлетъ. И, не выдержавъ, скоро опять открываетъ глаза. Вѣдь она можетъ уйти.

— А вы не спите, милостивый государь? Не я ли вамъ помѣшала?

— Нѣтъ, конечно. Я уже давно почувствовалъ, что вы здѣсь. Бросьте вашу книжку. Лучше расскажите мнѣ что-нибудь.

— Ой-ой! — Она грозитъ пальцемъ. — Вѣдь я же, все-таки, начальство. Я не могу сама нарушать инструкцію. Лежите и молчите, а я посижу здѣсь до самаго звонка. Хорошо?

— Къ чорту инструкцію... Вы и сами-то не вѣрите въ ея пользу. Если человѣкъ нездоровъ, то его нужно развлекать, чтобы онъ поменьше думалъ о своей болѣзни... Хорошо я лежу по инструкціи, ни съ кѣмъ не разговариваю. И думаю о томъ, какъ, по прошествіи опредѣленнаго числа мѣсяцевъ, меня положить въ пребезобразный деревянный ящикъ и спустить внизъ, на одинъ поворотъ дороги. Затѣмъ я буду думать, какъ меня ѣдятъ черви, а вы, сидя вечеромъ въ бесѣдкѣ, зажимаете себѣ носъ, потому что отъ меня пахнетъ даже сквозь тотъ толстый слой земли, который на меня насыпали. Чудныя мысли, содѣйствующія скорѣйшему выздоровленію, не правда ли? И, главное, инструкция выполнена въ точности. Все дѣлается молча.

Она смѣется уступчиво, такъ легко побѣжденная.

— Пусть будетъ по вашему, упрямый человѣкъ. Но по крайней мѣрѣ, говорите тихо. Не будемъ смущать остальныхъ.

Михаилъ нетерпѣливо ворочается, такъ что кушетка скрипитъ во всѣхъ своихъ многочисленныхъ скрѣпленіяхъ.

— Мы такъ далеко отъ нихъ. Никто не услышитъ. Даже Ерастовъ ушелъ. Его разстроила Бобровская.

Скоро забывается, что здѣсь пріютъ для чахоточныхъ, и Михаилъ не чувствуетъ больше угнетающаго запаха креозота и ээира.

Говорять весело, не заботясь о томъ, что сказано. И Михаилу пріятель самый процессъ разговора, протягивающаго какія-то нити между нимъ и фельдшерницей. Можно смотрѣть, не отрываясь, на ея здоровое, радостное лицо, ловить глазами ея быстрыя и, все-таки, плавныя движенія. Нехорошо только, что отъ нея пахнетъ тѣми же духами, какъ и отъ блестящаго доктора.

— Какіе духи вы покупаете? Они мнѣ не нравятся. Право, въ этомъ отношеніи у васъ дурной вкусъ.

Она дѣлаетъ удивленное лицо и смѣшно выпячиваетъ розовыя губы.

— Я никогда не душусь. И мнѣ кажется, что, кромѣ лѣкарствъ, отъ меня ничѣмъ не пахнетъ.

Онъ настаиваетъ на своемъ.

— Ужъ я знаю. У меня очень острое обоняніе.

Конечно, ей нѣтъ причины смущаться, но она почему-то краснѣетъ. Она вообще очень легко краснѣетъ, какъ всѣ здоровыя женщины съ тонкой и бѣлой кожей. И даже аккуратныя, скульптурныя уши дѣлаются розовыми.

— Знаете, если очень крѣпкіе духи...—Она перебираетъ странички своей книги, какъ-будто отыскиваетъ тамъ нужныя слова. — Если кто-нибудь употребляетъ очень крѣпкіе духи, то достаточно поздороваться съ нимъ за руку, чтобы передался запахъ.

Да, да, поздороваться за руку. Конечно.

А къ ней удивительно идетъ, когда она краснѣетъ. Тогда она совсѣмъ похожа на цвѣтокъ, — пышный, нѣжный, къ которому и страшно и невыразимо пріятно прикоснуться.

— Повидимому, этотъ запахъ вамъ нравится? А меня раздражаетъ. Онъ раздражаетъ меня, я вамъ говорю.

Михаилъ золь и подозрителенъ. Еще внимательнѣе впилъ глазами въ ея лицо, чтобы уловить случайную игру даже какого-нибудь самаго незамѣтнаго мускула. И сейчасъ же

чувствуетъ, что сдѣлалъ ошибку. Теперь фельдшерица имѣетъ предлогъ разсердиться и уйти—и такимъ образомъ легко выпутается изъ затрудненія. А онъ ничего не узнаетъ. Будетъ по-прежнему только подозрѣвать, догадываться. Можетъ быть, подозрѣвать то, чего совсѣмъ нѣтъ.

Вотъ уже она хмурится, съ ожесточеніемъ мнетъ книгу.

— Я думаю, что... вамъ нездоровится, Михаилъ. И я не буду больше тревожить васъ. Лежите спокойно и не волнуйтесь. До свиданья...

— Да, конечно... Вамъ скучно сидѣть съ больной развалиной... Это такъ естественно. Я не могу васъ удерживать.

— Ну, вотъ... Какой вы гадкій! Вы знаете хорошо, какъ я люблю говорить съ вами, какъ я дорожу каждымъ свободнымъ часомъ, который могу проводить съ вами вмѣстѣ. Но когда вы начинаете придирается къ какому-нибудь пустяку, волнуетесь, — мнѣ дѣлается очень больно и грустно. Тогда лучше уйти.

И Михаилъ чувствуетъ, что теперь, дѣйствительно, ей лучше уйти, потому, что прежній разговоръ, — какъ-будто почти безсодержательный и, въ то же время, полный глубокаго, ему одному понятнаго смысла — не возобновится больше. Можетъ быть, будутъ другія фразы. Заговoryтъ, пожалуй, о наукѣ, о социализмѣ. Михаилъ будетъ учить, а Лидія Львовна прилежно и внимательно учиться, какъ много разъ случилось уже раньше. Но нѣтъ, этого совсѣмъ не нужно.

Михаилъ протянулъ руку.

— Хорошо. Пока — до свиданья.

Ушла. Свѣтлое платьѣ прошуршало мимо длиннаго ряда кушетокъ. Утонуло, какъ въ пещерѣ, въ темной двери столовой.

Уже можно вставать. Въ комнатѣ Михаила лежитъ начатая работа. Можно было бы остающіеся вечерніе часы провести за столомъ, съ перомъ или книгой въ рукахъ. Это пріятно, потому что за работой тѣсныя стѣны благотворительной комнаты раздвигаются, и кажется, что ты еще человѣкъ, который живетъ и борется.

Но Михаилъ долго еще не поднимался со своей скрипучей постели. Лежалъ, закинувъ руки за голову, смотрѣлъ

на вечеряющее небо мимо запыленного карниза балкона. Думалъ о томъ, какъ хорошо было бы, наконецъ, сказать Лидіи Львовнѣ, что онъ ее любить и что они могутъ прожить вмѣстѣ остатокъ его жизни, упиваясь счастьемъ, слившись въ одно цѣлое.

Да, у нея розовыя щеки, такія розовыя. И онъ такъ странно выглядятъ рядомъ съ сухой, землисто-сѣрой кожей чахоточнаго.

## VI.

Передъ ужиномъ Михайлъ опять зашелъ къ Панину. Постучалъ въ дверь и, не дождавшись отвѣта, осторожно, чтобы не скрипнула, открылъ ее.

На маленькій столикъ съ лѣкарствами кто-то поставилъ уже ночникъ, — темный, мигающій, съ круглымъ матовымъ абажуромъ. Ночникъ освѣщалъ только руку больного, темнѣвшую на одѣялѣ, и часть плеча. Лицо осталось въ тѣни и долго нельзя было рассмотреть, закрыты ли глаза.

— Это ты? — вышла изъ тѣни голосъ, такой же темный, сумрачный. — Я думалъ, что опять кто-нибудь изъ эскулаповъ, и притворился, что сплю. Надоѣли.

Михайлъ сѣлъ по-старому, на край кровати, поймалъ на одѣялѣ темную руку и слегка сжалъ ее. Рука была очень горячая, жгла кожу и оставила влажный слѣдъ на ладони гостя.

— Замучили сегодня... Инъекціи, растиранія, пилюли... Живого мѣста не осталось... А какъ ослабъ: не могу уже и сѣсть. Понимаешь? Даже подушку у себя подъ головой не могу поправить безъ посторонней... безъ посторонней помощи...

Задохся. Нѣсколько разъ съ тяжелымъ усиліемъ поднялъ и опустилъ вдавленную грудь. У Михаила тоже стѣснило дыханіе. Хотѣлось взять товарища на руки, какъ ребенка, крѣпко прижать къ себѣ и унести куда-нибудь высоко, высоко въ горы, гдѣ воздухъ чистъ и холоденъ и нѣтъ болѣзни.

— Совсѣмъ скверно... Что же это ты, братъ?

— Да видишь, — исторія подходитъ къ концу. Теперь понимаю... Самъ виноватъ. Нужно было уйти раньше, какъ



тоть... о которомъ я рассказывалъ. Теперь все выходить такъ гнусно, позорно...

Михаиль опять сжалъ горячую, влажную руку. И отчетливо чувствовалъ подъ тонкой кожей узловатыя кости скелета съ острыми шишками на суставахъ.

— Всѣ мы тутъ гнусны... И вообще — жить на свѣтѣ гнусно и гадко... Огорчаешь ты меня, Панинъ. Такъ худо мнѣ, когда смотрю на тебя. Хуже, чѣмъ тебѣ самому, должно быть.

Панинъ засмѣялся съ глухимъ всхлипываніемъ, похожимъ на рыданіе.

— Ну, да... Всегда говорятъ, что самому умирающему легче, чѣмъ тѣмъ, которые окружаютъ его и наблюдаютъ за агоніей, — конечно, если это друзья и любящіе. Но это, братецъ мой, ерунда... Видишь ты... Человѣкъ, прежде всего, эгоистъ — и въ подобающіе моменты думаетъ: «Слава Создателю, еще не я, а другой...» А это утѣшеніе... О-о...

Дрожь прошла по всему тѣлу, спрятавшемуся въ складкахъ бѣлаго одѣяла, отъ головы до мертвыхъ ступней.

Усиліемъ воли поборолъ омрачавшую сознаніе муку и закончилъ:

— А когда человѣкъ умираетъ самъ и сознаетъ это, то для него уже... нѣтъ никакого утѣшенія. Можетъ припоминать, какъ много онъ прожилъ и какъ мало воспользовался жизнью. Ну, и выводить изъ этого обстоятельства всякія непреложныя истины, которыя, къ сожалѣнію, открывались уже миллионами людей до него самого...

Лица больного попрежнему не было видно, но Михаилъ слишкомъ хорошо зналъ его и догадывался, каково должно оно быть теперь. И тягостно молчалъ, потому что стыдно и противно было утѣшать и успокаивать.

Какой-то мотылекъ залетѣлъ въ стекло ночника черезъ открытое окно, и мутный огонекъ замигалъ еще сильнѣе, а свѣтлый кругъ на потолкѣ увеличивался и уменьшался такими же неровными, лихорадочными скачками, какъ дыханіе больного.

— Послушай еще, Михаилъ, я попрошу тебя... Очень трудно говорить, но нужно, потому что завтра, можетъ-

быть, уже умру. Здѣшніе товарищи вздумаютъ, пожалуй, устроить мнѣ пышныя похороны... со знаменами и пѣніемъ... Такъ ты отговори ихъ... Сейчасъ, по моему, изъ тактическихъ соображеній слѣдуетъ воздерживаться отъ всякихъ демонстрацій. Кромѣ того, я и не заслужилъ. Къ такимъ вещамъ нужно относиться серьезно, или онѣ вырождаются въ такую же проформу, какъ разные поповскіе обряды... Можетъ случиться столкновеніе, будутъ жертвы. Убьютъ кого-нибудь молодого, сильнаго, да, пожалуй, и болѣе полезнаго, чѣмъ я самъ... И это изъ-за меня? Нѣтъ, ты отговори...

— Если будетъ нужно, я сдѣлаю, какъ ты хочешь. Но вѣдь ты можешь еще и не умереть.

Не разсудкомъ, а чѣмъ-то другимъ, глубокимъ и болѣе упрямымъ, не хотѣлъ вѣрить, что дѣйствительность права и что Панинъ умретъ. И поэтому разумъ говорилъ еще настойчивѣе, что случится именно такъ. Глубокое всегда обманывало.

Больной приподнялъ руку, сжалъ и опять вытянулъ пальцы. Какъ-будто ловилъ невидимую паутинку. Голосъ сдѣлался еще глуше, угасалъ. А нѣкоторые слова и отдѣльные звуки прорывались неестественно рѣзко, какъ испорченные ноты въ заводной шкатулкѣ.

• — Пойдутъ со знаменами, а на нихъ будутъ надписи... Я всегда говорилъ, что простыя бѣлыя надписи лучше золотыхъ. Золото слишкомъ блеститъ, это не для пролетаріевъ... И еще лучше черное, но его плохо видно.

Упавшій въ стекло ночника мотылекъ мѣшалъ воздушной тягѣ и ночникъ запѣлъ жалобно и чуть слышно, какъ комаръ. Этотъ звукъ, прямой и острый, врѣзался въ слова больного, какъ-будто панизовалъ ихъ всѣ на одну нитку.

— А нужно, чтобы всѣ читали издали... Когда я увижу Семена, я скажу ему, что давно раскусилъ его политику. Это опять борьба изъ-за мѣстъ... Ого... Они насъ подсиживаютъ. Но я не допущу. Ты понимаешь? Я поставлю вопросъ ребромъ на слѣдующемъ же засѣданіи... И тогда мы посмотримъ... У насъ всѣ связи и вся масса пойдетъ за нами. Я требую только правильнаго представительства въ центрахъ,

а вовсе не произвожу организаціоннаго давленія, какъ вы полагаете... Ну, да... Это очень старо.

Ночникъ пѣлъ и нанизывалъ слова, — нескладныя, безумныя, и отъ ихъ пестрой вереницы вѣяло горячимъ лихорадочнымъ бредомъ.

Михаилъ всталъ. Растерянный и грустный хотѣлъ позвать кого-нибудь на помощь, но въ это время по коридору зашумѣли шаги и дверь распахнулась. Сторожъ внесъ большое плетеное кресло, поставилъ его посреди комнаты, мелькомъ взглянулъ на Михаила и вышелъ, столкнувшись въ дверяхъ съ сидѣлкой.

Сидѣлка — неуклюжая, съ неподвижнымъ мясистымъ лицомъ и огромными красными руками. Когда поворачивается въ сторону, то корпусъ у нея гнется и поэтому она похожа на плохо сдѣланную тряпичную куклу.

Панинъ не замѣтилъ ее. Продолжалъ говорить, и слова дѣлались все отрывистѣе и прыгали, срываясь съ нити.

Нужно было теперь сѣсть поближе къ нему, положить ему на лобъ ласковую, нѣжную руку. Замереть въ страстномъ желаніи облегчить его пытку.

Сидѣлка дѣловито расхаживала по комнатѣ, переставляла лекарства на столикѣ, прибавила огня въ ночникѣ. И все выходило у нея какъ-то побудничному, совсѣмъ просто, хотя и неловко, — какъ-будто она всю жизнь прожила здѣсь и оберегала умирающаго Панина. Мясистое лицо то скрывалось въ тѣни, то приближалось къ матовому абажуру и свѣтилось, одѣтое спокойствіемъ и каменнымъ равнодушіемъ.

Посмотрѣла на Михаила.

— Вы беспокоите больного.

Опять заходила по комнатѣ, все трогала, переставляла. Красныя руки съ короткими пальцами безъ устали шевелились. И такъ много мѣста занимала сидѣлка въ комнатѣ, что Михаилу сдѣлалось тѣсно и неудобно. Онъ почти съ радостью прислушался къ звону колокольчика, звавшаго на ужинъ и торопливо пошелъ внизъ, въ столовую, какъ-будто что-то плоское и противное преслѣдовало его по пятамъ.

И было стыдно, что онъ только что думалъ о любви и счастіи, въ то время, какъ совсѣмъ близко, въ томъ же ка-

менномъ ящикѣ, тяжело и безславно отдается смерти любимый и дорогой человѣкъ.

## VII.

Море — такое же темное, какъ небо, и въ немъ блестятъ судовые огни, какъ звѣзды. А въ горахъ холодѣтъ туманъ, плотный и синій. Изъ тумана глядятъ красныя пятна оконъ: одно, другое, третье. Тамъ дачи. Люди спятъ, и горитъ безъ нихъ зажженный ими огонь, стережетъ ихъ сонъ.

По набережной шагомъ ѣдетъ извозчикъ безъ сѣдока. Лошади опустили головы и идутъ въ погу. Кто-то безпріютный жметъ къ сырой гранитной стѣнѣ. Спряталъ руки въ карманы, поднялъ воротникъ пиджака. Ему холодно.

Въ городскомъ саду закрыты на замокъ желѣзные ворота. На усыпанной пескомъ площадкѣ, передъ широкой эстрадой для музыкантовъ, стоятъ рядами пустыя скамейки. Песокъ затоптанъ. Высокіе дамскіе каблуки выдавили въ немъ узоры полукруглыми ямками, изрыли какъ оспой. Мнутъ и скручиваются подъ скамейками брошенные обрывки музыкальных программъ. Совсѣмъ черные и нѣмые, какъ человѣческое отчаяніе, задумались кипарисы.

Только большія розы, едва видныя въ темнотѣ, живутъ и пахнутъ такъ же, какъ днемъ, и въ прохладной тишинѣ ихъ сладковатый запахъ еще сильнѣе пьянитъ и ласкаетъ. Пахнутъ розы даже тамъ, наверху, куда вплотную подошелъ ползущій съ горъ туманъ, — въ саду пансіона для чахоточныхъ. Но въ комнатахъ не слышно ихъ запаха. Тамъ душно, хотя всѣ окна раскрыты настежь. И многимъ изъ больныхъ не хватаетъ воздуха. Они встаютъ среди ночи, подходятъ вплотную къ окнамъ, глядятъ въ садъ и жадно дышать. Иногда послѣ этого имъ дѣлается какъ-будто немного легче, и тогда они остаются у окна еще немного, чтобы посмотрѣть внизъ и прислушаться.

Имъ кажется, что тихая ночь полна звуковъ, и они ловятъ смутные шопоты, отгадываютъ ихъ тайны и впиваются глазами въ загадочную темноту, которая хранитъ въ себѣ другой міръ, чужой и прекрасный.

Потомъ возвращаются въ постель. И постель узка, какъ



гробъ, а когда лежишь на ней, то въ окно виднѣется только что-то сплошное, черное, не загадочное, а страшное. Въмѣсто смутныхъ и радостныхъ шопотовъ здѣсь, въ комнатахъ, рождаются другіе звуки, знакомые и непріятные, которые, какъ назойливая мышъ, грызутъ и копошатся, и не даютъ уснуть.

Капля за каплей падаетъ вода въ умывальникѣ. Три, одна за другой — скоро, а четвертая немного задерживается и затѣмъ падаетъ громко, вдвое тяжелѣе. И такъ всю ночь. Днемъ этого не слышно.

Въ стекло ударяется большая ночная бабочка. Больной настораживается, — и боится, какъ бы она не сѣла на него, противная, мохнатая, оставляющая повсюду слѣды своихъ сѣрыхъ чешуекъ. Больной боится бабочекъ, пауковъ. И когда пламя зажженной спички отбрасываетъ на бѣлой стѣнѣ угловатую тѣнь, похожую на огромный профиль злобной старухи, больной вздрагиваетъ и прячется подъ одеяло.

Ночью всѣ преграды дѣлаются доступными для звуковъ, и они приходятъ издалека, смѣшиваясь въ нелѣпыхъ сочетаніяхъ.

Кто-то говоритъ очень ровнымъ, обрѣзаннымъ по линейкѣ голосомъ. Такъ читаютъ надъ покойникомъ. Это — кто-то бредить. Тѣ, которые слышатъ этотъ голосъ, глубже зарываются въ подушки и замираютъ. Потомъ вспоминаютъ, что здѣсь никогда не оставляютъ мертвыхъ, и вздыхаютъ съ облегченіемъ.

Что-то стеклянное падаетъ на полъ. Звонъ осколковъ долго стоитъ въ ушахъ, раздражая, какъ звукъ скребущей по желѣзу пилы. Онъ еще не замеръ, когда слышно уже, какъ стонуть.

Скрипятъ двери, крадутся по коридору осторожные шаги. Всѣ знаютъ, что это идетъ врачъ къ кому-нибудь изъ тяжелыхъ, но сначала знакомые шаги кажутся всѣмъ слишкомъ осторожными и поэтому пугаютъ.

Скрипнуть другая дверь, разговариваютъ короткими дѣловыми фразами два голоса: мужской и женскій.

Такъ длинна ночь. И много, слишкомъ много времени она даетъ для того, чтобы думать. Думы vyplываютъ изъ тем-

ноты и приходить черныя, наваливаются густою тяжестью. Не слышно въ душныхъ комнатахъ нѣжнаго шопота ночи. Разрываетъ тишину долгій, захлебывающійся кашель. Звенятъ стеклянные осколки.

## VIII.

Отъ половины горнаго склона, какъ разъ оттуда, гдѣ кончаются послѣднія дачи, и густой хвойный лѣсъ стоитъ курчавой шкурой, протянулась надъ городомъ и моремъ сѣрая пелена. Море тоже сѣрое, гладкое и очень тяжелое. Ровный, скучный дождь падаетъ изъ сѣрой пелены.

Деревья взъерошились, какъ мокрыя птицы, вывернули листья наизнанку. Опавшіе розовые лепестки плаваютъ въ пузырящихся лужахъ, липнуть къ садовымъ скамейкамъ. По краямъ аллеи текутъ къ водоему сорные ручейки.

На блестящемъ докторъ воротнички сегодня какіе-то тусклые, а подвернутые брюки — въ грязныхъ брызгахъ. Онъ стоитъ у постели Панина и сквозь оправленные золотомъ стекла пенснэ смотреть на Михаила.

— Я убѣдительно прошу васъ не входить сегодня къ больному, потому что ему необходимо полное спокойствіе. Онъ окруженъ достаточнымъ уходомъ и вамъ не объ чемъ беспокоиться. Вы видите — здѣсь безотлучно дежурить сидѣлка.

Михаилу хочется сказать, что у сидѣлки грубыя, красныя руки съ жесткими ладонями, и Панину, должно быть, очень больно, когда она прикасается къ нему. И она совсѣмъ чужая, она смотритъ на больного совсѣмъ спокойно, какъ каменная, и ей все равно, умретъ онъ или останется живъ. Потомъ Михаилъ смотритъ на блестящаго доктора такъ же пристально и вызывающе, какъ тотъ на него, и ему хочется взять доктора за крахмальный воротничокъ около того мѣста, гдѣ галстукъ завязанъ большимъ бантомъ, встряхнуть изо всей силы, а потомъ бросить лицомъ внизъ, чтобы онъ поднялся съ пола исцарапанный, грязный и помутнѣвшій.

Докторъ дѣлаетъ маленькій шагъ впередъ, топорщится и, часто моргая глазами въ овальныхъ золотыхъ рамкахъ, повторяетъ съ разстановкой:

— Я прошу убѣ-ди-тельно!

У Панина глаза закрыты и нѣтъ никакой мысли на почти мертвомъ лицѣ. Поэтому онъ похожъ на кого-то чужого, такого же равнодушнаго, какъ уродливая сидѣлка. Но Михаилу кажется, что товарищъ все слышитъ и чувствуетъ, и что это лицо — только маска, которая хитро скрываетъ родного, настоящаго Панина. И этому настоящему будетъ непріятно, если швырнуть на землю блестящаго доктора.

Михаиль круто поворачивается къ доктору спиной и уходитъ въ свою комнату. Тамъ въ пасмурный день темно и скучно, потому что подъ самымъ окномъ растетъ большое миндальное дерево.

Прислушивается и черезъ стѣну, въ сосѣдней комнатѣ Панина, слышитъ глухой отзвукъ голоса доктора. Онъ разсерженъ и поэтому визжитъ.

На столѣ въ беспорядкѣ разбросаны тонкія пестряя брошюрки, толстыя, какъ-будто опухшія, книги безъ переплетовъ, бумаги и записки. Нѣсколько дней уже никто не прикасался къ столу, и на бумагахъ есть сѣроватый пыльный налетъ.

Михаиль присѣлъ къ столу, смахнулъ концомъ носового платка пыль въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она насѣла особенно густо. И хотя зналъ хорошо, что не будетъ писать и сегодня, открылъ все-таки чернильницу, приготовилъ перо.

Перелисталъ толстую, въ клеенчатомъ переплетѣ тетрадь съ замѣтками и выписками. Отложилъ ее въ сторону и взялъ другую, потоньше. И все прислушивался — жужжить ли еще за стѣной взвизгивающій голосокъ. Но по оконнымъ стекламъ стучалъ косой дождь и мѣшалъ вслушаться.

Въ окно плохо видно. Даль загрожена размытыми очертаніями вѣтвей миндальника. Когда налетаетъ порывъ вѣтра, онѣ отмахиваются прочь, и тогда выступаетъ вдали что-то туманное и грязноватое, покрытое кое-гдѣ зеленоватыми пятнами, какъ поверхность стоячей лужи. Это берегъ и море и все, что есть тамъ, внизу, — такое чистое и сверкающее въ дни, когда ярко свѣтитъ солнце.

Другая, тонкая тетрадь тоже какъ-то сама собою выскальзываетъ изъ рукъ. Мысли расплываются, перепутываются и

линяютъ, какъ эта затянутая дождемъ даль. И думается обо всемъ вмѣстѣ, — о Лидіи Львовнѣ и о Панинѣ, о любви и о смерти.

Въ пасмурную погоду, когда нельзя выйти въ садъ или спуститься на полчаса внизъ, въ городъ, пансіонъ дѣлается совсѣмъ похожимъ на одиночную тюрьму. День такъ же узокъ и длиненъ и нечѣмъ его заполнить.

Слышно, какъ по корридору туда и сюда шаркають подошвы больныхъ. Обитатели пансіона слоняются изъ угла въ уголъ, заходятъ то въ одну комнату, то въ другую. Ссорятся и мирятся. Чаше — ссорятся.

Одинъ неслышно и проворно, какъ змѣя, проскользнуль къ Михаилу. Это — музыкантъ. Въ ясную погоду онъ за цѣлый день не говоритъ съ Михайломъ ни одного слова. Въ дождливое время приходитъ ко всѣмъ безразлично.

Безъ зова присѣлъ на свободный стулъ и заговорилъ, растягивая гласныя.

Михаилъ попрежнему смотрѣлъ въ окно, стараясь уловить хотя что-нибудь опредѣленное и рѣзкое въ туманныхъ очертаніяхъ. И слова гостя неопредѣленно гудятъ мимо его ушей, какъ привычное тиканье большихъ стѣнныхъ часовъ въ старомъ домѣ.

Музыкантъ рассказываетъ очень длинно и обстоятельно, съ большими подробностями и отступленіями, грязную исторію о комъ-то изъ больныхъ, котораго онъ обвиняетъ въ кражѣ часовъ и серебряныхъ ложекъ. Говоритъ что-то такое о товарищескомъ судѣ, объ изпаніи. Потомъ переходитъ къ женщинамъ.

Бобровская, дѣвушка съ лицомъ ребенка, будто бы страдаетъ, главнымъ образомъ, отъ послѣдствій прежней развратной жизни. Какъ же, — онъ очень хорошо знаетъ все, до послѣдней мелочи.

Льетъ изъ слюняваго рта цѣлый ушатъ помоевъ, и Михаилъ чувствуетъ, что къ нему прилипаютъ что-то скользкое и противное, хотя попрежнему не вслушивается. Къ музыканту онъ испытываетъ такое же чувство гадливости, какъ къ паукамъ и мокрицамъ. Но никогда не давить мокрицъ, потому что это еще противнѣе, чѣмъ видѣть ихъ, и не прогоняетъ музыканта.



Гость журчить, хлопаетъ словами. Кажется, что вся комната постепенно наполняется зловоніемъ, и хорошо было бы открыть окно, если бы только дождь не билъ прямо въ стекла.

Отъ Бобровской музыкантъ переходитъ къ Женѣ. И однимъ духомъ, не понижая голоса и безъ всякихъ смягченій, рассказываетъ о ней такую гнусную мерзость, что Михаилъ рветъ въ клочья попавшуюся подъ руки бумагу и оборачивается быстро, какъ-будто уклоняясь отъ удара.

— Послушайте... Я хочу заниматься, а вы мнѣ мѣшаете... Я ничего не имѣлъ бы, если бы вы ушли отсюда и подольше не приходили.

Гость обиженъ. У него пятнами выступаетъ краска на зеленомъ лицѣ. Онъ медленно поднимается со стула, дѣлаетъ однимъ затылкомъ движеніе, похожее на поклонъ, и направляется къ двери. И уже на порогѣ излагаетъ сообщеніе совсѣмъ изъ другой области.

— Между прочимъ... Мнѣ говорили достовѣрныя лица, что нашъ пансіонъ находится на очень плохомъ счету у исправника. Онъ увѣренъ, что здѣсь занимаются приготовленіемъ бомбъ... И на-дняхъ будетъ обыскъ.

Слѣдить за впечатлѣніемъ, которое произведутъ эти слова, и, наконецъ, уходитъ, окончательно обиженный.

Михаилъ спокоенъ, только углы губъ у него опустились книзу, какъ-будто онъ недавно проглотилъ кислое лекарство. Откинувшись на спинку стула, смотритъ въ окно, гдѣ раскачиваются и бьются за плачущими стеклами мокрая вѣтви съ длинными, острыми листьями. Сѣрая пелена спускается все ниже, и туманъ, тяжелый дождевой туманъ, густѣетъ и крадется изъ каждого горнаго провала, изъ каждого ущелья. Обнимаетъ своими длинными лапами унылое зданіе пансіона, вноситъ свою сырость сквозь запертыя рамы.

По корридору шлепають туфли. Кто-то громко засмѣялся, и этотъ веселый, вызывающій звукъ странно врѣзался въ другіе, смутные и скучные и сейчасъ же заглохъ, какъ испуганный.

Кажется, это голосъ Лидіи Львовны. Хорошо было бы сейчасъ посидѣть съ нею гдѣ-нибудь въ уютномъ уголкѣ,

тѣсно прижавшись другъ къ другу, рассказывать ей что-нибудь длинное, о миломъ, далекомъ прошломъ. И знать навѣрное, что она любить и отдастъ ему, когда захочетъ, не только свои мысли и желанія, но и все остальное, — поцѣлуи, страсть, тѣло. Ждать нетерпѣливо и блаженно эту великую минуту и заранѣе обладать уже всѣмъ, что будетъ отдано, и съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ выпивать все больше счастья... Какъ хорошо ждать!

Волнуются за мокрымъ окномъ мокрыя вѣтви. Виситъ скучный дождь подъ низкимъ небомъ.

Кто-то пришелъ опять. За спиной Михаила шуршитъ женское платье. Онъ чувствуетъ себя легкимъ, считаетъ удары сердца и боится обернуться и посмотреть, чтобы не разрушить надежду. Можетъ-быть... это она.

Нѣтъ, это Женья. Сердце все еще бьется сильно и неровно, не можетъ успокоиться. И легкость, которая была во всемъ тѣлѣ, переходитъ въ слабость и апатію.

— Мнѣ говорили сейчасъ, что вы занимаетесь и никого не пускаете къ себѣ, но я, все-таки, пришла. Такъ скучно вездѣ... Всѣ злые и какіе-то тяжелые, какъ-будто тоже вымокли... И вездѣ ссорятся. Я себѣ сяду вотъ здѣсь и буду сидѣть смирно, смирно... У васъ, все-таки, лучше.

Михаилъ отбрасываетъ смятую тетрадку.

— Да я не занимаюсь вовсе... Это я выгналъ музыканта потому, что онъ сплетничаетъ.

Теперь, когда пришла Женья, Михаилъ чувствуетъ, что въ одиночествѣ ему было очень скучно. Переставляетъ свой стулъ такъ, чтобы видѣть дѣвушку. Но Женья не садится. Ходитъ по комнатѣ, останавливается передъ припиленными къ стѣнѣ картинками, которыя она видѣла уже тысячу разъ передъ этимъ. Потомъ подходитъ къ Михаилу и кладетъ руку на спинку его стула.

— А вы можете меня поздравить... Опять пошло на ухудшеніе. Кровяныхъ жилокъ въ мокротѣ сколько угодно... И лихорадка...

— Такъ что же вы смѣтаетесь, чудной человѣкъ?

— Смѣюсь потому, что рада... Надоѣло мнѣ быть какимъ-то человѣческимъ отбросомъ... А самой покончить —

силъ не хватить. Все-таки, нѣтъ-нѣтъ, да и загорится надежда. Выздоровливаютъ же нѣкоторые... Почему не я? Такъ пусть уже болѣзнь сама собою приходитъ поскорѣе къ своему естественному концу. Я, вотъ, завидую теперь Панину... Да...

— А вы видѣли, какъ онъ страдаетъ?

— Это недолго. Онъ сегодня или завтра умретъ. И всякая возможность счастья для него кончится, но вѣдь — и несчастья тоже. А кромѣ Панина, я завидую еще всѣмъ здоровымъ, крѣпкимъ, передъ которыми впереди цѣлая огромная, веселая, свѣтлая жизнь. Мнѣ кажется, что они, счастливые, отняли у насъ какую-то драгоценность, обворовали... Да и каждый, кто живетъ здѣсь, думаетъ такъ же, только стыдится сказать.

Опять заходила по тѣсной комнатѣ, металась отъ стѣны къ стѣнѣ, какъ звѣрь въ клѣткѣ. Блѣдное лицо оживилось волненіемъ, и только глаза не загорались еще тѣмъ зеленымъ блескомъ, который такъ украшалъ ихъ, пугалъ и притягивалъ.

Михаилъ сидѣлъ, опутивъ голову, мрачный. На лицѣ сложилось нѣсколько глубокихъ складокъ, и онѣ старили.

— Михаилъ, вы счастливѣе меня. Вы успѣли уже много взять отъ жизни. Занимались... общественной дѣятельностью... Знали, что такое удовлетворенное самолюбіе, даже триумфъ. И вы любили, конечно — любили. Вы знаете, что такое представляетъ изъ себя жизнь... А вѣдь я... я не знаю этого, Михаилъ... Жизнь стоитъ гдѣ-то вдали отъ меня, такая загадочная, непонятная. Можеть быть, она кажется мнѣ болѣе прекрасной, болѣе привлекательной, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. Но вѣдь отъ этого не легче. Я хочу... вы понимаете... я хочу подойти къ ней ближе. Я хочу пережить хотя бы нѣсколько минутъ настоящей, сверкающей жизни, чтобы духъ замеръ отъ избытка, отъ моря ощущеній, чтобы потерялся счетъ времени и было только одно сознаніе жизни, счастья... Здѣсь мы всѣ только считаемъ часы, — мучительные, нудные часы — и ждемъ конца. Ну, и пусть онъ придетъ, этотъ конецъ, но только я хочу узнать сначала, что именно отниметъ у меня смерть.

Долго молчала, что-то вспоминая, собираясь съ мыслями. Михайлъ не шевелился, и лицо у него было совсѣмъ неподвижно, какъ изваянное.

— Въ дѣтствѣ я ждала юности. Мнѣ такъ хотѣлось поскорѣе перепрыгнуть черезъ годы короткихъ платьевъ, гимназическихъ отмѣтокъ, снисходительно-пренебрежительнаго отношенія старшихъ, — тѣмъ болѣе, что я рано развилась. Тогда я не жила, а только ожидала жизнь, и поэтому годы проходили безслѣдно, не оставляя послѣ себя никакого осадка. А когда пришла юность, она опять не удовлетворила меня. И я, какъ другія, изображала изъ себя революціонную кавалерію, бѣгала съ прокламаціями и порученіями, меня колотили на демонстраціяхъ. И сознавала, что все это еще не то, не настоящее, и опять ждала, и существовать было легко только потому, что жила надежда... Вамъ не смѣшно, что я говорю такъ?

Михайлъ покачалъ головой.

— Нѣтъ. Все это очень правильно, и я понимаю васъ. Не обращайтесь вниманія на то, что я молчу. Мнѣ нечего возражать. Вы правы.

Женя какъ-будто немного успокоилась. Перестала ходить и сѣла на тотъ же стулъ, на которомъ за нѣсколько минутъ передъ этимъ сидѣлъ музыкантъ.

— Пересядьте! — быстро сказалъ ей Михайлъ. — Вотъ сюда, ближе къ окну.

Женя послушно перебралась на то мѣсто, которое онъ указалъ ей.

За окномъ свѣтлѣло. Дождь не такъ сильно билъ по стекламъ. И тамъ, вдали, гдѣ прежде была сплошная, неясная масса, теперь начинали понемногу обрисовываться какія-то рѣзкія пятна и линіи, первые робкіе мазки художника-солнца. Вотъ сейчасъ разорвется туманъ, совьется большими упрямыми клубками, — и будетъ опять свѣтлый день.

— Мечты, одинъ только мечты... Какъ это скучно, Михайлъ... Я устала мечтать. Устала стоять у порога жизни, передъ запертой дверью, стучать и ждать отвѣта. Эта дверь никогда не откроется, если я сама не разобью ее... Налягу на нее грудью, напрягу всѣ силы...



Михаиль улыбается, едва замѣтно, такъ что улыбка вся цѣликомъ прячется въ еще не разгладившихся морщинахъ.

— А у васъ есть сила?

Должно быть, за окномъ вырвался уже на свободу первый солнечный лучъ. По крайней мѣрѣ, здѣсь, въ комнатѣ, глаза Жени сразу измѣнили свой цвѣтъ, — и въ самой глубинѣ ихъ вспыхнули зеленныя искры.

— Сила? Да... Когда я чего-нибудь хочу, очень хочу, — тогда ея много.

И Михаилъ чувствуетъ, какъ двѣ руки опускаются къ нему на плечи и сжимаютъ ихъ все сильнѣе, сильнѣе, какъ желѣзными клещами. А зеленныя искорки свѣтятся, приближаются и горять ярче.

Ему неловко. Больно дышать, и есть что-то страшное въ пригнувшемся къ нему возбужденномъ лицѣ женщины.

Сейчасъ, въ моментъ нервнаго подъема, она почти красива, — той особенной красотой, которая отуманиваетъ, которую хочется не любоваться, а обладать.

Для Михаила есть во всемъ этомъ что-то непонятное. И сквозь склонившійся надъ нимъ образъ ему рисуется другой. Обращаясь къ этому, одному ему замѣтному образу, онъ говорить почти нѣжно:

— И я тоже хочу жить. Вы правы, вы правы...

Женя дѣлается гибкой, женственной. Она отнимаетъ свои руки отъ плечъ Михаила, поднимаетъ ихъ кверху, такъ что просторные рукава ея блузки скатываются до локтей.

— Я хочу любить... Дни уходить... и я ничего не дождусь... Скоро я перестану быть женщиной, какъ Бобровская... И, можетъ-быть, одна изъ лучшихъ радостей жизни уйдетъ отъ меня.

— Да, да...

Кажется, въ комнатѣ опять потемнѣло. Но глаза Жени блестятъ ярко, вызывающе. И Михаилъ все думаетъ о той, другой, и мысли его и Жени сходятся, идутъ по одной плоскости.

Онъ вспоминаетъ.

— Вы думаете, я любилъ? Мнѣ было некогда любить. Я

отдавалъ всѣ мои мысли работѣ, и эта же работа томила и обезсильвала тѣло. Я не любилъ... Почти не любилъ.

— Любовь, настоящая любовь, когда два духа сливаются въ одинъ, и ничто не существуетъ болѣе, кромѣ наслажденія любви... Вѣдь, это такъ, да?

Михаилъ думаетъ о Лидіи Львовнѣ. Съ жгучей яркостью представляетъ себѣ тотъ будущій день, день побѣды любви.

— Да, да... Все сливается... Душа и тѣло... Это восторгъ обладанія.

Опять льетъ дождь за окномъ. Солнце уступило въ борьбѣ, туманъ задушилъ его лучи. За раскачивающимися вѣтвями миндальника нѣтъ ничего, — только что-то бѣловатое и пустое.

Глаза Жени раздражаютъ, тревожатъ Михаила. Онъ не можетъ смотрѣть на нихъ болѣе. Онъ чувствуетъ, какъ горячая кровь кипитъ въ его жилахъ и хочется уже любить только потому, что это радостно и мучительно пріятно.

Не нужно смотрѣть на эти глаза.

Михаилъ кладетъ локти на край стола и прячетъ лицо въ ладоняхъ. Ему кажется, что вся комната медленно, плавно раскачивается направо и налево, направо и налево. Сердце жутко замираетъ и слова Жени доносятся откуда-то изда-лека.

— Пока изъ всѣхъ радостей жизни она еще цѣликомъ доступна намъ, — любовь... И я не хочу, не могу равнодушно смотрѣть, какъ уходитъ жизнь, пока не узнаю ее... Пусть она сократитъ вдвое дрянной остатокъ существованія. Мнѣ все равно. Я люблю, я люблю, Михаилъ.

Ему страшно. Кажется, что проваливается въ темную бездну и летитъ стремительно, а сердце замираетъ все сильнѣе, перестаетъ биться. Горячая волна ударяетъ въ голову. Онъ хочетъ открыть глаза, но ничего не видитъ. И тяжело падаетъ грудью на столъ, опѣмѣвшій, холодный, безжизненный.

Сколько прошло времени? Онъ не знаетъ. И первое, что онъ чувствуетъ, — это губы Жени, прижатые къ своимъ. Она цѣлуетъ его долго и сильно, какъ-будто пьетъ что-то опьяняющее.

Онъ стонетъ и открываетъ глаза. Жени нѣтъ. Дверь въ корридоръ полуоткрыта, и тамъ шуршать чьи-то торопливые, убѣгающіе шаги.

## IX.

Въ положенный часъ лѣнливо, одинъ послѣ другого, поползли изъ своихъ комнатъ въ столовую. Садились, вынимали изъ жестяныхъ коробокъ салфетки, раскладывали ихъ на колѣняхъ.

Рядомъ съ фельдшерницей опять сидитъ врачъ въ блестящихъ манжетахъ. Онъ сегодня дежурить не въ очередь, — и вообще онъ часто дежурить не въ очередь, и это не правится больнымъ.

Пробѣжала рысью сѣренькая экономка, загремѣла ножами и вилками на маленькомъ столикѣ для посуды, у буфетнаго шкафа.

Кто-то изъ нетерпѣливыхъ уже спрашиваетъ:

— А что сегодня на жаркое? Опять тушеное мясо съ кореньями?

Экономка разводитъ руками.

— Вѣдь сегодня же четвергъ... Конечно, съ кореньями.

Потерявшій голосъ пѣвецъ пришелъ въ столовую съ недочитанной газетой. И большимъ печатнымъ листомъ, какъ черепаха щитомъ, закрылся отъ музыканта.

Музыкантъ оправляетъ запонки, мурлычить что-то себѣ подъ носъ.

Поодаль отъ стола одна изъ больныхъ шепчется съ приходящимъ. Тотъ промокъ насквозь и встряхивается, какъ выкупанная курица, не рѣшаясь сразу пройти къ столу. Одинъ карманъ пиджака у него сильно оттопырился. Тамъ лежитъ какой-то свертокъ.

— До завтра я возьму, но не дольше... У насъ уже ходить слухи...

Дверь на балконъ открыта настежь, но никто не подходитъ къ ней. На балконѣ стоятъ лужи, и всѣ кушетки свалены въ одну кучу, какъ дрова. Въ сущности, больнымъ предписано пользоваться свѣжимъ воздухомъ во всякую по-

году, но крыша балкона протекаетъ, и въ дождь тамъ нельзя оставаться.

Михаилъ пришелъ блѣдный, осунувшійся. Поискалъ глазами Женю. Ея еще не было. Тогда со вздохомъ облегченія опустился на свое мѣсто и такъ же методично, какъ другіе, началъ развертывать салфетку.

Кто-то окликнулъ его съ другого конца стола. Это Лидія Львовна.

— Вы плохо выглядите сегодня... Какъ температура?

Блестящій врачъ нагибается и шепчетъ что-то ей на ухо,—конечно, о немъ, о Михаилѣ. Михаилу вдвойнѣ досадно,—и особенно потому, что врачъ нагнулся такъ близко и шепчется съ какою-то подчеркнутой фамиллярностью. А она не протестуетъ, слушаетъ его, слегка улыбаясь, и даже, какъ-будто, довольна, что онъ сидитъ рядомъ.

Михаилъ вспомнилъ о крѣпкихъ духахъ, которыми пахнетъ отъ врача. Сегодня утромъ ими пахло даже въ комнатѣ Панина, и, можетъ-быть, именно этотъ запахъ возбудилъ тогда въ Михаилѣ, помимо его воли, острую ненависть.

Всѣ уже заняли свои мѣста, изъ кухни приносятъ большія бѣлыя миски съ супомъ. Жени нѣтъ. Значить, она не придетъ совсѣмъ.

У себя на губахъ Михаилъ все еще чувствуетъ что-то горячее, обжигающее. И это ощущеніе связано съ возвратомъ отъ небытія къ существованію. Въ немъ есть поэтому какая-то жгучая сладость и привлекательность.

Но не она, не Женя, а другая должна была сдѣлать это. Другая все еще шепчется съ врачомъ. Скатила хлѣбный шарикъ и бросила ему въ лицо.

Музыкантъ ядовито улыбается и опускаетъ глаза въ тарелку. Но Михаилу видно, что онъ незамѣтно, изъ-подъ рѣсницъ, сканиваетъ ихъ налѣво и слѣдитъ внимательно, какъ усердный сыщикъ.

Хочется закричать ему:

— Не смѣй!

А вѣдь послѣ обѣда онъ пойдетъ къ кому-нибудь и будетъ рассказывать, захлебываясь словами. Прибавитъ еще,



что они жали другъ другу ноги подъ столомъ. Это возможно. Вѣдь они сидятъ такъ близко.

— Пожалуйста, примите тарелку. Я не хочу больше супу.

— Вода совсѣмъ теплая. Ее невозможно пить.

— Когда я служилъ въ Пермской губерніи, мнѣ пришлось разѣзжать по самымъ сѣвернымъ уѣздамъ, и тамъ мы цѣлыми недѣлями питались только...

Это рассказываетъ Ерастовъ. Сегодня онъ какъ-то спокоенъ, уравновѣшенъ. Только верхняя губа слегка прыгаетъ и обличаетъ притаившуюся нервность.

Кто-то—должно быть, экономка,—говорить изъ-за спины Михаила:

— Вы совсѣмъ ничего не ѣдите... Супъ совсѣмъ остылъ. Хотите, я налью вамъ новую тарелку?

Михаилъ отрицательно качаетъ головой.

— Благодарю васъ.

Трое приходящихъ всѣ разомъ смѣются чему-то дружно и весело. Передъ этимъ они разсматривали какую-то бумажку, передавая ее подъ столомъ изъ рукъ въ руки. Музыкантъ съ любопытствомъ направляетъ ухо въ ихъ сторону и отчетливо слышитъ, какъ одинъ изъ приходящихъ отпускаетъ по его адресу:

— Шпіонъ.

Музыкантъ быстро отворачивается, ужаленный словомъ.

Шмыгаетъ экономка. Она всегда одинаково подвижна,— и въ дождь, и въ хорошую погоду. Всегда одинаково ворчать на нее больные.

Вотъ она гонится за опустошенной почти до дна бѣлой миской, которую служанка уносить въ кухню.

— Подожди! Я налью еще тарелку. Одна барышня запоздала.

Гдѣ-то раздвигаются стулья, чтобы дать мѣсто вновь пришедшей.

Михаилъ упорно смотритъ на Лидію Львовну. Онъ знаетъ, что эта пришла Женя, и какъ-будто хочетъ почерпнуть въ отвѣтномъ взглядѣ фельдшерицы тѣ силы, которыя нужны ему, чтобы остаться спокойнымъ.

Фельдшерица не замѣчаетъ его взгляда. Она разговари-

васть съ врачомъ и только мелькомъ смотритъ на то, что дѣлается вокругъ.

Обращается съ какимъ-то вопросомъ Ерастовъ. Михаилъ радостно схватился за эту неожиданную помощь и завязалъ разговоръ, смѣясь преувеличенно громко. Среди разговора нечаянно взглянулъ на Женю и остановился на мгновение, забывъ начало только-что сказанной фразы.

У Жени въ лицѣ что-то свѣтлое, и глаза блестятъ. Она смотритъ на Михаила загадочнымъ, общающимъ взглядомъ.

Онъ не можетъ выносить больше. Встаетъ.

На другомъ концѣ стола—шумные крики.

— Здѣсь, здѣсь! Смотрите!

Въ открытую дверь влетѣла маленькая, мокрая, иззябшая пичужка. Сѣренькая, съ красноватой грудью и короткимъ, какъ обрубленнымъ, хвостикомъ.

Оглушенная шумомъ, испуганная, сѣла на уголъ шкафа. На нее показываютъ пальцами.

— Здѣсь! здѣсь!

Сорвалась съ мѣста, стрѣлой пролетѣла черезъ комнату, надъ самыми головами обѣдающихъ. И съ размаху ударила въ оконное стекло красной грудью. Скользнула внизъ, на подоконникъ, и опять, еще быстрѣе, перерѣзала пространство отъ одного угла до другого.

Пѣвецъ крестится подь бортомъ пиджака осторожными крестиками и шепчетъ:

— Плохая примѣта... Къ смерти.

Выскакиваютъ изъ-за стола, машутъ салфетками. Толкаютъ одинъ другого и гоняются за маленькой пичужкой, а она, напуганная и избитая, безумно мечется надъ толпой.

— Къ смерти...

Въ общей суматохѣ Женя подошла къ Михаилу, взяла его за руку и крѣпко, до боли сжала. Онъ слабо вырвался, отошелъ, подавленный ея горячностью.

Музыкантъ съ кошачьей хитростью подкрадывается къ птичкѣ сзади и хочетъ пакинуть на нее свою салфетку, какъ сѣтъ птицелова. Но Ерастовъ умышленно толкаетъ его подъ локоть, и планъ разстраивается. Потомъ Женя отдѣляется отъ другихъ и одна гонитъ обезумѣвшую плѣнницу все

ближе, ближе къ двери. Еще одинъ шагъ—и птичка на волю. Исчезаетъ въ туманѣ, какъ съ силой брошенный камень.

Всѣ сѣли опять за столъ, запыхавшіеся, съ отдышкой и кашлемъ. Поспѣшно разбираютъ по рукамъ начавшее уже остывать жаркое.

Михаилу душно. Передъ глазами ходятъ темныя пятна, и полъ комнаты начинаетъ уже колебаться подъ ногами такъ же, какъ утромъ. И уходя навѣрхъ, въ свою комнату, онъ ловитъ два направленныхъ на него взгляда: торжествующіе глаза Жени и сострадательные—Лидіи Львовны.

Ну да, конечно, она можетъ только сострадать. Кто изъ любящихъ жизнь можетъ сознательно избрать смерть, если есть свободный выборъ? Ахъ, слѣпецъ, безумный слѣпецъ! Михаилъ говоритъ это себѣ почти вслухъ и идетъ по опустѣвшему корридору.

Дверь одной изъ комнатъ открыта настежь. Тамъ лежитъ и медленно, долгіе мѣсяцы умираетъ въ одиночествѣ чело-вѣкъ, къ которому приходитъ каждое воскресенье его отецъ, мелкій чиновникъ.

## Х.

Въ нижнемъ этажѣ, рядомъ со столовой, — аптечка. Бѣленькая комната съ двумя свѣтло-желтыми шкафами и длиннымъ, запятнаннымъ кислотами столомъ, похожимъ на прилавокъ. Здѣсь утромъ и вечеромъ проворныя руки Лидіи Львовны работаютъ надъ микстурами и порошками, отсыпаютъ, отмѣриваютъ, взвѣшиваютъ. И въ эту комнату всѣ тѣ больные, которые могутъ ходить, являются за своими лекарствами.

Послѣ обѣда — тихо. Дождь еще не прошелъ и всѣ лежатъ по своимъ комнатамъ.

Михаилъ смотритъ въ окно. Тамъ туманныя пятна, зеленатые и сѣрые. Безсильно повисли на вѣтвяхъ остроко-нечные листья. Слышно, какъ за стѣнной журчить по желѣз-ному жолобу вода.

Нужно сходить за бромомъ, чтобы предупредить нервные припадки, но — страшно. Тамъ, въ глубинѣ сердца, страшно.

И стыдно за этот малодушный страхъ, въ которомъ самому себѣ трудно признаться.

Даже если бы не было надобности въ лекарствѣ, все-таки слѣдуетъ придумать какой-нибудь предлогъ, чтобы пойти и увидѣть ее теперь же. Тогда, можетъ быть, зеленые глаза потускнѣютъ, перестанутъ манить и притягивать, какъ глаза змѣи. Все опредѣлится.

А теперь что-то странное происходитъ въ душѣ,—какая-то мучительная путаница. Нужно избавиться отъ нея во что бы то ни стало.

Страстные слова и поцѣлуй, отъ котораго до сихъ поръ болятъ губы. Нѣтъ, долой! Сейчасъ увидить ту, другую, — красивую, сильную, спокойную въ своей красотѣ.

Проходитъ корридоръ, спускается по лѣстницѣ. Въ столовой все еще пахнетъ горячимъ молокомъ и жаренымъ мясомъ. Служанка возится у буфета съ вымытой посудой, укладываетъ тарелки высокими цилиндрическими стопочками.

Еще одинъ маленькій, загнутый подъ прямымъ угломъ корридорчикъ, напоминающій разные запутанные переходы и боковушки старинныхъ помѣщичьихъ домовъ.

Михаилъ остановился у этого поворота, замеръ. За спиной дребезжать тарелки. Большая зеленая муха вылетѣла изъ-за угла, сѣла на стѣну въ уровень съ лицомъ Михаила и принялась забавно обтирать лапками крылья и голову.

Въ аптечкѣ есть еще кто-то, кромѣ Лидіи Львовны. Слышится мужской голосъ, тихій, неотчетливый и какъ будто измѣненный. Такъ говорятъ нѣкоторые, когда сильно волнуются. Михаилъ пристально смотритъ на умывающуюся муху и не дѣлаетъ ни одного движенія. Кажется, если шевельнется пальцемъ, то закричитъ сейчасъ же отъ внутренней боли.

Выходить изъ аптечки. Они здѣсь, въ двухъ шагахъ, но за поворотомъ корридора, ихъ не видно. Какъ ловко управляется муха со своимъ туалетомъ. Покончила съ головой, треть шейку, спину, то мѣсто, гдѣ прикрѣплены крылья. Но вѣдь нужно же уйти. Но крайней мѣрѣ кашлянуть, сказать что-нибудь.



Они остановились.

Слышно, какъ бьется сердце, какъ течетъ кровь въ жилахъ. Въ вискахъ стучить молоточекъ: тукъ... тутъ... Сдѣлать только одинъ шагъ.

На самомъ поворотѣ почти сталкиваются. Всѣ трое, — блестящій докторъ, фельдшерица и Михаилъ сливаются въ одну группу. Докторъ обнимаетъ Лидію Львовну за талію и ея голова почти совсѣмъ лежитъ на его плечѣ. И онъ жадными губами прикасается къ ея лбу, и на щекахъ у нея остались розовыя пятна, — слѣды поцѣлуевъ.

Теперь Михаилъ совсѣмъ спокоенъ. Ему кажется только, что какія-то невидимыя крылья, дававшія ему бодрость, оторвались отъ него, и онъ сразу отяжелѣлъ, сдѣлался неуклюжимъ и грубымъ.

Онъ говоритъ ей въ упоръ, пока они еще не успѣли отойти другъ отъ друга, и подчеркиваетъ свое спокойствіе:

— Пожалуйста, приготовьте мнѣ брому. У меня вышелъ весь запасъ.

Врачъ красенъ и жалокъ, и даже вспотѣлъ отъ неожиданности и стыда, такъ что на самомъ кончикѣ носа у него вдругъ выступили блестящія капельки. Она честнѣе, — или ей нечего стыдиться. Она только поблѣднѣла немного и отшатнулась отъ врача прямымъ, неловкимъ движеніемъ, какъ будто у нея закружилась голова.

Блестящій докторъ молча и поспѣшно, какъ школьникъ, котораго поймали въ гадкой плутнѣ, выбѣгаетъ въ столовую.

— Какъ незамѣтно вы подошли! — серьезно и выразительно говоритъ Михаилу Лидія Львовна, и чувствуется, что она вкладываетъ въ эти слова какой-то особый смыслъ.

Конечно, она хочетъ уколоть его тѣмъ, что онъ подслушивалъ, шпионилъ. Хорошо.

— Я не имѣлъ удовольствія знать, что аптечка служить такъ же и домомъ свиданій. Вамъ слѣдовало предупредить.

Лидія Львовна возвращается въ аптечку, беретъ изъ желтаго шкафа нѣсколько банокъ съ притертыми пробками. Руки у нея дрожать, и одна изъ стеклянныхъ пробокъ падаетъ на полъ. Михаилъ вѣжливо поднимаетъ ее.

— Вы счастливы, — она не разбилась. Должно быть, вы во всем счастливы такъ же, какъ въ любви.

Лидія Львовна низко нагибается надъ столомъ и вслухъ читаетъ этикеты, передъ тѣмъ, какъ заняться развѣшиваніемъ.

— *Kali bromati... Natri bromati...* кажется, по четыре, и два — *ammonii...* Я сейчасъ посмотрю рецептъ...

Опускается еще ниже, падаетъ на колѣни. И вдругъ роняетъ голову на руки и рыдаетъ.

— Я должна посмотрѣть... Да... А вы... вы... я не ждала отъ васъ этого. Вы такъ хорошо относились ко мнѣ... И были для меня на цѣлую голову выше всѣхъ остальныхъ. А вы... вы такой же, какъ всѣ. Зачѣмъ вы издѣваетесь надо мной?

Михаилъ тоже нагибается надъ столомъ,

— А отъ васъ опять пахнетъ духами. Прескверные духи, могу васъ увѣрить. Но вы, кажется, разстроены? Хорошо, вы пришлете мнѣ мой бромъ въ мою комнату, когда успокоитесь.

## XI.

Туманъ сгустился сильнѣе. Съ ранняго вечера зажгли лампы. Пансіонъ весь свѣтился снаружи, какъ китайскій фонарь, желтоватыми пятнами своихъ оконъ. Отъ каждого окна уходила въ туманъ расширяющаяся полоса и кое-гдѣ вырывала изъ сумрака слабыя очертанія вѣтвей, листьевъ и садовой рѣшетки. Поэтому садъ казался фантастическимъ и загадочнымъ, какъ-будто перенесли его изъ другого міра, — міра грустныхъ и призрачныхъ сновидѣній.

Внизу, на морѣ, разыгрывался штормъ. Изъ темноты вырывались одна за другой гребнистыя волны, прыгали черезъ парапеты набережной, теряли въ уличной грязи свои бѣлые волосы. За моломъ раскачивались и танцевали бѣшеный танецъ огни фелюгъ и барокъ, и сердито мигалъ круглымъ краснымъ глазомъ готовый къ отправкѣ грузовой пароходъ.

Изъ ничего, изъ пустой бездны рождались волны, и безконечно бѣжала ихъ вереница, спѣша и нагоняя другъ дру-

га, чтобы поскорѣе разбить влажную грудь о твердый камень. И своей непрерываемой безконечностью бѣгъ ихъ былъ страшенъ.

Въ курзалѣ, по ту сторону набережной улицы, люди слышали шумъ волнъ, но были спокойны и веселы. Плясали подъ звуки музыки, играли въ карты, читали. Музыка, достигая до берега, безслѣдно терялась въ ревѣ прибоя, а онъ плакалъ однообразно и жалобно, какъ-будто отпѣвалъ какого-то невидимаго мертвеца, и ноты скорбнаго гнѣва постепенно нарастали въ его жалобѣ.

Бѣжавшая съ горъ рѣчка вздулась, переполнилась до краевъ своего каменистаго ложа мутной, пѣнистой водой. Рвалась навстрѣчу морскому прибоя, — и теперь, въ сумракѣ вечера, въ ея устьѣ клокотало и брызгало, какъ въ котлѣ, и черными глазами отмѣчались воронки водоворотовъ. Что-то свѣтлое мерцало иногда въ ихъ глубинѣ, какъ-будто блѣдныя человѣческія руки поднимались со дна моря и безсильно тянулись къ огнямъ берега.

Вдали отъ моря, на взгорьѣ, гдѣ начинались сады и виноградники, было тише. И только неяснымъ, затеряннымъ шорохомъ доходилъ плачъ моря до оконъ пансіона, то замирая, то налетая снова, какъ неровные вздохи уставшаго.

— Жутко теперь тамъ, внизу! — сказалъ Ерастовъ. Онъ сидѣлъ въ комнатѣ Михаила, поднявъ воротникъ пиджака и глубоко засунувъ руки въ карманы. Покачивался на стулѣ и ежился, какъ всегда, пряча въ сутоловатыя плечи свою лохматую голову.

Михаилъ прислушался, — и до его слуха, сквозь плотно запертое окно, долетѣлъ одинъ изъ подавленныхъ вздоховъ, грустный, какъ осенніе листья.

— Не знаю... Можетъ быть, тамъ даже лучше. У меня болитъ голова, а холодныя брызги такъ славно освѣжаютъ.

— Что-то скрипитъ за окномъ.

— Это вѣтка скребется объ стѣну.

— Неприятно. Точно ножомъ по стеклу.

— Вы тоже развинтились, Ерастовъ. Не хотите ли брому? У меня есть совсѣмъ свѣжая бутылочка... Ха-ха... совсѣмъ свѣжая бутылочка.

— Чему вы смѣетесь? Я не вижу ничего смѣшного.

— Да, конечно. Въ такой вечеръ гораздо лучше плакать. Если бы я самъ былъ меньше, а сердце у меня побольше, то, можетъ быть, я тоже плакалъ бы. Скажите, вѣдь слезы соленыя, да?

— Кажется, да. Я не пробоваль.

— Мой бромъ сегодня слишкомъ солонъ. Должно быть, туда попало нѣсколько слезинокъ. Какъ вы думаете?

— Вы сегодня говорите глупости, Михаилъ, Я не понимаю васъ.

Михаилъ сидитъ въ сторонѣ отъ лампы, въ полосѣ тѣни, которую отбрасываетъ абажуръ. Поэтому Ерастовъ не можетъ разсмотрѣть его лица, даже когда очень пристально вглядывается. Ему давно хочется уйти, но онъ прячетъ голову въ плечи и сидитъ на мѣстѣ, потому что въ его собственной комнатѣ, въ жуткомъ вечернемъ одиночествѣ, еще скучнѣе, чѣмъ здѣсь.

— Ерастовъ... Вы были послѣ обѣда у Панина?

— Да... Онъ спитъ—или безъ сознанія. Тамъ сидѣлка,—какая-то отвратительная баба.

— А меня выгнали оттуда сегодня утромъ, и съ тѣхъ поръ я не былъ. Доживетъ онъ до завтра?

— Не знаю. Онъ совсѣмъ плохъ.

— Значитъ въ этомъ мѣсяцѣ умереть третій. Сначала студентъ, который все плакалъ и писалъ какое-то завѣщаніе,—и смотрѣлъ на маленькій портретъ. Потомъ смѣшная курсистка. Теперь Панинъ, а за нимъ слѣдомъ умереть Бобровская... Когда нѣсколько человѣкъ изъ нашихъ соберутся въ одной комнатѣ, вы никогда не стараетесь угадать, кто слѣдующій кандидатъ? Нѣтъ? А у меня это выходитъ какъ-то невольно. И я часто угадываю. Для развлечения мы могли бы устроить тотализаторъ. Десять на Панина! Четыре двойныхъ на Бобровскую! На васъ, Ерастовъ, я ни за что не поставлю больше одного. Вы еще протянете.

— Оставьте, Михаилъ. Вы хотите вымотать изъ меня всю душу сегодня.

— Почему вы всѣ боитесь говорить о смерти? Вы должны говорить о ней такъ же часто, какъ чиновники — о



пенсіяхъ и артисты о триумфахъ. Вы должны обращаться съ нею за панибрата. Тогда, по крайней мѣрѣ, намъ было бы весело. Каждый день мы устраивали бы пиръ... пиръ во время чумы... за здоровье смерти... Не поднимайте такъ плечи, Ерастовъ. Вы похожи на обезьяну.

Скребется объ стѣну изломанная вѣтка. И порывъ вѣтра доносить новый вздохъ моря. Онъ звучитъ такъ явственно и жалобно, что Ерастовъ вздрагиваетъ. Михаилъ говоритъ сухимъ и звенящимъ голосомъ:

— Мы всѣ безобразны. И поэтому другіе испытываютъ къ намъ даже не жалость, а просто отвращеніе. Ну, такъ и не будемъ соваться къ этимъ другимъ. Устроимъ свой собственный міръ, — міръ обреченныхъ. Вы думаете, что васъ можетъ полюбить настоящая, нормальная, здоровая женщина? Нѣтъ, милый, она промѣняетъ васъ на перваго здоровяка, у котораго такъ славно блестятъ воротнички и лоснятся щеки.

— Вы съ ума сошли.

— Совсѣмъ нѣтъ. Я только немножко взволнованъ сегодня, Ерастовъ, это правда. Я хотѣлъ подняться подъ облака, но шлепнулся въ болото, въ грязное, вонючее болото. И мнѣ надоѣдаетъ уже смотрѣть на глупую комедію, которую мы всѣ разыгрываемъ. Искренно надѣются выльчиться только дураки. Остальные обманываютъ себя нѣсколько мѣсяцевъ, а кончаютъ всѣ одинаково. Вѣдь вы хорошо знаете, что сюда принимаютъ почти однихъ только безнадежныхъ, которымъ некуда дѣваться больше. Принимаютъ только затѣмъ, чтобы заставить протянуть лишнихъ полгода. Какое благодѣяніе... Такъ не мечтайте ни о чемъ, не вздумайте полюбить кого-нибудь. Сидите всегда такъ, сгорбившись, и походите на обезьяну. Это лучше.

Михаилъ убавилъ огонь въ лампѣ, — и комната почти спряталась въ темноту. Только на столѣ пестрѣли цвѣтными пятнами обложки книгъ и брошюрокъ. Ерастовъ указалъ на эти обложки.

— Вы сами — работаете. И ваши слова — сплошная ложь, которую вы придумали только для того, чтобы терзать свои собственные нервы. Пока въ человѣкѣ осталась хоть капля

неизрасходованныхъ силъ — онъ еще годится для жизни. Вы еще не такъ плохи. Зимой вы уйдете... И я тоже...

Михаилъ молчитъ. И хотя за окномъ попрежнему шумитъ буря, — въ комнатѣ такъ тихо, что чувствуется это молчаніе. Оно черно, безформенно и похоже на безлунную ночь.

Ерастовъ встаетъ. Тогда Михаилъ дѣлаетъ быстрое движеніе въ его сторону.

— Не уходите... Плюньте на то, что я, можетъ быть, васъ раздосадовалъ. Вѣдь вамъ тоже будетъ еще тяжелѣе одному... Будемъ злиться и скучать вмѣстѣ... Сидите... Или вы обидѣлись за обезьяну? Ну, я возьму свои слова обратно и скажу, что вы очень красивы и похожи на Аполлона. Хорошо?

Ерастовъ быстро сдается.

— Тогда дайте мнѣ книжку. Я буду читать.

Молчаніе, — темное, безформенное. Оно тяготитъ слухъ. Время отъ времени Ерастовъ перевертываетъ листъ своей книги, и этотъ звукъ кажется страшно громкимъ. И странно, что не слышно больше отрывистыхъ, неровныхъ вздоховъ моря. Должно быть, перемѣнился вѣтеръ.

Михаилъ приглядывается къ своему гостю, который быстро бѣгаетъ глазами по строчкамъ. У Ерастова густая борода и почти нѣтъ усовъ. Это придаетъ его лицу какой-то особенный характеръ, чѣмъ-то напоминающій старинные портреты. А на гладкомъ, матовомъ лбу есть только одна складка, которая идетъ отъ переносыя и слегка загибается надъ бровью. Когда губы улыбаются, эта складка дѣлается еще глубже, и поэтому смѣхъ и плачъ въ одно время отражаются на лицѣ.

Молчаніе. Кажется, что вечеръ безконечно длинень. Онъ уходитъ куда-то вглубь, черпаетъ все новыя силы въ туманной мглѣ и все крѣпче и крѣпче сковываетъ жизнь своимъ молчаніемъ.

Издали, изъ корридора, приходитъ шорохъ. Кто-то прикоснулся къ ручкѣ двери и остановился. Ручка шевелится.

— Крыса? — спрашиваетъ Ерастовъ. Онъ боится крысъ такъ же, какъ Михаилъ пауковъ. И съ судорогой отвращенія поджимаетъ подъ себя ноги.

Михаиль знаетъ. Онъ давно уже ждалъ этого. Страхъ передъ Женей висѣлъ надъ нимъ, и поэтому каждая минута вечера проходила для него съ удвоенной медленностью.

— Нѣтъ. Пришла Женя.

Дверь открывается тихо, тихо.

Она стоитъ у порога и смотритъ на Михаила вопросительно и умоляюще, — какъ-будто боится, что онъ прогнать ее. И нѣтъ уже на лицѣ того бурнаго торжества, которое такъ и рвалось наружу за обѣдомъ. Она подходитъ къ столу робко и нерѣшительно, съ опущенными рѣсницами. Есть ли зеленый огонекъ? Не видно.

Ерастовъ обрадованъ.

— Вотъ и хорошо... Нашего полку прибыло. А мы сидимъ тутъ, нервничаемъ и говоримъ другъ другу сомнительные комплименты. Развеселите насъ, голубушка... Хотя вы и сама, кажется, не того... Это все сырая погода.

— Да, сыро, гадко! — соглашается Женя. — У меня въ комнатѣ совсѣмъ холодно.

Михаиль теперь упорно молчитъ. И Женя тоже старается не замѣчать его, разговариваетъ съ Ерастовымъ. Аккуратно составляетъ свои фразы, говоритъ такимъ языкомъ, какимъ пишутъ плохія книги, и поэтому замѣтно, что она совсѣмъ не думаетъ о своихъ словахъ. И вздыхаетъ облегченно, когда Ерастовъ не нуждается больше въ ея репликахъ, а говоритъ одинъ. Яростно отстаиваетъ свою точку зрѣнія, съ ожесточеніемъ нападая на несуществующаго противника. И въ маленькой комнатѣ, въ душахъ трехъ человѣкъ, живутъ двѣ разныя жизни и не замѣчаютъ одна другую.

Михаиль не смотритъ на Женю, но чувствуетъ каждое ея движеніе. Одно мгновеніе острая тоска и тревога вспыхиваютъ въ немъ такъ сильно, что ему хочется кричать, ломать что-нибудь, испытать раздирающую физическую боль. Но онъ дѣлаетъ надъ собой усиліе, отъ котораго на лбу выступаютъ капельки пота, и сидитъ тихо.

Ерастовъ посмотрѣлъ на часы.

— Праведные боги!.. Скоро одиннадцать. Пора по домамъ, Женя. Мы совершили уже тяжелое преступленіе противъ врачебнаго кодекса. И, знаете, пойдѣте тихонько, чтобы насъ не замѣтила фельдшерница. Она обязательно наядбничасть, и завтра намъ будетъ хорошій нагоняй. Вы идете? Скорѣе же...

Женя не торопится. Она оправляетъ рукава своей блузки, потомъ беретъ со стола карандашъ и разсматриваетъ его такъ внимательно, какъ-будто это совсѣмъ новая для нея вещь.

— Я хочу... мнѣ нужно... — Теперь она ловить слова и никакъ не можетъ найти ихъ.—Идите, Ерастовъ. Я сейчасъ.

— Вы хотите еще говорить съ Михаиломъ? Это напрасный трудъ. Онъ сегодня совсѣмъ не пригоденъ для общегитія, увѣряю васъ. А впрочемъ, — мнѣ все равно. До свиданья, господа.

— Спокойной ночи! — отзывается изъ скрывающей его тѣни Михаилъ.

Ерастовъ осторожно открываетъ дверь, потомъ тихо, на носкахъ, крадется по корридору.

За окномъ буря теперь реветъ и неистовствуетъ. И жалобные, печальные вздохи переродились въ громовую пѣсню возстанія. Стекла оконъ звенятъ отъ ея грохота.

Женя бросаетъ карандашъ. Онъ катится по столу, потомъ падаетъ на полъ.

— Какой штормъ...

Рѣсницы поднялись. И теперь видно, ясно видно, что глаза — зеленые.

— Я хотѣла бы... чтобы нашъ пансіонъ разметало сейчасъ, какъ карточный домикъ. Разбило бы его въ мелкую пыль, разнесло по вѣтру... чтобы все кончилось...

Что-то оглушительно хлопаетъ. Должно быть, въ саду сломалось дерево.

— Ну, еще, еще сильнѣй! Если бы только...



Михаилу кажется, что она очень красива. Жесткая, кроважная складка около ее губъ притягиваетъ его, и онъ опять вспоминаетъ съ выпуклой ясностью о томъ, какъ она поцѣловала его послѣ обморока.

Да, да, хорошо быть жестокимъ, потому что жестокость такъ же мучительно пріятна, какъ любовь. Хорошо что-нибудь разрушить? Или укусить, — сильно, чтобы запахло кровью.

И странно, что эта женщина, которая теперь, ночью, осталась съ нимъ вдвоемъ въ его комнатѣ, совсѣмъ не похожа на ту Женю, которую онъ видѣлъ каждый день подрядъ нѣсколько мѣсяцевъ. Та была такая же сѣрая безкровная, какъ всѣ другіе, и, какъ всѣ, сжившіеся со своей болѣзною люди, часто говорила ему, не стыдась, о разныхъ болѣзненныхъ неправильностяхъ своего организма и поэтому перестала походить на женщину.

Михаилу уже не страшно. Но внутри въ немъ кипитъ что-то бурное, къ чему такъ подходитъ ревъ шторма. И, выдвинувшись въ полосу свѣта, падающую отъ абажура, онъ говоритъ съ тяжелой, неповоротливой грубостью, стараясь, какъ можно больнѣе, какъ можно глубже ударить своимъ словомъ.

— Ну, вы! Что вамъ еще нужно? Я ненавижу васъ. Ненавижу васъ. Вы понимаете?

Она совсѣмъ не оскорблена. Глядитъ на него открыто и вызывающе.

— Это хорошо... Вотъ, именно такъ было нужно. Вы сначала презирали, не замѣчали меня... А теперь ненавидите? Да? Именно такъ было нужно.

Видно, какъ порывисто волнуется ее грудь. И покраснѣвшія, полуоткрытыя губы хотятъ прижаться, укусить, жадно пить красное, горячее. Все ее тѣло раздражающе горячо и близко, и хочется схватить его.

— Зачѣмъ вы поцѣловали меня? Я не давалъ вамъ никакого къ этому повода. Вы навязываетесь.

— Да, да, я поцѣловала. Конечно, потому что люблю васъ и вотъ — поводъ. Я хочу любить, я въ правѣ любить.

— Я тебя ненавижу.

— Нѣтъ, любишь.

— Ненавижу. Я люблю другую. Да, другую.

— Другая — не для тебя. Ты не можешь любить ее. Можно любить только того, къмъ овладѣешь совсѣмъ, безраздѣльно. И я овладѣю тобой.

— Оставь меня. Я не хочу.

— Ты?

Ея горячее, возбуждающее тѣло совсѣмъ близко. Зеленые глаза искрятся и губы притягиваются, хотятъ укусить. И когда онъ хочетъ ударить ее, исковеркать, бросить на полъ, топтать, она ускользаетъ назадъ и сразу дѣлается недоступной.

— Я хочу жить, Михаилъ. И ты — ты тоже. Ты говоришь, что ненавидишь меня, но это неправда. Ты не можешь любить никого, кромѣ меня, потому что ты и я — это одно и то же. Ты придешь ко мнѣ. Я возьму тебя.

Кажется, что стѣны дома дрожать отъ бури.

— Ты придешь ко мнѣ. Мы будемъ жить, жить, Михаилъ. Мы узнаемъ, что такое счастье, наслажденіе, восторгъ. И, когда страсть утомится, я буду ласкать тебя какъ ребенка, и ты уснешь на моихъ рукахъ такой спокойный, радостный, любимый.

Михаилъ протягиваетъ руки, и онѣ дрожать. Потомъ онъ быстро опускаетъ ихъ. То, что клокочетъ въ немъ, должно вырваться наружу. И онъ знаетъ, что совершится неизбежное — и не хочетъ бороться больше.

— Ты — мой любимый. Иди ко мнѣ. Ты мой. Мы будемъ жить.

Цѣлуетъ его прямо въ губы, и поцѣлуй такъ дологъ, что Михаилъ почти теряетъ сознаніе. Не видитъ и не чувствуетъ ничего, кромѣ Жени, — и ему кажется, что всегда было такъ и что это — только заранѣе предуказанный конецъ.

Обнимаетъ ее. И прижимаясь къ нему вздрагивающимъ тѣломъ, она спрашиваетъ:

— Ненавидишь?

— Ненавижу... Люблю... Все равно. Я возьму тебя.

Нѣтъ ночи. Нѣтъ пансіона. Есть только женщина, которая любить и отдается и которая даетъ наслажденіе, —

еще почти не испытанное, — и яркимъ пламенемъ зажигаетъ жизнь.

— Ненавижу. Люблю. Ты — моя.

Чувствуетъ себя сильнымъ и ловкимъ, какъ юный дикарь. Легко, какъ ребенка, поднимаетъ Женю на руки. Она обнимаетъ его шею, прижимается головой къ плечу и щекѣ. И съ робкимъ трепетомъ, внезапно вспыхнувшимъ на порогѣ тайны, просить его:

— Только не надо свѣта... Пусть ничто не мѣшаетъ... Даже свѣтъ...

Темно. Изрѣдка вспыхиваетъ голубымъ огонькомъ глубоко завернутый фитиль. Женя молчитъ, и есть теперь что-то строгое въ ея молчании. Быстро снимаетъ съ себя одежду, въ беспорядкѣ бросаетъ ее на полъ, и она падаетъ съ глухимъ шорохомъ.

Михаилъ цѣлуетъ Женю, ея плечи, грудь, и все кажется ему такимъ незнакомымъ и таинственно прекраснымъ. Потомъ онъ склоняется надъ ней, когда она уже лежитъ въ его постели, обнимаетъ ее. Въ ея слабomъ, болѣзненно-ликующемъ стонѣ слышится восторженное наслажденіе. И оба сливаются въ одно цѣлое, живутъ однимъ и тѣмъ же страстнымъ трепетомъ, однимъ дыханіемъ, однимъ сердцемъ.

Когда волненіе стихаетъ, онъ лежитъ съ ней рядомъ на тѣсной больничной постели, ласкаетъ все ея горячее, отдавшееся, сдѣлавшееся доступнымъ и знакомымъ тѣло... Она, маленькая въ сравненіи съ нимъ, какъ ребенокъ, припала головой къ его плечу. И еще усталая, болѣзненно-напряженная, уже готова къ новымъ объятіямъ и принимаетъ новые поцѣлуи благодарно и радостно.

Накопецъ волна схлынула, — первая, бурная волна страсти. И они прижимаются другъ къ другу свои и равные, съ увѣреннымъ поцѣлуемъ только-что зародившейся близости. Онъ чувствуетъ уже пресыщеніе любовью, почти холодность. Онъ знаетъ уже теперь все ея тѣло, всю любовь, и она ничего больше не можетъ дать ему. Но Женя ласкаетъ его всего съ довѣрчивой откровенностью, такая маленькая, горячая, слабая. И въ немъ вспыхиваетъ новое чувство нѣжной

признательности, въ которомъ тонуть холодность и пресыщеніе.

Женя угадываетъ его настроеніе, говоритъ шопотомъ.

— Вотъ, мы взяли другъ у друга все, что могли, и теперь — какъ дѣти. Родной, хорошо съ тобой. Ты такой огромный, а мнѣ хочется баюкать тебя.

Прижимаетъ его лицо къ своей груди. Постель такъ тѣсна, что они не могутъ отодвинуться и все время держать другъ друга въ объятіяхъ.

Она шепчетъ ему на ухо:

— Я останусь у тебя до разсвѣта. Тогда уйду. Пусть кто-нибудь замѣтитъ... Мнѣ все равно. Впрочемъ, можетъ увидѣть развѣ только Лидія Львовна. Она очень рано встаетъ, когда есть тяжело больные.

— Да... да...

Онъ машинально соглашается, но уже чувствуетъ, что Женя толкнула его мысли на тотъ путь, котораго онъ избѣгалъ все время и отъ котораго отбросилъ его взрывъ страсти. И чувствуетъ, что долженъ теперь остаться наединѣ, чтобы судить себя самого и понять то, что уже сдѣлано и непоправимо.

Чтобы отослать Женю, ему нужно усиліе. И онъ отрываетъ ее отъ себя, какъ кусокъ собственного тѣла.

— Нѣтъ, Женя, тебѣ нужно уйти теперь же... Пока я не хочу еще, чтобы кто-нибудь зналъ о томъ, что было. И потомъ... Мнѣ надо подумать.

Она чувствуетъ въ его словахъ твердое рѣшеніе и не спорить.

— Хорошо... Но въ слѣдующій разъ я пробуду дольше... Да? Вѣдь, можетъ быть, все это скоро кончится... Будемъ беречь наши часы.

Она сдѣлалась какъ-то мягче, женственнѣе. Ея губы не кусаютъ и не жаждутъ крови, когда въ послѣдній разъ прикасаются къ его губамъ. Потомъ она ищетъ на полу свою одежду и въ темнотѣ не можетъ найти того, что ей нужно, среди беспорядочно набросанной груды.

— Я не знаю, гдѣ моя рубашка, родной... Зажги огонь.

Скромный отъ охватившихъ его мыслей, онъ наскоро



одѣвается, прежде чѣмъ подойти къ лампѣ. И освѣтивъ комнату, не сразу оглядывается.

Затѣмъ видитъ Женю, которая сидитъ, спустивъ ноги на полъ, на смятой постели. Краемъ одѣяла она прикрыла грудь и животъ и улыбается смущенной, неловкой улыбкой.

— Я найду тебѣ...

Онъ перебираетъ скомканную одежду, отъ которой пахнетъ знакомой женщиной и, приблизившись къ Женѣ, вдругъ цѣлуетъ ее ногу у колѣна.

Сейчасъ же послѣ поцѣлуя ему странно и непонятно, зачѣмъ онъ сдѣлалъ это. И зачѣмъ ему все-таки, въ подавленной глубинѣ сознанія, хочется еще цѣловать ее всю, обнимать до боли, до страданія.

Поцѣлуй обжигаетъ ее. Она выпрямляется во весь ростъ, отбрасываетъ одѣяло.

— Родной... Я такъ колебалась, тревожилась... Посмотри на меня. Неужели я такъ некрасива?

Михаиль хочетъ сказать ей: — Зачѣмъ? — Но уже смотритъ на ее бѣлое, цѣликомъ обнаженное тѣло, — тѣло молодой дѣвушки съ узкими плечами и бедрами. И ему кажется, что у нея слишкомъ впалый животъ и тонкія руки, и едва успѣвшія сформироваться груди уже потеряли свою дѣвственную форму...

Конечно, такъ и должно быть. Она — больная. Она некрасива, какъ всѣ больные. Но онъ чувствуетъ, что долженъ обнять ее и сказать:

— Да, ты красива... И я люблю тебя... всю...

Говорить.

Она, смѣясь, освобождается отъ него и закрываетъ свою наготу ладонями, какъ дѣлаютъ захваченныя врасплохъ купающіяся женщины. Это выходитъ грубо и почти гадко.

Рубашка найдена. Но Женя не торопится одѣваться, хотя въ комнатѣ холодно. Она все еще стоитъ такъ, какъ была, ошеломляюще безстыдная, закидываетъ руки за голову, оправляя растрепавшуюся прическу, изгибаетъ туловище. И Михаилъ ловитъ въ ее напряженныхъ, выпуклыхъ мускулахъ судорожныя, невольныя движенія, которыя заставляютъ его краснѣть и вздрагивать.

— Посмотри... Какая забавная родинка у меня вотъ здѣсь, подъ грудью... Совсѣмъ какъ звѣздочка съ пятью лучами.

— Въ самомъ дѣлѣ... Я вижу...

Онъ чувствуетъ, какъ уже знакомая волна опять охватываетъ его. И, облитый яркимъ свѣтомъ лампы, на которую онъ забылъ надѣтъ абажуръ, онъ приближается къ Женѣ, схватываетъ ее такъ же грубо, какъ груба и вызывающа ея нагота. Роняетъ ее на постель, еще не успѣвшую остыть отъ жара ихъ тѣлъ.

— Милый... Довольно...

Она шепчетъ это, но не сопротивляется. И совсѣмъ близко передъ собою, губами къ губамъ, онъ видитъ ея ярко освѣщенное лицо, страдающее и сладострастное. То, что онъ видитъ ее, доставляетъ ему какое-то дерзкое наслажденіе, и онъ обнимаетъ ее такъ крѣпко, что она почти задыхается.

Наконецъ она беретъ рубашку. Складываетъ ее кольцомъ, чтобы надѣтъ черезъ голову, закрыться холодной, отрезвляющей тканью. Онъ стоитъ поодаль и ждетъ.

Женя утомлена. Румянецъ собирается у нея на скулахъ багровыми пятнами, рѣзко выдѣляющимися на мертвенно блѣдномъ лицѣ. Не успѣвъ одѣться, она садится на постель и кашляетъ, держа въ рукахъ сложенную рубашку. Выгибается спина, и полоски реберъ ясно выдѣляются подъ кожей. Ей хочется какъ можно скорѣе подавить этотъ кашель, она прикладываетъ къ губамъ рубашку и, бросивъ бѣглый взглядъ, быстро прячетъ въ складкахъ то мѣсто полотна, къ которому прикоснулась ртомъ.

Извиняется жалобно, какъ побитое животное:

— Это ничего... сейчасъ пройдетъ... Вотъ, видишь, — уже кончилось.

Но Михаилъ прислушивается къ чему-то, извинѣ приходящему въ комнату. Дѣлаетъ знакъ Женѣ, чтобы она молчала.

По корридору ходятъ. Нѣсколько человѣкъ, тихо разговаривая, останавливаются почти у самыхъ дверей комнаты Михаила. Потомъ входятъ въ сосѣдную комнату, тяжело топчутся тамъ на одномъ мѣстѣ. Отодвигается стулъ.

Михаилъ расширившимися зрачками смотритъ на бѣлую, гладко оштукатуренную перегородку, отдѣляющую его отъ сосѣдней комнаты.

Догадывается. Говорить въ то время, когда Женя тоже поняла уже, что происходитъ за перегородкой:

— Панинъ умеръ.

Женя торопливо одѣвается, путаясь въ крючкахъ и за-вязкахъ. Долго не можетъ совсѣмъ закрыть свое нагое тѣло, и Михаилъ смотритъ на ея голыя плечи и на дрожащія, поблекшія груди, выбивающіяся изъ широкаго вырѣза рубашки, съ холоднымъ и отталкивающимъ презрѣніемъ.

И ему кажется, что это незакрытое тѣло, только что изнывавшее отъ страстнаго томленія, наносить подлое оскорбленіе и ему самому, и тому, кто только что умеръ за спокойной, бѣлой, гладко оштукатуренной перегородкой.

— Скорѣе же... ты... Панинъ умеръ.

Она убѣгаетъ, едва накинувъ на себя блузку, и не прощается. Тамъ, въ корридорѣ, ее могутъ увидѣть, потому что тамъ люди. Но это все равно.

### XIII.

Сидѣлка, уродливая женщина съ каменнымъ лицомъ и грубыми красными руками, сидѣла въ своемъ плетеномъ креслѣ, сложивъ на животѣ руки, съ начатымъ чулкомъ и вязальными спицами, и прислушивалась къ шуму шторма. Шумъ то затихалъ, то усиливался и баюкалъ ее, сидѣвшую въ теплѣ и безопасности, какъ баюкаетъ во время однообразной дороги мѣдный звонъ привязанныхъ подъ дугой колокольчиковъ. Сидѣлка дремала.

Ея голова маленькими толчками опускалась внизъ и затѣмъ, когда подбородокъ касался груди, быстро выпрямлялась. Сложенныя руки поднимались и нѣсколько минутъ двигались съ короткимъ звяканьемъ блестящія спицы. Потомъ чулокъ опять ложился на животъ, а голова прыгала.

По дешевенькимъ никкелевымъ часамъ, лежавшимъ на столикѣ больного, сидѣлка узнавала о времени. Аккуратно каждые полчаса она вставала съ кресла, клала чулокъ на плетенку

сидѣнья и, засунувъ красную руку подъ одѣяло, щупала Панину ноги. Онѣ были холодны, какъ мраморъ, и этотъ холодъ поднимался все выше, отъ ступней къ колѣнямъ. Осмотрѣвши ноги и узнавъ, какъ далеко здѣсь пробралась уже смерть, сидѣлка брала Панина за руку и щупала пульсъ. Нѣсколько разъ ей казалось, что пульсъ уже не бьется, но затѣмъ она улавливала едва замѣтное нитевидное движеніе. И, взглянувъ еще на бѣлки глазъ, свѣтлѣвшіе подъ неплотно опущенными вѣками, сидѣлка садилась на мѣсто. Нужно было такъ же терпѣливо ждать еще нѣсколько времени. Онъ не умеръ.

Передъ вечеромъ безчувственному Панину вливали сквозъ стиснутые зубы какія-то лекарства, впрыскивали, кажется, камфору, затѣмъ отступились и велѣли только сидѣлкѣ слѣдить, когда онъ умретъ.

Сидѣлка ждала равнодушно и спокойно. Она привыкла проводить долгіе часы въ этомъ креслѣ; бессонная ночь не тяготила ее. И она знала, что больные часто обманываютъ и умираютъ не тогда, когда это слѣдуетъ по всѣмъ естественнымъ законамъ. Въ промежуткахъ между приступами дремоты она шевелила спицами и соображала, успѣетъ ли до утра кончить чулокъ. Осталась еще небольшая часть голенища, пятка и носокъ. На двойную пятку уйдетъ много времени и, пожалуй, чулокъ придется оставить nedovязаннымъ до завтра.

Въ одиннадцатомъ часу вечера Панинъ началъ хрипѣть. Лежалъ съ открытымъ ртомъ и долго, тонкой струйкой вбиралъ въ себя воздухъ, который клокоталъ и свистѣлъ въ горлѣ. Нѣсколько мгновений послѣ этого больной лежалъ безъ звука и движенія, затѣмъ воздухъ опять клокоталъ и вырывался обратно, — все тише, медленнѣе, пока не замиралъ совсѣмъ. Тогда молчаніе продолжалось такъ долго, что сидѣлка опускала чулокъ и начинала особенно внимательно вслушиваться.

Но прошелъ часъ, штормъ стихалъ и не такъ уже яростно стучался въ окно, а Панинъ все еще хрипѣлъ, настойчиво втягивая и выдыхая воздухъ, и каждый разъ одинаково казалось, что этотъ вздохъ — послѣдній.



Сидѣлка сладко зѣвнула, потянулась. Она уже рассчитала, наконецъ, что все равно не кончить чулка и поэтому дремота одолевала ее вдвое сильнѣе. Она усялась въ креслѣ поудобнѣе, откинулась затылкомъ на плетеную спинку и закрыла глаза. И сонъ пришелъ къ ней сразу, какъ всегда онъ приходитъ къ здоровому и спокойному человѣку, окуталь все существующее чернымъ покрываломъ, легко и мягко погасилъ на время огонь жизни.

Она проспала не больше часа, но когда проснулась, чувствовала себя бодрой и ожившейся. Убавила немного огонь въ лампѣ, которая была плохо заправлена и поэтому начинала коптить однимъ краемъ фитиля, взяла чулокъ. Съ одной спицы спустилось нѣсколько петель. Она аккуратно подобрала ихъ, выровняла, потомъ обвязала еще одинъ рядъ кругомъ, по всѣмъ четыремъ спицамъ. Почесала надъ лѣвою бровью и долго старалась вспомнить, нѣтъ ли тутъ какой-нибудь благопріятной для нея примѣты.

Затѣмъ, наконецъ, прислушалась и замѣтила, что Панинъ больше не хрипитъ и не дышитъ. Спрятала чулокъ въ сумочку для рукодѣлья, отодвинула въ сторону кресло, чтобы оно не помѣшало выносить трупъ. Подошла къ Панину и попробовала закрыть ему глаза, но вѣки были уже тверды и холодны и, не повинаясь краснымъ пальцамъ сидѣлки, упорно оставляли открытой узкую и теперь блестящую полоску бѣлковъ. На губахъ и щекахъ запеклась сукровица.

Сидѣлка пошла внизъ, разбудила дежурнаго доктора, — не веселаго и блестящаго, а другого, который былъ худъ, запыленъ и никогда не смѣялся. Докторъ долго собирался, протиралъ очки. Затѣмъ они вдвоемъ — докторъ и сидѣлка — отправились наверхъ къ Панину. Докторъ осмотрѣлъ его и сказалъ:

— Конечно, онъ умеръ. Нужно вынести его и прибрать здѣсь. Разбудите фельдшерицу.

Ушелъ опять спать, а вмѣсто него проснулась Лидія Львовна. У нея болѣла голова, и она только что успѣла уснуть, когда сидѣлка постучала въ дверь ея комнаты, рядомъ съ аптекой.

Одѣваясь, спрашивала черезъ дверь сидѣлку:

— Кто умеръ? Бобровская? Золотовъ? Ахъ, Панинъ... Хорошо, я буду сейчасъ готова. Предупредите носильщиковъ.

Пьяненькій сторожъ, который звонилъ въ колоколь къ завтраку, обѣду и ужину, и его товарищъ — дворникъ, — были очень недовольны и сумрачны. Они вообще очень не любили, когда кто-нибудь умиралъ въ пансіонѣ, потому что это всегда лишало ихъ нѣсколькихъ часовъ сна и ночного отдыха. Дворникъ зажегъ фонарь и досталъ изъ сарайчика, въ которомъ складывались дрова, носилки. Закинулъ ихъ на плечо и, оставивъ фонарь у входа, пошелъ въ домъ слѣдомъ за сторожемъ. Оба были босы, но все-таки громко стучали по полу жесткими мозолистыми пятками. Наверху ихъ встрѣтила Лидія Львовна.

— Тихе... Вы всѣхъ разбудите, если будете стучать такъ громко... Вотъ сюда, въ первую дверь налѣво. Осторожнѣе, не уроните лампу.

Носилки поставили на полъ рядомъ съ кроватью. Лидія Львовна сняла съ мертваго одѣяло. Теперь онъ лежитъ въ одной короткой рубашкѣ, почти голый, съ судорожно сведенными колѣнями, обросшій черными волосами на желтовато-бѣлой кожѣ. И всѣ немного поблѣднѣли и старались не встрѣчаться другъ съ другомъ глазами, какъ-будто хотѣли сдѣлать какое-то, хотя и привычное, но дурное и недостойное дѣло.

Сторожъ взялъ мертваго за плечи, дворникъ за ноги. Почти безъ усилія подняли его на воздухъ, перемѣстились на два шага влѣво, ступая не вразъ, такъ что все тѣло тряслось и изгибалось, и опустили трупъ на носилки. Дворникъ опоздалъ. Мертвая голова лежала уже на туго натянутомъ полотнѣ и незряче глядѣла изъ-подъ приспущенныхъ вѣкъ, а голыя ноги еще висѣли въ воздухѣ. И странно было, что это холодное тѣло, еще совсѣмъ не успѣвшее утратить подобія человѣка, не испытываетъ боли и неудобства.

На носилкахъ Панина опять накрыли одѣяломъ всего, отъ пальцевъ ногъ до темени, и Лидія Львовна напомнила:

— Не забудьте принести одѣяло обратно. Вы опять потеряете его, какъ въ прошлый разъ.

— Вотъ уже. Надо намъ очень. Извѣстно, принесемъ.

Взялись за поручни носилокъ и пошли. Въ корридорѣ, замѣтивъ ихъ, съ подавленнымъ крикомъ ужаса метнулась въ сторону какая-то женщина, небрежно одѣтая, съ растрепанными волосами. Сидѣлка услышала этотъ крикъ и строго поджала губы.

По лѣстницѣ носилки спустились благополучно. Но голова встряхивалась на каждой ступенькѣ направо и налево, а одѣяло сползло внизъ, обнаживъ гладкій, блестящій лобъ и темныя брови.

У выхода шедшій впереди сторожъ поднималъ съ пола оставленный тамъ фонарь и нацѣпилъ его дужкой на поручень носилокъ.

Дождь переставалъ и едва моросилъ мелкой, сырой пылью, похожей на сгустившійся туманъ, но вѣтеръ дулъ еще злобными и неровными порывами, заставляя колебаться и дымить пламя фонаря. Свѣтъ падалъ скользкими, прыгающими пятнами, освѣщая то стѣну дома, то крайнія деревья сада, а подъ ногами на самой дорогѣ оставалась темнота и поэтому приходилось идти почти ощупью. Дворникъ выругался:

— Хозяинъ собаку не выпустить... А тутъ волокиты его... Шагай скорѣе, что ль!

Они спускались внизъ по дорогѣ, которая огибала уголь кладбища, возвращалась назадъ и внизу, какъ разъ подъ пансіономъ, приводила къ кладбищенскимъ воротамъ. Одинъ разъ сторожъ чуть не оступился съ обрыва. Выпустилъ изъ рукъ носилки, фонарь загремѣлъ и погасъ. Дворникъ опять выругался.

— Тыфу ты, голова еловая... Теперь коли глаза въ потемкахъ. Ну-ка, подымай... Вишь, разсыпался.

Отъ толчка мертвецъ свалился съ носилокъ и лежалъ лицомъ внизъ на мокромъ шоссе голый, бѣлый. Его перебросили обратно на носилки, накрыли одѣяломъ и съ грубой злобой утомленныхъ, одичалыхъ отъ работы людей, поволокли его къ воротамъ кладбища.

Подъ кладбищенской церковью былъ большой склепъ, сырой и грязный. Тамъ мертвецы лежали на высокихъ дере-

вяншихъ столахъ и ждали терпѣливо, когда ихъ зароютъ скороговоркой пробормотавъ надъ ними гнусавыя молитвы.

Бурная ночь старательно укрывала своей темнотой двухъ носильщиковъ и ихъ пошу. И они крались у самой стѣны, какъ воры и убійцы, а вѣтеръ все срывалъ съ трупа бѣлое одѣяло и бросалъ его на землю. Когда дворнику надоѣло поднимать его и водворять на прежнее мѣсто, онъ самъ закутался въ это одѣяло, какъ въ плащъ, потому что мертвому оно все равно совсѣмъ не было нужно.

На востокъ, надъ моремъ, начинало свѣтлѣть. Тучи рвались тамъ длинными, широкими полосами. Эти полосы свертывались, какъ свитки папируса, и открывали чистое небо, на которомъ чуть брезжили голубоватымъ сіяніемъ первый предвѣстникъ зари.

#### XIV.

Море дышитъ послѣ ночной бури. Медленно поднимаются и опускаются покатыя, упругія волны. Въ прозрачной зелени тянутся еще кое-гдѣ мутныя или синія полосы, поднятыя ночью съ глубины дна. Онѣ свѣтлѣютъ.

Такъ много солнца на бѣломъ полотнѣ набережной, на домахъ и садахъ, что, кажется, земля изнемогаетъ отъ наслажденія въ пышномъ богатствѣ его лучей. Дома очень бѣлы и деревья очень зелены, — и ни одной пылинки на шоссе улицъ и на лепесткахъ цвѣтовъ. Воздухъ, — густой, вкусный, синій — пьянитъ и зажигаетъ въ глазахъ огни веселья.

Идутъ по гладкимъ квадратнымъ плиткамъ тротуаровъ пестрыя толпы. Трещать бѣлыми заостренными крыльями на прозрачности моря шлюпки и яхты. Звенить музыка.

Кто-то красивый и мускулистый съ глупымъ отъ переживаемаго удовольствія лицомъ гребетъ, всѣмъ корпусомъ налегая на весла. Лодка ныряетъ на мертвой зыби. Прозрачныя горы поднимаются у низкихъ бортовъ. Жутко и весело.

Скачутъ верхомъ въ горы, и подковы звучно дробятъ дорожный щебень. Встрѣчный вѣтеръ ласкаетъ лицо, гладитъ



волосы. Мчатся выше, навстрѣчу солнцу. И изъ-подъ сильныхъ копытъ брызжетъ щебень.

Ходятъ по желтому песку аллеи, среди цвѣтовъ. На желтомъ пескѣ тѣни деревьевъ положили голубые узоры. Они переплетаются на лицахъ и одеждахъ, дѣлають всѣхъ интересными и непохожими. Когда маленькій ребенокъ плачетъ, всѣ удивленно смотрятъ въ его сторону. Зачѣмъ онъ плачетъ? Идутъ легко, какъ танцуютъ.

Музыкантамъ легко и весело играть, и дирижеръ бойко размахиваетъ своей длинной черной палочкой. Трубы гремятъ, поютъ скрипки. Турецкій барабанъ хохочетъ громкимъ басомъ:

— Ха-ха-ха! Бумъ! Бумъ!

Вверхъ, по одной изъ тѣхъ улицъ, которыя впадаютъ въ набережную, какъ рѣки въ море, бѣгутъ пѣшеходы съ палками въ рукахъ и съ сумками на спинахъ. Одинъ надулъ щеки и подражаетъ музыкѣ:

— Бумъ! Бумъ! Бумъ!

Въ сумкахъ у нихъ вино, которое возродитъ веселье, когда придетъ усталость. Выпьютъ его тамъ, гдѣ истоки горныхъ ручьевъ выбиваются изъ-подъ камней, гдѣ таятся пещеры и глубокія разсѣлины и столѣтнія сосны растутъ изъ скалистыхъ трещинъ. Наверху—только небо, и вся земля подъ ногами. Люди копошатся внизу, такіе маленькіе, смѣшные и добрые.

Пѣшеходы бѣгутъ неумоимо, съ размаху вонзая въ землю желѣзо своихъ палокъ. Если вино пролетѣтъ, они будутъ только смѣяться.

Пробѣгаютъ надъ кладбищемъ, мимо пансіона, какъ мимо всѣхъ остальныхъ домовъ, не замѣчая его. Пансіонъ тоже чисто вымылся, блеститъ и смотритъ весело.

На складныхъ кушеткахъ больные лежатъ послѣ завтрака. И такъ какъ солнце ласково грѣетъ ихъ послѣ вчерашней бури, имъ очень хочется разговаривать. Для нѣкоторыхъ это затруднительно, такъ какъ слишкомъ много мѣстъ сегодня пустоеть и разговорчивымъ людямъ приходится повышать голосъ, чтобы ихъ слышали сосѣди черезъ цѣлые ряды пустыхъ кушетокъ.

Фельдшерицы тоже нѣтъ на ея обычномъ мѣстѣ, у бѣсѣдки. Поэтому можно говорить громко, никого не стѣсняясь.

— Сегодня очень легко дышится, не правда ли?

— А многіе не вышли. Должно-быть, на нихъ повліяла ночная буря.

— Вотъ я такъ давно уже не чувствовалъ себя такъ великолѣпно. Послѣ обѣда собираюсь въ городъ. Пройдусь по набережной, заверну въ курзалъ.

— Васъ не пустятъ. Тамъ, внизу, еще слишкомъ сыро.

— Я думаю, что нѣсколько фелюгъ разбилось. Волны, говорятъ, перекачивались черезъ молъ и смыли въ море двухъ человѣкъ.

— Они утонули?

— Нѣтъ, спаслись... Должно-быть, не особенно пріятно такое купанье.

— Смыло въ море шестерыхъ, а не двухъ.

— Двухъ. Мнѣ говорила молочница. Она знаетъ.

— Нѣтъ, шестерыхъ. И одному проломило голову.

— Всего только двухъ. Вы постоянно возражаете изъ духа противорѣчія.

— Господа, а вы знаете, что у насъ кто-то умеръ сегодня ночью?

— Очень можетъ-быть. Мы никогда не узнаемъ объ этомъ во-время. Отъ насъ прячутъ покойниковъ.

— Куда же ихъ уносятъ?

— Видите церковь посреди кладбища? Подъ ней склепъ. Туда и уносятъ.

— И охота вамъ разговаривать объ этомъ? Посмотрите, какой хорошій день сегодня. А вы будете разстраиваться.

— Нѣтъ, это интересно. Кто же могъ умереть?

— У меня бессонница. Я слышалъ, какъ кого-то выносили... послѣ полуночи.

Пересчитываютъ пустыя кушетки, чтобы догадаться. Не хватаетъ Бобровской, Жени, Панина, Михаила, музыканта и еще многихъ.

Ерастовъ очень встревоженъ. Онъ не можетъ больше лежать и садится на своей кушеткѣ.

— Ради Бога... Вы навѣрное знаете, что кто-то умеръ?

— Конечно. Такими вещами не шутятъ.

— Не вѣрьте, Ерастовъ. Ему приснилось. Онъ каждую ночь бредитъ покойниками. Скажите лучше, пойдете ли вы сегодня въ городъ вмѣстѣ съ нами?

— Мы можемъ пойти на кладбище и посмотрѣть.

— Туда, въ склепъ? Ни за что въ жизни. Они, говорятъ, лежать почти голые, въ какихъ-то мѣшкахъ.

— Въ саванахъ.

Къ обѣду мы узнаемъ достовѣрно. Гдѣ же Лидія Львовна? Можно было бы спросить...

— Она не скажетъ. Думаютъ, кажется, что мы совсѣмъ глупы и ничего не понимаемъ. Обращаются съ нами, какъ съ дѣтьми.

Ерастовъ уже идетъ наверхъ. Онъ знаетъ почти навѣрное, кто убылъ изъ списка за эту ночь, но хочетъ еще провѣрить.

Верхній корридоръ съ двумя рядами одинаковыхъ, желтовато-бѣлыхъ дверей. Ерастовъ подходитъ къ самой крайней двери, съ силой дергаетъ ее къ себѣ. Она не подается, потому что заперта на ключъ. Пахнетъ формалиномъ.

Тогда Ерастовъ торопливо, не предупреждая стукомъ, входитъ въ номеръ Михаила.

Михаиль лежитъ одѣтый на постели, лицомъ къ стѣнѣ, и не оборачивается, когда хлопаетъ дверь.

— Вы знаете, что случилось сегодня ночью?.. Почему вы не отвѣчаете? Вы спите?

Михаиль медленно поворачивается. Смотритъ на Ерастова воспаленными отъ бессонницы глазами, неподвижнымъ и тяжелымъ, ничего не выражающимъ взглядомъ.

— Нѣтъ, я не сплю. Чего вы хотите?

— Панинъ... Панинъ...

— Я знаю. Чего вамъ отъ меня нужно?

Ерастовъ не обращаетъ никакого вниманія на рѣзкій тонъ своего товарища. Садится, машинально поднимаетъ съ полу и кладетъ на столъ роговую женскую шпильку.

— Странно, почему смерть такъ поражаетъ, даже когда ждешь ее. Должно-быть, потому, что у насъ здѣсь умираютъ

слишкомъ молодые. Или... или потому, что мы всё, какъ одной цѣпью, скованы одной и той же болѣзною...

Играетъ поднятой шпилькой, сжимаетъ вмѣстѣ ея кончики и смотритъ, какъ они, пружиня, быстро принимаютъ прежнее положеніе.

Михаилъ молча слѣдитъ за его движеніями и вдругъ темнѣетъ отъ злости.

— Что вы хотите выразить этой шпилькой? Зачѣмъ вы тычете ее мнѣ въ глаза? Ну, я спрашиваю васъ?

— Какой шпилькой? Вы слишкомъ разстроены, дорогой...

Михаилъ вырываетъ изъ рукъ Ерастова хрупкую вещицу, ломаетъ ее на мелкіе куски и бросаетъ въ уголъ.

— Что бы здѣсь ни случилось... вы не имѣете права дѣлать какіе-то намеки... Я самъ отвѣчаю за свои поступки и самъ могу судить ихъ... А, какъ вы мнѣ надоѣли всё, мерзкіе, грязные людишки... Это отвратительно... Я не могу здѣсь дышать, жить больше... А... а... а..

Ерастовъ льетъ на товарища воду изъ графина, разстегиваетъ ему тугой воротничокъ рубашки. Михаилъ бьется въ нервномъ припадкѣ, конвульсивными движеніями рветъ на себѣ одежду.

## XV.

Черезъ день Панина хоронятъ.

Лидія Львовна сидитъ въ бесѣдкѣ съ открытой книгой въ рукахъ. У нея спокойное, здоровое лицо, и легкій румянецъ играетъ на покрытыхъ бѣлымъ пушкомъ щекахъ. Она о чемъ-то думаетъ. По временамъ закрываетъ глаза и едва замѣтно улыбается.

Въ саду кашляетъ Женя, выплевываетъ кровяные сгустки въ синій флаконъ съ дезинфицирующей жидкостью. Она очень подурнѣла, потому что худоба не идетъ къ ней. Глаза мутные, тусклые. Зеленый огонь не вспыхиваетъ больше.

Проходитъ третій день, четвертый, пятый.

Кто-то умираетъ. Его унесутъ ночью.

Море черно отъ лодокъ, переполненныхъ людьми. Надъ головами пловцовъ развѣваются широкія знамена. И лодки,



всѣ вмѣстѣ, описываютъ плавные круги, сходятся и расходятся. На морѣ—демонстрація, и полицейскій катеръ безсильно кружится вокругъ черной, украшенной знаменами, массы. Бризъ доносить до пансіона отрывки свободной пѣсни.

Больные смотреть внизъ.

— Какъ это красиво!.. А сколько народу на берегу,—смотрите!

— Да, да... Должно-быть, это очень весело.

— Если бы я меньше лихорадилъ, я спустился бы внизъ. Какъ вы думаете?

Кто-то умереть. Его унесутъ ночью.

---

## За штатомъ.

Въ пятницу послѣ обѣда, какъ разъ въ тотъ часъ, когда полицейскій приставъ зажитатнаго города Кошкармы, для большей правильности пищеварительнаго процесса, принималъ горизонтальное положеніе, вся колонія ссыльныхъ, въ полномъ составѣ, отправилась ловить рыбу. Зотычъ и Евсей Мокрухинъ несли бредень, а Перайшвили — жестяное ведро, для помѣщенія туда предполагаемаго улова. Павелъ Павловичъ Ступинъ, онъ же Палъ Палычъ, шелъ налегкѣ, заложилъ руки въ карманы и посвистывалъ. Вадекумъ, какъ аборигенъ, хорошо знакомый съ мѣстоположеніемъ естественныхъ богатствъ Кошкарминскаго края, указывалъ дорогу, а Роза собирала чахлые осенніе цвѣты, кое-гдѣ сохранившіеся еще у самыхъ береговъ рѣчки... Съ каждаго цвѣтка, прежде, чѣмъ присоединить его къ букету, приходилось сдуть слой легкой и сѣрой песчаной пыли.

Кошкарминская природа и вообще выглядѣла довольно уныло, а теперь, послѣ долгой лѣтней засухи, была, по мнѣнію Палъ Палыча, даже совсѣмъ отвратительна. Время отъ времени онъ вынималъ руки изъ кармановъ, проводилъ ладонью по вспотѣвшему лбу, сдвигая для этого на затылокъ широкополую соломенную шляпу, и взывалъ:

— Товарищъ Вадекумъ, мнѣ жарко. Гдѣ же ваши омота?

— А вы потерпите! — совѣтовалъ Вадекумъ и прибавлялъ мѣстную поговорку: — Какъ скоро, такъ сейчасъ.

По обѣ стороны медленно усыхавшей въ своихъ низкихъ берегахъ рѣчки тянулась степь. Позади осталась темнымъ,

такимъ же плоскимъ, какъ степь, пятномъ Кошкарма, а немного ниже по теченію стояла крошечная, березъ изъ пятидесяти, роща. Далеко на горизонтѣ, какъ обманчивый призракъ, маячила едва замѣтная голубая полоска,—горы.

Паль Палычъ посмотрѣлъ на эту полоску и вздохнулъ.

— Эхъ, туда бы!.. Ну кто можетъ повѣрить, что до нихъ больше восьмидесяти верстъ? Тамъ сейчасъ, навѣрное, хорошо, прохладно... Воздухъ чистый... А здѣсь у меня уже въ горлѣ першить отъ пыли. Какая это прогулка?

Нагнулся, сорвалъ изъ-подъ ногъ увядающій голубенькій цвѣтокъ и передалъ его Розѣ.

— Возьмите, если уже собираете... Только я, на нашемъ мѣстѣ, не сталъ бы и рукъ марать объ такую гадость. Какая въ нихъ красота?

Роза покачала головой.

— Все-таки цвѣты. Они даже пахнутъ немного, особенно вотъ эти, желтые. Понюхайте!

Паль Палычъ уклонился и сморщился.

— Избавьте! Еще прыщи на носу сядутъ. Я не люблю.

Вадемекумъ остановился и распростеръ руки.

— Господа, можно и здѣсь.

Зотычу мѣсто не понравилось. Онъ недовольно тряхнулъ своей черной, съ сильной просѣдью, шевелюрой и спросилъ:

— Почему именно здѣсь? Развѣ вы не видите — тина?

Вадемекумъ съ презрѣніемъ вдавилъ подошву сапога въ сѣрую грязь и пожалъ плечами.

— Да и дальше то же самое. Все равно.

Паль Палычъ возмутился.

— Такъ зачѣмъ же вы вели насъ въ такую даль, уважаемый?

— Чтобы вы прогулялись! — невозмутимо отозвался Вадемекумъ. — Сидите дома и киснете. Это и для здоровья не полезно... А чебаки вездѣ одинаковые. И здѣсь, и въ другомъ мѣстѣ много не наловимъ.

Перайшвили молча поставилъ свое ведерко, сѣлъ и началъ снимать сапоги. Мокрухинъ послѣдовалъ его примѣру. Зотычъ, недовольный предательствомъ Вадемекума, колебался и критически осматривалъ мѣстность.

И ближе, и дальше было все одно и то же: выгорѣвшая степь, тинистая рѣчка, кое-гдѣ заросшая по берегамъ островками камышей. Въ концѣ-концовъ, въ словахъ Вадемекума была доля истины. Зотычъ вздохнулъ, какъ человѣкъ, принимающій близко къ сердцу всякое предпріятіе, сѣлъ рядомъ съ Перайшвили и тоже принялся разуваться.

— Господа, позвольте! — предупредилъ Вадемекумъ. — Тому, кто будетъ заводить, придется и брюки снять. Одними сапогами не обойтись.

— Но, вѣдь, съ нами Роза! — въ свою очередь замѣтилъ Паль Палычъ. — Уже вы какъ-нибудь...

— Ничего, я и въ брюкахъ! — рѣшилъ Мокрухинъ. — Послѣ высохнутъ.

Подогнулъ свои парусиновыя брюки выше колѣнъ, обнаживъ мускулистыя икры, и полѣзъ въ рѣку.

— Не бойся, товарищъ, иди смѣло! — иронизировалъ Перайшвили. — Тонуть будешь — Паль Палычъ вытащитъ.

Мокрухинъ дѣловито переступалъ съ ноги на ногу, придерживая руками закатанныя брюки, чтобы онѣ не вымокли раньше времени, и воспринималъ ощущенія.

— Вода теплая, словно чай у Зотыча, — а съ горь бѣжить. Это значить, пока течетъ по степи — успѣваетъ нагрѣться.

Зотычъ, снявъ сапоги, расправлялъ на берегу маленькій, заштопанный во многихъ мѣстахъ бредень. Онъ представлялъ собою коллективное имущество колоніи и достался ей, благодаря содѣйствію Вадемекума, задешево, но пока еще никакой практической пользы не принесъ. Раза два съ нимъ уже рыбачили, но ничего не поймали.

Больше всѣхъ тогда былъ огорченъ Зотычъ.

— Главное — я очень хорошо знаю, что вообще рыба есть. При мнѣ ловили.

Вадемекумъ утѣшалъ и говорилъ, что это даже съ самыми опытными промышленниками случается. Сначала нѣтъ удачи, а потомъ вдругъ повезетъ. Зотычъ вѣрилъ въ житейскую опытность молодого товарища и временно утѣшился.

Да Вадемекумъ и вообще, помимо рыболовныхъ предпріятій, давно уже сдѣлался неперемѣннымъ членомъ ссыль-



ной колоніи, хотя родился ровно двадцать лѣтъ тому назадъ въ самой Кошкармѣ и дальше ближайшаго областного города никуда не ѣздилъ. Зотычъ первый совратилъ его съ праваго пути въ социалистическую вѣру, а затѣмъ образованіе новообращеннаго закончили Паль Палычъ и Роза, хотя не совсѣмъ въ томъ направленіи, котораго придерживался Зотычъ. Личное положеніе Вадемекума облегчало ему возможность постоянныхъ сношеній съ ссыльными: онъ былъ одинъ сынъ у матери — вдовы и большой баловень.

Въ свое время попала ему въ руки и нелегальная брошюрка, единственная, находившаяся тогда въ распоряженіи колоніи: довольно таки старинная вещица полемического характера, подъ названіемъ: „Vademecum“ для „Рабочаго Дѣла“. Новообращенному почему-то очень понравилось новое иностранное слово. Онъ повторялъ его кстати и некстати недѣли двѣ подъ рядъ, а затѣмъ оно совершенно незамѣтно превратилось въ кличку.

— Вадемекумъ, намъ васъ нужно!

И Вадемекумъ, съ горячей готовностью неофита, оказывалъ товарищамъ всевозможныя услуги, нѣсколько облегчавшія бремя кошкарминскаго существованія. А Зотычъ гордился имъ, какъ своимъ дѣтищемъ, и гордо говорилъ Розѣ или Паль Палычу:

— Положимъ, вы его совратили въ вашъ толкъ. Но я заложилъ фундаментъ, заронилъ въ душу первую искру. Онъ — мой. И онъ еще кое-что сдѣлаетъ въ жизни. Онъ сдѣлаетъ...

— Паль Палычъ, присоединяйтесь! — упрашивалъ Вадемекумъ расположившагося на берегу, въ возможно удобной позѣ, Стушина. — А то мы и уши не дадимъ.

Паль Палычъ протестовалъ.

— Ну, вотъ еще! Ваша рыба, а моя кастрюлька и хлопоты по изготовленію. Такъ давно было условлено.

— Оставьте его! — сказалъ Перайшвили со своимъ рѣзкимъ грузинскимъ акцентомъ. — Онъ ручки запачкаетъ.

Волосатыми ногами съ бронзовой кожей полѣзъ за Мокрухинымъ.

Паль Палыч лѣниво смотрѣлъ со своего мѣста на хлопотливую возню, которую подняли рыболовы, и зѣвалъ отъ скуки. Роза окончательно составила свой букетъ, перевязала его ниточкой и показала сосѣду.

— Красиво?

— Если вамъ такъ хочется — красиво. А въ дѣйствительности — пыльный, изѣденный червями бурьянъ.

— Какой вы... недовольный. Нѣтъ лучшаго — наслаждайтесь и этимъ... Когда я сидѣла, такъ вырастила въ своей камерѣ, прямо въ полу, подсолнечникъ. Полъ былъ деревянный, некрашенный, и въ щеляхъ между досками набился слой грязи пальца на два. Въ этой грязи онъ и выросъ: худенькій, блѣдненькій... А мнѣ нравился... Потомъ я его нечаянно сломала и чуть не плакала.

— Ну, что же... значить, вкусы у насъ разные! — протянулъ Паль Палычъ, глядя на Мокрухина, который залѣзъ въ воду уже почти по поясъ. — Вы — идеалистка, да еще и эстетка. Помѣсь Зотыча съ...

— Съ кѣмъ?

— Не знаю. Нѣтъ у насъ такого. Мы всѣ больше по части жизненной прозы. Только за послѣднее время что-то подвинулись.

Роза бережно завернула стебельки букета въ носовой платокъ и, не спѣша, отвѣтила:

— Это очень естественно. Революція приближается, Паль Палычъ. А въ ней есть столько поэзии, что она заражаетъ даже и насъ, заштатныхъ... черезъ всѣ горы и степи, которыя насъ отдѣляютъ отъ жизни. Помните, какъ Евсей на-дняхъ расфантазировался? А, вѣдь, онъ — трезвый человекъ.

— Да, фантазируемъ! — согласился Паль Палычъ. — Я думаю, мы потому именно и фантазируемъ, что слишкомъ далеки отъ жизни... Баррикады-то только на картинкахъ хороши. А на самомъ дѣлѣ, вблизи, — грязь, кровь, беспорядокъ... И еще съ провокаторомъ на придачу...

— А красота? Величественной, огненной красоты вы не видите? Красоты разрушенія, которое созидаетъ, красоты смерти, которая творитъ? Знаете, я думаю, что такой че-

ловѣкъ, какъ вы, нигдѣ и никогда не будетъ доволенъ... Вотъ, нѣсколько лѣтъ подъ рядъ вы, худо ли, хорошо ли, но боролись за то, чтобы приблизить часъ революціи и, въ концѣ-концовъ, попали за это въ Кошкарму, — а теперь, когда желанный часъ наступаетъ — ноете, киснете и толкуете о грязи.

— Голубушка, да я развѣ не радуюсь? — И Паль Палычъ сдѣлалъ жалобное лицо. — Я только слишкомъ сухой человекъ, вы понимаете? Я прозаикъ. Вы видите общую картину и приходите въ восторгъ, а я стараюсь учитывать реальное соотношеніе силъ и... и боюсь. А въ сущности, ни вы, ни я — ничего не знаемъ, да и не узнаемъ, пока будемъ сидѣть вотъ на этомъ живописномъ берегу.

Бредень уже подводили къ берегу. Мокрухинъ и Перайшвили тянули за концы мокрую мережу, облипшую слизистыми, бурыми водорослями, а Зотычъ подпрыгивалъ на одномъ мѣстѣ отъ волненія, дирижировалъ и мѣшалъ. Вадемекумъ спокойно наблюдалъ за ходомъ дѣла и, перебивая Зотыча, отдавалъ приказанія.

— Евсей, поскорѣе! Глубже захватывай, а то вся подъ низъ уйдетъ... Калиникъ, стой! Стой на одномъ мѣстѣ! Пусть онъ заходитъ...

Роза засмѣялась.

— Давайте, загадаемъ. Если они что-нибудь поймаютъ сейчасъ, то — будетъ удача.

— Ну-у... — Паль Палычъ скептически вытянулъ нижнюю губу, отчего его острая бородка тоже подалась впередъ и сдѣлала его похожимъ на Мефистофеля. — Лучше бы вы наобороть... Зачѣмъ навѣрняка пророчить погибель?

И поднялся вмѣстѣ съ Розой, чтобы собственными глазами убѣдиться въ результатѣ гаданья.

Между тѣмъ, волненіе Зотыча дошло до кульминаціоннаго пункта. Обругавъ Вадемекума, тянулъ Евсея, чтобы тотъ поскорѣе выходилъ на берегъ, и присѣлъ, какъ надъ безцѣннымъ сокровищемъ, надъ сбившимся въ комокъ бреднемъ. Сквозь мокрая нити что-то блеснуло и, благодаря целовкому движенію Зотыча, опять спряталось.

— Есть! — съ чувствомъ удовольстворенія сказалъ Вадекеумъ. — Только вы осторожныѣ... Уйдетъ!

Общими усиліями извлекли изъ самой глубины мережи маленькую, вертлявую рыбку, которая забила, свиваясь колечками, въ рукахъ Зотыча.

Вадекеумъ посмотрѣлъ и опредѣлилъ рѣшительнымъ тономъ знатока:

— Это — пескаръ. Сажайте его въ всерко. Пригодится. Роза передернула плечами.

— Брр... Гадость. На маленькую змѣю похоже. Неужели это ѣдятъ?

— Конечно, ѣдятъ! — съ нѣкоторой долей обиды сказалъ Вадекеумъ. — И даже вкуснѣ чебака. У насъ только двѣ рыбы и есть: чебакъ и пескаръ.

— Видите, какая великолѣпная удача! — разсмѣялся Паль Палычъ. — Теперь вашъ оптимизмъ, Роза, долженъ возрасти еще процентовъ на пятьдесятъ.

Перемѣнили мѣсто и опять завели бредень. Теперь уже полѣзъ въ воду и самъ Вадекеумъ.

Роза и Паль Палычъ не пошли за другими. Пропагандистка осторожно пробралась черезъ камыши и принялась мочить въ водѣ завернутые платкомъ стебельки букета, а Паль Палычъ со вздохомъ присѣлъ на высохшую кочку, увѣнчанную на верхушкѣ пучкомъ морковника и, заслонивъ ладонью глаза отъ яркаго солнечнаго свѣта, смотрѣлъ на далекія горы.

Съ новаго мѣста рыбной ловли доносились прежніе азартные крики любителей. И Паль Палычъ удивлялся, какъ это имъ хочется кричать и двигаться, когда въ тепломъ осеннемъ воздухѣ стоять, почти осязается, непроходимая лѣнь и скука.

Откуда-то — должно-быть, съ городской окраины, — тянуло слегка запахомъ горѣлаго навоза. Гдѣ-то звонилъ колоколъ, безслѣдно теряя жидкіе, дребезжащіе звуки въ безграничной пустотѣ. По дорогѣ изъ города въ Болонь — большое село съ знаменитой на всю область ярмаркой — неистово скрипѣла киргизская арба, запряженная медленно и величественно шагавшимъ верблюдомъ съ тощими, запав-



шими горбами. Дорога уходила къ самому горизонту прямо, какъ пробитая по шнуру, и только въ одномъ мѣстѣ, минуя маленькое степное озерко, дѣлала едва замѣтный изгибъ. Верблюды отмѣривали одинъ за другимъ свои аршинные шаги и все не пропадалъ изъ глазъ, какъ плывущая по спокойному морю лодка.

Роза вернулась на сухой берегъ, сѣла. Паль Палычъ оторвалъ взглядъ отъ дороги и такими же скучающими и равнодушными глазами началъ смотрѣть на Розу. Долго молчали, потому что знали, что впереди будетъ еще много такихъ же длинныхъ, ничѣмъ не заполненныхъ часовъ и не торопились высказываться.

— Послушайте, Роза!—позволь, наконецъ, Паль Палычъ.

Та задумалась и не сразу отвѣтила.

— Что вамъ?

— Скажите, вы почему пошли въ партійную работу?

Пропагандистка сдѣлала головой и плечами свой обычный, полунедоумѣвающий, полубрезгливый жестъ.

— Я не понимаю... какъ это „почему?“ Потому же, почему и всѣ другіе, вѣроятно... Вы, Мокрухинъ, Зотычъ... Надумались и пошли.

— Нѣтъ, я вотъ про что. Я замѣтилъ, что по большей части въ революціонную работу идутъ женщины некрасивыя, мужеобразныя или съ какимъ-нибудь физическимъ недостаткомъ. Ходячія карикатуры, а не женщины. И мнѣ всегда это было немножко обидно. Обыкновенно онѣ и по темпераменту соотвѣтствуютъ внѣшности: узкія, тупыя, съ непремѣннымъ слѣпымъ обожаніемъ какой-нибудь партійной звѣзды, полнымъ отсутствіемъ такта и... Вообще — не то, что нужно. А у васъ наружность самая обыкновенная, приличная и совсѣмъ нѣтъ этихъ типичныхъ чертъ. Такія, какъ вы, всегда меня интересовали. Съ ними пріятнѣе имѣть дѣло и онѣ полезнѣе. Вотъ я и спрашиваю — что именно толкнуло васъ...

Роза опять сдѣлала короткое и рѣзкое движеніе верхней частью туловища.

— А развѣ я сама знаю? Это не сразу... Сначала, можетъ-быть, подала одинъ палецъ, а потомъ затянуло и всю.

Это обычно и совсѣмъ неинтересно... А что у васъ за страсть къ классификаціямъ и опредѣленіямъ? Относительно женщинъ вы не правы. Мнѣ обидно. Развѣ мы такъ уже мало дѣлаемъ?

Паль Палычъ не отвѣтилъ. Онъ опять уже смотрѣлъ на дорогу, жмурясь отъ солнца, и внимательно слѣдилъ за плавно подвигавшейся арбой. Она сильно уменьшилась въ размѣрахъ, походила, вмѣстѣ съ верблюдомъ, на продолговатую темную черточку, а до черты горизонта ей было все такъ же далеко, какъ и раньше...

— Не доберется! — пробормоталъ Паль Палычъ и покачалъ головой. — Никогда не доберется... Ничего нѣтъ скучнѣе степной дороги. Ъдешь, какъ-будто безъ всякой цѣли, и со всѣхъ сторонъ, впереди, позади — все то же самое. Однообразіе мертвить, опутываетъ какой-то одурью. Поэтому всѣ степняки любятъ спать.

— Господа, три чебака есть — и одинъ, навѣрное, фунта въ полтора! — сообщилъ издали Вадекеумъ.

— Пойдемте къ нимъ, — предложила Роза. — Все-таки веселѣе. По крайней мѣрѣ, не будете философствовать.

Вся компанія опять соединилась вмѣстѣ. Зотычъ разглядывалъ, держа за хвостъ, большого чебака и, въ концѣ-концовъ, выпустилъ изъ рукъ. Чебакъ забился и запрыгалъ по плоскому берегу, выбирая вѣрное направленіе — къ водѣ. Вадекеумъ успѣлъ его благополучно изловить, спустил въ ведерко и заворчалъ.

— Вы всегда... Руки-то у васъ, какъ крюки...

Удача еще больше вдохновила рыболововъ. Завели бредень въ третій разъ, въ четвертый. Добыли еще пять чебаковъ, одного пескаря и двухъ ни въ чемъ неповинныхъ лягушекъ.

— Ну, господа, въ пятый разъ и въ послѣдній! — предложилъ Вадекеумъ. — Мнѣ, вѣдь, нужно еще до вечера насчетъ корреспонденціи справиться.

Безконтрольное полученіе писемъ для ссыльной колоніи было одной изъ наиболѣе крупныхъ услугъ, которыя оказывалъ Вадекеумъ. Сметливый „аборигенъ“ сумѣлъ какимъ-то, ему одному извѣстнымъ, путемъ воспользоваться адре-

сомъ одного богатаго и стоявшаго внѣ всякихъ политическихъ подозрѣній купца изъ Болони. Работникъ купца раза два въ мѣсяцъ прїѣзжалъ по дѣламъ въ городъ и привозилъ все полученное.

— Уха-то у насъ будетъ, значить, со сладкимъ! — обрадовался Мокрухинъ. — Давненько ничего не получали... Какъ-то тамъ наши дѣлами ворочаются?

— Конечно, какъ прежде — меланхолично рѣшили Перайшвили. — Медвѣдя не убилъ, а шкуру дѣлать.

Зотычъ былъ другого мнѣнія.

— Теперь уже это кончилось. Только мы здѣсь, со скуки, о программахъ споримъ. Рѣшительные дни... Это не то, что прежде.

И въ пятый разъ полѣзъ въ воду на помощь промокнушему до самаго ворота Евсею.

Однако же, полоса удачи, очевидно, уже миновала. Въ пятый разъ вытащили бредень уже только съ одними слизистыми водорослями, да съ какой-то полумертвой лягушкой, которая осталась сидѣть на берегу и не шевелилась.

— Ходи домой... глупая тварь! — посовѣтывалъ ей Перайшвили и ногой столкнулъ въ воду.

---

Вечеромъ было собраніе на квартирѣ у Палъ Палыча. У него въ „Россіи“ осталась богатая родня и, поэтому, въ финансовомъ отношеніи онъ былъ болѣе обезпеченъ, чѣмъ вся остальная колонія, взятая вмѣстѣ. Занималъ квартиру изъ двухъ комнатъ съ кухней и сѣнями, и платилъ за нее семь рублей въ мѣсяцъ, что, по мѣстнымъ цѣнамъ на жилья помѣщенія, было довольно-таки дорого. Зато домъ былъ построенъ изъ довольно толстаго сосноваго лѣса, а не изъ березовыхъ оглобелъ, а свѣтлыя и достаточно высокія, чисто выбѣленные комнаты выглядѣли довольно весело. Въ одной комнатѣ жилъ Евсей Мокрухинъ, а въ другой, побольше, помѣщался самъ Палъ Палычъ. Она же служила и постояннымъ мѣстомъ для собраній.

Ждали Вадемекума.

Перайшвили варилъ на кухнѣ, въ несуразной и вѣчно дымящей русской печи, нѣкоторое подобіе ухи изъ только-

что пойманной рыбы, съ большой примѣсью перцу и луку. Зотычъ помогаль ему чистить картофель, который и долженъ былъ служить основнымъ питательнымъ элементомъ, такъ какъ отъ весьма ограниченного количества чебаковъ наваръ получался скудный.

Въ самомъ разгарѣ кулинарныхъ хлопотъ Перайшвили замѣтилъ подь кухоннымъ столомъ бутылку съ водкой и сурово указаль на нее Зотычу:

— Опять?

Зотычъ какъ-будто сконфузился и отодвинуль бутылку подальше.

Голубчикъ, это я на всякій случай... Вдругъ придуть хорошія вѣсти. Нельзя же...

Въ комнатѣ Паль Палыча было уже накурено, несмотря на открытое окно. Впрочемъ, окно, повидимому, совсѣмъ не вытягивало дыма, а только пропускало въ квартиру мелкую и летучую уличную пыль и, поэтому, по большинству голосовъ, рѣшено было его закрыть.

Паль Палычъ нетерпѣливо ходилъ взадъ и впередъ, то и дѣло выглядывая въ сѣни, чтобы узнать, не идетъ ли желанный вѣстникъ. Мокрухинъ крутилъ тоненькія папироски изъ крѣпкаго и вонючаго табаку и, когда одна догорала, сейчасъ же готовилъ другую, выбрасывая окурокъ изъ деревяннаго мундштука ловкимъ ударомъ ладони. Роза тоже курила и — тоже чаще, чѣмъ обыкновенно, потому что и ее томило нетерпѣніе. Писемъ не было почти уже три недѣли, а доходившія за этотъ промежутокъ времени газеты были полны неясными и загадочными намеками на быстрый ростъ чего-то большого, долгожданнаго и, все-таки, неожиданнаго. И возбужденное воображеніе рисовало уже грандіозныя картины воплощавшихся въ дѣйствительность мечтаній.

Евсей хотѣлъ быть спокойнымъ и нѣсколько разъ заговариваль о пустыхъ, обыденныхъ вещахъ, но ему отвѣчали вяло и коротко—и онъ замолчалъ.

Роза думала вслухъ.

— И вдругъ мы узнаемъ, что все разбито, уничтожено... все разсыялось, какъ сонъ... А мы — у того же разбитаго корыта...



— Историческая необходимость!—твердо сказал Мокрухинъ, закуривая новую папиросу.—Стало-быть, въ худшемъ случаѣ можетъ произойти только временная заминка, а не поражение...

— Но, Боже мой... А вдругъ мы ошиблись, Евсей? Вдругъ все это еще не назрѣло, началось слишкомъ рано? Сколько силъ погибнетъ даромъ, безъ пользы...

— Погибнуть...—сердито пробурчалъ Мокрухинъ.—А вы думали и революцію сдѣлать, и цѣлыми остаться?

Подошедшій Паль Палычъ иронически усмѣхнулся.

— Да, да, вы правы, Евсей... Особенно мы—заплатные, конечно, мы тоже погибнемъ подъ огненнымъ мечомъ революціи, сидя въ своей степи...

— А я говорю, что довольно!—кричалъ въ кухнѣ Перайшвили на Зотыча.—Больше желудка не скушаешь.

Съ бѣлой стѣны задумчиво и слегка скептически смотрѣлъ портретъ Маркса. Немного пониже были пришпилены двѣ „нелегальныхъ“ открытки: Финляндія, въ видѣ женщины, спасающей отъ нападенія разъяреннаго орла хартію закона, и „Свобода ведетъ народъ“,—плохая копія нѣмецкой агитаціонной картинки. Всѣ эти произведенія тоже представляли общественную собственность и висѣли у Паль Палыча только благодаря общественному характеру его комнаты.

На улицѣ было уже темно. Фонарей въ городѣ не водилось, а луна была на ущербѣ и не свѣтила. Въ пузырчатыхъ и неровныхъ оконныхъ стеклахъ смотрѣло что-то ровное и синевато-черное, какъ-будто тамъ висѣлъ кусокъ плотнаго и темнаго сукна.

— Надо бы ставни закрыть! — вспомнилъ Евсей. — А то опять Осипъ Александровичъ будетъ подъ окнами ходить...

И такъ какъ никто не отозвался на его предложеніе, всталъ и самъ вышелъ на улицу.

Конецъ августа сказывался, и ночи стояли уже довольно прохладныя. Съ горной стороны тянулъ легкій вѣтерокъ и, какъ-будто, несъ съ собою чистую свѣжесть снѣжныхъ вершинъ. На улицѣ было пусто, безлюдно. По краямъ, у до-

мовъ, она заросла травой и бурьяномъ и только въ срединѣ лежалъ толстый, мягкій слой пыли. Лаяли собаки.

Мокрухинъ, не спѣша, закрылъ ставни и остановился у калитки. Возвращаться въ комнату не хотѣлось. Тамъ были все тѣ же люди, которыхъ онъ зналъ уже больше года и которые за послѣднее время успѣли надоѣсть, хотя Евсей рѣдко ссорился и, вообще, чувствовалъ къ своимъ невольнымъ сожителямъ что-то, похожее на теплую благодарность.

Арестовали его еще два съ половиной года тому назадъ. Взяли въ подпольной типографіи, на работѣ и, такъ какъ его дѣло было ясное, то продержали, до приговора, сравнительно недолго: мѣсяцевъ восемь. Почти наканунѣ новаго закона о политическихъ преступленіяхъ отправили административнымъ порядкомъ въ ссылку. Поселили сначала, за переполненіемъ Якутки, въ Вологодской губерніи, но оттуда очень быстро, за склонность къ побѣгу, перевели сюда, въ сибирскую степь. Здѣсь онъ встрѣтилъ всѣхъ своихъ компаньоновъ уже на мѣстѣ и—началъ учиться.

Въ „технику“ онъ попалъ изъ типографскихъ рабочихъ и, кромѣ рвенія и революціоннаго темперамента, никакого багажа за собой не имѣлъ. Учиться на волѣ было некогда. Кое-какъ бросили ему тогда, на благодарную почву, нѣсколько несвязныхъ отрывковъ политической экономіи и исторіи, да на томъ и покончили. Требовались рабочія руки, а не ученые умы. Въ ссылкѣ времени оказалось достаточно. Кромѣ того, Палъ Палычъ обладалъ хорошими знаніями, а Роза—умѣньемъ передавать ихъ въ популярной и понятной формѣ. Послѣ недолгихъ колебаній Мокрухинъ отложилъ въ долгій ящикъ всякую мысль о побѣгѣ и засѣлъ за „развитіе“. И ссылкой остался очень доволенъ.

— Развѣ можно иначе? Прежде-то я былъ, можно сказать, въ родѣ мертвaго винтика, а теперь—живой человѣкъ. На всякую специальность годенъ. Хоть сейчасъ меня на конференцію выбирай.

Началъ даже брать у Палъ Палыча уроки нѣмецкаго языка.

— Буду „Капиталь“ въ подлинникѣ читать. Или, на примѣръ, рѣчи Бебеля. Хорошо-то какъ! Да если бы мнѣ еще мѣсяца на четыре за границу...

За послѣднее время, съ участвующимся приходомъ новыхъ вѣстей — тревожныхъ и радостныхъ, — занятія какъ-то сами собою разстроились. Не стало той атмосферы, ровной и невозмутимо-спокойной, которая такъ благопріятствовала погруженію въ самыя бездны трудовой теоріи цѣнности или нѣмецкой грамматики. Тратили время по-пустому и, поэтому, еще хуже скучали, но заниматься не могли. И ждали, трепетно ждали.

Мягко застучали по пыли чьи-то шаги. Мокрухинъ насторожился.

— Вадемекумъ, ты?

— Я самый.

Вмѣстѣ вошли во дворъ, разомъ проскользнувъ въ узкую калитку. Евсей пыхнулъ папирской и освѣтилъ красноватымъ отблескомъ лицо товарища.

— Есть что-нибудь?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Въ сѣняхъ ждалъ Паль Палычъ и тоже встрѣтилъ аборигена вопросомъ:

— Есть?

Но злостный Вадемекумъ и его не удостоилъ отвѣтомъ, а прошелъ въ „общественное собраніе“, повѣсилъ на гвоздикъ картузь, высморкался и тогда ужъ, съ нарочитой медленностью, полѣзъ въ карманъ. Изъ кухни явились Перайшвили и Зотычъ. Всѣ сѣли въ кружокъ и жадными глазами смотрѣли на аборигена.

— Да ну же! — стоналъ Зотычъ. — И какъ это ему не стыдно!

Вадемекумъ извлекъ, наконецъ, довольно толстый пакетъ изъ сѣрой оберточной бумаги и торжественно потрясъ имъ въ воздухъ. Тутъ уже на него напали и отобрали добычу силой.

Въ пакетѣ оказалось цѣлыхъ пять нераспечатанныхъ конвертовъ съ знакомыми условными знаками на адресѣ. Въ одномъ было длинное письмо, а въ остальныхъ раздѣленная по листочкамъ и тщательно спрессованная литература.

— Вы понимаете? На цѣлую ночь хватить! — упивался восторгомъ Зотычъ.

Громогласное чтеніе писемъ было прерогативой Палъ Палыча, такъ какъ онъ читалъ очень внятно, съ нѣкоторымъ драматизмомъ и, кромѣ того, если дѣло шло о теоретическихъ вопросахъ, могъ тутъ же давать нужныя поясненія.

Стѣснились надъ столомъ, голова къ головѣ, разглядывая листочки тонкой, почти папиросной бумаги съ убористой мелкой печатью. Отъ этихъ листовъ шелъ даже какой-то особенный запахъ,—запахъ кипучей жизни, борьбы и свободы. И каждое, напечатанное на этой бумагѣ слово, какъ слово священной книги для вѣрующаго, принимало особое, вдесятеро сильнѣйшее, значеніе.

— Товарищи, къ порядку! — взывалъ Палъ Палычъ. Въ обыденной жизни онъ рѣдко употреблялъ это, тогда еще не модное, обращеніе, но теперь его настроила торжественность минуты. Нельзя было говорить иначе на порогѣ священнодѣйствія.

Кое-какъ успокоились и разсѣлись опять по мѣстамъ. Одинъ Зотычъ не могъ примириться съ сидячимъ положеніемъ и стоялъ предъ Палъ Палычемъ прямо, какъ соляной столбъ, сѣдой и растрепанный, рѣзко выдѣляясь отъ всѣхъ остальныхъ своимъ морщинистымъ лицомъ старика.

Приступили къ письму. Палъ Палычъ читалъ отчетливо и раздѣльно, повторяя по нѣскольку разъ тѣ фразы, смыслъ которыхъ не сразу улавливался. Письмо тоже было полно темныхъ инициаловъ и кличекъ и загадочныхъ фразъ, похожихъ на эзоповскій языкъ подцензурныхъ газетъ, но все же это было совсѣмъ не то, что газета. Тамъ боялись красныхъ чернилъ; здѣсь — всевидящаго ока охранныхъ отдѣленій, а между двумя этими инстанціями существуетъ, какъ-никакъ, огромная разница. Письмо почти безъ обиняковъ говорило о фактахъ, событіяхъ и запиналось только на личностяхъ. Газетныя свѣдѣнія оставались только намеками, а тутъ получалась опредѣленная картина.

Четыре большихъ, убористо исписанныхъ страницы читались догло. Но когда чтеніе кончилось, всѣ слушатели единогласно признали, что письмо имѣетъ существенный недостатокъ: слишкомъ коротко.



— Подразнили только! — негодовал Мокрухинъ. — Лѣнь, видно, было еще хоть страничку-то нацарапать.

По существу содержаніе письма пока еще не обсуждали. Слишкомъ сильно, слишкомъ ярко было впечатлѣніе, и мысли не успѣли оформиться. Перешли къ литературѣ. Паль Палычъ прочелъ сначала только одни заголовки статей, что бы выбрать, съ чего начать.

— Да ваяйте по порядку, все сначала! — настаивалъ Мокрухинъ.

Такъ и сдѣлали.

Сжатость, ляпидарность частнаго письма смѣнили длинныя и округленныя литературныя фразы. Онѣ, все-таки, не такъ близко задѣвали самое сердце, и къ нимъ можно было относиться спокойнѣе. Зотычъ съѣлъ. Перайшвили вертѣлъ въ рукахъ кухонный ножъ и, когда ему что-нибудь не нравилось въ чтеніи, слегка постукивалъ костянымъ черенкомъ по выступающимъ подъ смуглой кожей казанкамъ лѣвой руки.

Первая „по порядку“ статья была страшно длинна. Паль Палычъ, повысивъ голосъ, произнесъ заключительныя строки, въ которыхъ заключалось общее резюме, потомъ остановился и перевелъ духъ.

— У меня уже горло перехватило... Прошу пять минутъ отдыха.

Всѣ сдѣлались добрѣе и согласились, хотя и не безъ возраженій.

— А недурно было бы выглянуть кому-нибудь на улицу, — вспомнила Роза. — Что-то шумѣло за ставнемъ, когда читали.

Вадемекумъ вышелъ и гдѣ-то исчезъ надолго. Паль Палычъ zabezпокоился.

— Не приставъ ли тамъ дѣйствуетъ? Навѣрное, подкрался и подслушивалъ.

Евсей отправился искать аборигена и черезъ минуту вернулся вмѣстѣ съ нимъ обратно, цѣлый и невредимый.

— Что тамъ? Благополучно?

Вадемекумъ занялъ свое прежнее мѣсто и вытянулъ длинныя ноги въ высокихъ смазныхъ сапогахъ съ видомъ

человѣка, котораго ничто въ мірѣ не можетъ потревожить.

— Былъ тутъ подѣ окномъ, да пьянь совсѣмъ. Безопасень. Я его свелъ къ сосѣдямъ, а тѣ за командиршей побѣжали. Теперь всю ночь спокойно будетъ.

Званіемъ командирши пользовалась у обывателей жена городского пристава. Женщина она была колоссально большая и, несмотря на довольно зрѣлый возрастъ, феноменально сильная. И когда супругъ, въ силу домашнихъ обстоятельствъ, подвергался съ ея стороны нѣкотораго рода усиленной охранѣ, — граждане могли наслаждаться всѣми преимуществами отсутствія законно установленныхъ властей.

— А это вѣрно, что послали за командиршей? — сомнѣвался Паль Палычъ.

— Ну, понятно! Всякому лестно... А вы читайте себѣ! — разсердился Вадемукумъ.

Паль Палычъ откашлялся, и опять всѣ погрузились въ самую глубину далекой, но родной жизни. Жили въ идеяхъ, внѣ времени и пространства, и ушли изъ глазъ бѣлые стѣны съ портретомъ Маркса и нелегальными открытками.

Оптимисты торжествовали, скептики смирились.

Да, тамъ, въ жизни, несомнѣнно происходило что-то серьезное, новое. Просыпались дремавшія силы, расходились по массамъ знакомые лозунги, такъ недавно еще запертые за семью замками въ нелегальныхъ подпольяхъ. Свѣжую, бодрую струю внесли эти массы и шли уже впередъ, — пока еще неувѣренно, ошупью, но шли.

Спутанныя пряди волосъ свѣсились на выпуклый лобъ Зотыча. Онъ откидывалъ ихъ нетерпѣливымъ движеніемъ, но онѣ упрямо падали обратно, и изъ-подъ ихъ неряшливой сѣти глаза горѣли яркимъ, почти лихорадочнымъ огнемъ. Роза закрыла глаза, сжала губы, — какъ-будто спала. Только брови безостановочно двигались, сгоняя и разгоняя складки на лбу. Вадемукумъ торжествуяще улыбался и временами оглядывался на сосѣдей, словно хотѣлъ сказать:

— Каково? Развѣ не весело жить, когда порохоми пахнетъ?

И сказалъ бы, если бы не боялся помѣшать чтенію.

Евсей сидѣлъ на одномъ табуретѣ съ Перайшвили. Обнявъ грузина, для удобства, за перехваченную ремнемъ талію и, незамѣтно для себя, прижималъ его къ себѣ все крѣпче и крѣпче.

Табачный дымъ поднялся къ потолку и медленно выползалъ черезъ открытыя двери въ сосѣдную комнату.

Добрались до нижняго угла послѣдней страницы. Добросовѣстно прочли списокъ пожертвованій въ пользу партіи, адреса для присылки рукописей и денегъ изъ-за границы.

— Все, товарищи! — охрипшимъ и сразу упавшимъ голосомъ сказалъ Паль Палычъ. И, какъ-бы въ отвѣтъ на эти слова, дешевая жестяная лампочка начала гаснуть, замелькала пламенемъ и задымила.

— Керосинъ весь выгорѣлъ! — грустно вздохнулъ Вадемекумъ. Потянулся, расправляя онѣмѣвшіе отъ долгой неподвижности члены.

Зотычъ всталъ.

— Все это хорошо... Но я не вижу, чтобы они думали исправить ошибку, на которую я всегда указывалъ. Необходимо сліяніе, а здѣсь, въ одномъ мѣстѣ, я слышалъ прямо ругань.

Заспорили. Кричали долго и громко, волнуясь, перебивая и не слушая одинъ другого. Гудѣли гортанныя восклицанія грузина. Торопилась, захлебываясь словами, Роза. Дѣлалъ ораторскіе жесты и держалъ Вадемекума за воротникъ пиджачка Паль Палычъ. Визгивалъ Зотычъ.

Наконецъ, замолчали всѣ сразу, ни до чего не договорившись, утомленные, обезсилѣнные, подавленные богатствомъ невысказанныхъ мыслей. Зажженная взамѣнъ лампы свѣча тоже успѣла догорѣть и умирала на днѣ подсвѣчника.

Паль Палычъ посмотрѣлъ на часы.

— Шестой часъ утра... Пожалуй, пора спать.

— Позвольте... А уха?

— Забыли, чортъ возьми... Переварилась.

Пошли въ кухню и извлекли кастрюльку изъ почти остывшей уже печки. Въ кастрюлкѣ было что-то мутное, съ

рыбными косточками и плавающими по поверхности мелкими крупинками разваренного картофеля. Посмотрѣли, понюхали и, констатировавъ неудачу, разошлись по домамъ.

Уходя, Зотычъ тайкомъ вытащилъ изъ-подъ кухоннаго стола свою бутылку. Торопливо сунулъ ее въ широкій карманъ своего коротенькаго лѣтняго пальто, но зоркій грузинъ замѣтилъ это движеніе и погрозилъ пальцемъ.

— Смотри, душа. Худой конецъ будетъ.

---

Зотычъ и Перайшвили жили въ одной квартирѣ, на противоположномъ концѣ города, но такъ какъ вся Кошкарма состояла только изъ трехъ улицъ и немного большаго числа переулковъ, то ходьбы отъ Палъ Палыча до ихъ квартиры было всего минутъ десять.

Едва замѣтные признаки зари розовѣли на востокѣ. Небо было еще темное, глубокое, съ чистыми и яркими звѣздами, едва порѣдѣвшими только въ той сторонѣ, гдѣ лѣниво прокрадывался разсвѣтъ. На церковной паперти спалъ, подостлавъ овчинный тулупъ, сторожъ. Надъ нимъ сидѣла большая бѣлая собака и глухо заворчала, когда ссыльные проходили мимо. Грузинъ успокоилъ ее ласковымъ чмоканьемъ.

— Не узнала, Бѣлка? Спи. Знакомый идетъ.

Кое-гдѣ уже вставали. Толклись въ потемкахъ по дворахъ, выводили лошадей изъ конюшенъ, черезъ скрипучія рѣшетчатые двери. Простоволосая женщина въ одной рубахѣ, съ голой жирной грудью, стояла, зѣвая, у своего дома и едва посторонилась, когда плохо видѣвшій въ темнотѣ Зотычъ задѣлъ ее плечомъ. Спросила вслѣдъ:

— Свиною мою не видали? Вышла, подлая, ночью. И сна на нее нѣтъ.

Слышно было, какъ на рѣчкѣ кричали готовая къ полету болотныя птицы. Сонные, угрюмые стояли по сторонамъ дороги низкіе деревянные домики. Зотычъ звучно плюнулъ.

— Скука же здѣсь... Въ Якуткѣ веселѣе бывало, даже въ старое время. Калиникъ, вамъ не скучно?



— Подождемъ. Веселѣе будетъ. Или къ акцизному въ гости идите. Онъ водки дастъ.

— Вы все объ одномъ. Какъ будто я...

Обиженно замолчалъ. Дома обоимъ лѣнь было зажигать огонь. Ощупью раздѣлись, ощупью легли въ знакомыя, жесткія и неудобныя постели. Когда грузинъ затихъ и началъ дышать глубоко и мѣрно, изъ уголка Зотыча послышалось осторожное бульканье. Потомъ звякнуло стекло. Зотычъ обтеръ рукой губы и долго еще ворочался въ постели, перекладываясь съ одного бока на другой.

Не спалось ему. Завистливо прислушивался къ здоровому всхрапыванью Перайшвили.

Удивительно, какъ онъ можетъ. Горитъ огнемъ, а черезъ минуту спитъ, какъ ни въ чемъ не бывало. И, навѣрное, снова не видитъ.

Зотычу еще наяву что-то грезилось. Старыя, старыя воспоминанія всплывали и тревожили. Главное — тревожили. Чувство некритического торжества, дѣтской прямой радости уже улеглось. Мысль бродила, не находила чего-то и тревожно билась. Все — не то. Не тѣ люди. Не та картина, которая рисовалась передъ первой ссылкой.

Личности стушевываются, расплываются. Выступает новое, огромное, совсѣмъ незнакомое и потому чужое, — толпа. Именно она что-то творитъ, сама куетъ свою судьбу, дышитъ одной грудью, коллективно думаетъ. И личности передъ ней — какъ зеркало. Отражаютъ, но не создаютъ.

Молодые понимаютъ, или, по крайней мѣрѣ, дѣлаютъ видъ, что понимаютъ. У нихъ нѣтъ тревоги. Есть увѣренность въ исторической необходимости. Да, конечно. Необходимо. Но страшно, потому что много непредвидѣннаго и чужого.

Засыпалъ. Забывался на минуту и опять открывалъ глаза, словно отъ грубаго вѣшняго толчка. Сонные образы вѣдрялись въ мысли, которыя приходили наяву. Наконецъ, тонкая нить сознанія перервалась совсѣмъ.

Видѣлъ себя гдѣ-то на просторной площади, переполненной народомъ. Колыхались тяжелыми складками общитыя золотой бахромою знамена. Черезъ всю площадь, между

тѣсными рядами народа, осталось узкое и длинное свободное пространство, похожее на улицу. По этой улицѣ шелъ Зотычъ, — гордый, торжествующій — и другіе. И все ликование было направлено только на нихъ, и знамена для нихъ волновались своими пурпурными складками, а тысячеголосый вопль торжества разливался, гремѣлъ, ширился.

Утромъ разбудилъ Перайшвили. Снявъ рубаху, стоялъ надъ большимъ умывальнымъ тазомъ и шумно умывался. Сильные и жесткіе, какъ желѣзо, мускулы отчетливо выступали подъ кожей, вздрагивали отъ холодной воды и съеживались клубками.

Зотычъ легъ поудобнѣе и натянулъ на себя одѣяло.

— Вы не пойдете? — спросилъ его Калиникъ, отдуваясь и фыркая.

— Куда?

— Все туда же. Говорить. Вчера не кончили.

Въ постели было тепло. А вода холодная и, кромѣ того, Калиникъ заставляетъ всегда, будто бы для укрѣпленія нервовъ, обливаться до пояса.

— Н-нѣтъ... — протянулъ Зотычъ. — Я послѣ... Не выспался еще. И голова болить.

Перайшвили ушелъ одинъ, но сонъ былъ переломленъ и Зотычъ не могъ уже больше забыться. Что бы оттянуть время вставанья и вмѣстѣ съ тѣмъ не такъ сильно скучать, взялъ какую-то давно читанную и перечитанную книжку, развернулъ ее на серединѣ.

Калиникъ, передъ уходомъ, распахнулъ окно. Оно было прорѣзано очень низко отъ полу, такъ что Зотычъ лежа могъ видѣть землю.

Большой дворъ съ развалившимся кое-гдѣ заборомъ изъ плохо пригнанныхъ тонкихъ жердей весь заросъ высокой крапивой и репейникомъ. Изъ крапивы торчатъ деревянные, сѣрые отъ дождей полозья саней, разбитое колесо. Брюхастая кобыла положила на заборъ морду и вяло помахиваетъ облѣзлымъ хвостомъ. Должно-быть, мальчишки растащили волосы на птичьи силки.

Подсохшая крапива затрещала подъ чьими-то неровными шагами. На подоконникъ легла сначала рѣзкая синеватая

тѣнь, а потомъ показался полицейскій мундиръ и красное лицо съ бѣлой, какъ снѣгъ, пушистой бородой.

— А вы дома, господинъ Гробуновъ?

— Дома! — сказали Зотычъ и натянулъ одѣяло повыше.

Человѣкъ въ полицейскомъ мундирѣ нагнулся и долго разглядывалъ что-то у себя подъ ногами. Выпрямился, крикнулъ и съ нѣкоторымъ удовольствіемъ сказалъ:

— А хорошая у васъ крапива. Удивительная крапива. Даже сквозь обувь прожигаетъ. Я, правда, въ туфляхъ. Вы не въ претензіи, что я въ туфляхъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

— Вы, конечно, по высшему образу мыслей выше предразсудковъ, но тѣмъ не менѣе... Вы позволите проникнуть? Ужасно жжется.

— Пожалуйста! — нѣсколько мягче согласился Зотычъ. — Да вы бы черезъ дверь прошли. Окно тѣсное.

— Ничего. Видите ли, если черезъ дверь, то нужно сначала выйти на улицу, а я не въ костюмѣ. Я къ вамъ задами прошелъ, по огородамъ. Ужасно скверные огороды у мерзавцевъ. Никакого понятія...

Переставилъ черезъ подоконникъ сначала одну ногу въ стоптанномъ вышитомъ туфлѣ, надѣтомъ прямо на тѣло, потомъ другую. И тамъ же, на подоконникѣ, присѣлъ.

— Никакого понятія... Я имъ давалъ читать „Сельскій Вѣстникъ“. Тамъ, кромѣ прочаго, есть статьи по агрикультурѣ. Но всѣ неграмотны, мерзавцы. Предпочитають рутину, а капуста и огурцы вырождаются... Вы не заняты?

— Нѣтъ, какъ видите.

— Очень пріятно. А у меня вышло маленькое семейное недоразумѣніе. Я и ушелъ. Не обошлось безъ затрудненій, но ушелъ.

— То-то вы и безъ сапогъ! — сообразилъ Зотычъ.

— Именно. Женины туфли. Она не предусмотрѣла, а я воспользовался.

Приставъ разсмѣялся мелкимъ, скользящимъ смѣхомъ, Зотычъ снисходительно улыбнулся и, выпутавшись изъ одѣяла, принялся одѣваться.

Къ посѣщеніямъ пристава онъ привыкъ, потому что зимою

это случалось не рѣже раза въ мѣсяцъ, а лѣтомъ гораздо чаще. Когда городскому начальству удавалось ускользнуть изъ-подъ домашняго ареста, онъ неизмѣнно отправлялся къ Зотычу и изливалъ передъ нимъ свою пьяную душу. Посѣщенія никогда не продолжались, впрочемъ, дольше получаса. Жена отыскивала и водворяла обратно. Лѣтомъ надзоръ былъ труднѣе, чѣмъ зимой, — потому и побѣги случались чаще.

Въ опьяненіи у пристава было три градуса. Въ первомъ онъ былъ необычайно задоренъ и придиричивъ, искоренялъ крамолу и шпионилъ подъ окнами. Во второмъ дѣлался сентименталенъ, мягкосердеченъ и увѣрялъ, что всѣ люди — братья. Въ третьемъ — спалъ.

Сейчасъ былъ, очевидно, второй градусъ. Зотычъ ничего не имѣлъ противъ того, чтобы поскорѣ наступилъ третій, и потому, послѣ нѣкотораго колебанія, досталъ изъ-подъ кровати запрятанную туда ночью начатую бутылку съ водкой.

— Хотите? Только нѣтъ закуски.

— Съ большой благодарностью. Закусить-то я и дома могу! — резонно объяснилъ приставъ.

Принявъ изъ рукъ Зотыча рюмку и, пока несъ ее ко рту, расчувствовался.

— Я васъ уважаю, господинъ Гробуновъ. Вы, можетъ-быть, очень много противъ меня имѣете, и наши убѣжденія не сходятся, но вы — благородный человѣкъ. Ваша молодежь относится ко мнѣ, только какъ къ полицейскому крючку, а вы черезъ мундиръ видите человѣка. Я это цѣню.

— А зачѣмъ вы вчера опять подъ окномъ были? — коварно спросилъ Зотычъ.

Приставъ поспѣшно выпилъ и беззвучно пошевелилъ губами.

— Клевета, дорогой мой. Безосновательная клевета. Я помню, что вчера что-то такое вышло, но я здѣсь не при чемъ. Вы знаете, что я всегда смотрю сквозь пальцы. Мое дѣло — удержать васъ въ территоріальныхъ предѣлахъ, доступныхъ моему вѣдѣнію. За духъ мѣстныхъ обывателей я спокоенъ. А вы можете читать и собираться. Я смотрю сквозь пальцы.



Воодушевился и ударилъ себя ладонями по колѣнямъ.

— Клянусь честью! Говоря между нами, меня самого тяготитъ мое положеніе, но я человѣкъ необезпеченный. Нужно выслужить пенсію. Я — офицеръ арміи, и гражданская дѣятельность мнѣ не по нутру. Но что прикажете дѣлать? Три раза былъ разжалованъ. Волею судебъ перешелъ по департаменту полиціи и дослужился до полицеймейстера въ прекрасномъ уѣздномъ городѣ. Какіе тамъ богатые купцы были... и умѣли благодарить! Но все пошло насмарку. Наверху, — и приставъ поднялъ къ потолку указательный палецъ, — наверху остались недовольны, передвинули назадъ по служебной лѣстницѣ и назначили въ эту дыру дожидаться пенсіи. Вы понимаете, что я неудачникъ. И тѣмъ болѣе я вамъ сочувствую. О, я васъ насквозь вижу, господинъ Гробуновъ.

— Будто?

— Клянусь честью. Вы тоже попали въ неблагоприятныя обстоятельства, но вы — опасный человѣкъ, очень опасный. Въ васъ есть огонь. И если бы наверху знали васъ такъ же хорошо, какъ я васъ знаю, то вы давно были бы на каторгѣ.

— Гм... — кашлянулъ Зотычъ. — А вы ничего не писали въ соотвѣтственномъ духѣ?

— Я? Приставъ? Извините. Пусть они сами заботятся о собственномъ спокойствіи. Я обиженъ. Моя цѣль — выслужить пенсію. Я, наконецъ, достаточно образованный человѣкъ. Мнѣ знакомы теоріи. Я — только врагъ крайностей, потому что прочно лишь то, что постепенно. Это не мѣшаетъ мнѣ...

— А за вами уже идутъ! — сказала Зотычъ, глядя въ окно черезъ плечи пристава.

Начальникъ города съежился и беззвучно соскользнулъ на полъ.

— Вѣдь этакая непріятность... Всегда увидить... Только что разговоришься по душѣ съ симпатичнымъ человѣкомъ...

Со двора позвалъ чей-то звучный, грудной голосъ:

— Осипъ Александровичъ! Ты здѣсь?

— Молчите, пожалуйста! — зашепталъ приставъ и еще

больше съежился. — Можетъ-быть, она не знаетъ... Это такъ непріятно...

Но убѣжище было уже открыто. Чье-то огромное тѣло въ голубоватомъ сарнишковомъ платѣ, съ сильнымъ запахомъ табаку и резеды, заняло все окно и, тяжело дыша, заглянуло въ комнату.

— Вылѣзай, Осипъ Александровичъ. Довольно баловаться.

Зотычу сдѣлалось жалко своего гостя, и онъ примирительнымъ тономъ предложилъ огромному тѣлу:

— Вы бы не трогали его, Софья Марковна. Пусть посидитъ.

— Нѣтъ ужъ, извините. Я его лучше знаю. Вылѣзай, Осипъ Александровичъ.

Приставъ медленно поднялся и полѣзъ назадъ въ окно. По пути обернулся къ Зотычу и сообщилъ ему:

— Клянусь честью, я васъ уважаю, господинъ Гробуновъ... И если бы не домашнія непріятности... Но, сударыня, развѣ вы не видите, что здѣсь крапива, а ваши туфли съ дырочками?

Заскрипѣлъ бурьянъ. Лошадь сняла голову съ забора и большими задумчивыми глазами посмотрѣла на удалявшуюся пару. Зотычъ постоялъ немного у окна, покачивая головой и вздыхая, потомъ надѣлъ шляпу и пошелъ къ Палѣ Палычу.

Слова пьянаго пристава были ему непріятны. Всякій разъ при своемъ посѣщеніи Осипъ Александровичъ объяснялся въ любви, и всякій разъ послѣ этого на душѣ у Зотыча оставался какой-то скверный осадокъ. Какъ-будто забрался какой-нибудь неотесанный хамъ и грязной, потной лапищей приложился къ дорогой, нѣжной и цѣнной вещи.

— Болванъ... Понимаетъ тоже... Говорить, что я опасенъ...

Эти случайныя слова особенно больно его укололи, потому-что было время, когда Зотычъ и самъ себя считалъ сильнымъ и опаснымъ человѣкомъ. А потомъ онъ не то, что бы разувѣрился, но просто пересталъ думать объ этомъ. Многократная ссылка, долгое житіе въ разныхъ глухихъ углахъ, безъ свѣта и воздуха, потеряли его, какъ ходячую монету, уничтожили острия грани и выпуклости. И теперь, когда вспоминалось старое, было досадно.

— Совершенный болванъ... Что это такое? Нужно отвадить. Когда трезвый — придирается, шпіонить, а пьяный чуть цѣловаться не лѣзетъ...

Подумаль это и вспомнилъ, что много разъ уже соби-  
рался „отвадить“ и все не хватало духу. Кромѣ того, у него не хватало уже и той непримиримости къ разному „начальству“, которая отличала молодыхъ и помогала имъ быть всегда съ этимъ начальствомъ на строго официальной ногѣ. За долгіе годы привыкъ, присмотрѣлся. Главное — привыкъ.

— Натравить на него грузина... Тотъ отвадить.

Это тоже было нехорошо. Перекладывать свой грузъ на чужія плечи.

— А, чортъ съ нимъ... Пусть его. Не полиняю.

На собраніи у Палъ Палыча не хватало только Розы. У нея былъ въ городѣ грошовый урокъ: готовила въ прогимназію сына одного изъ мелкихъ лавочниковъ.

Палъ Палычъ, въ вышитой чесучевой рубахѣ, сидѣлъ на столѣ, курилъ и ораторствовалъ. Перайшвили бросалъ ему время отъ времени короткія, какъ отрубленные, возраженія. Евсей перечитывалъ вчерашнюю литературу.

Зотычъ молча занялъ мѣсто на свободномъ табуретѣ и попробовалъ вслушаться, но споръ шелъ о какихъ-то тонкостяхъ программы и безъ знанія исходнаго пункта былъ почти непонятенъ. Тогда попросилъ Евсеича подѣлиться литературой и тоже погрузился въ чтеніе.

Вадемекумъ внесъ кипящій самоваръ и поставилъ его на столѣ, рядомъ съ Палъ Палычемъ.

— У меня опять начальство было! — сообщилъ Вадемекуму Зотычъ, надѣясь, что если онъ расскажетъ кому-нибудь объ утреннемъ посѣщеніи, то на душѣ будетъ легче.

— Да? — разсѣянно переспросилъ Вадемекумъ. — Сбѣжалъ, значить.

И нагнувшись къ уху Зотыча, сказалъ ему таинственнымъ полушопотомъ:

— Мы тутъ кое о чемъ говорили безъ васъ... Калиникъ внесъ предложеніе.

По возбужденному лицу аборигена Зотычъ понялъ, что дѣло шло о чемъ-то важномъ и интересномъ. Сразу же за-

былъ о нанесенномъ приставомъ огорченіи и съ живостью спросилъ:

— Въ самомъ дѣлѣ? О чемъ именно?

Вадемекумъ совсѣмъ погрузился въ таинственность и приложилъ палецъ къ губамъ, давая этимъ знать собесѣднику, чтобы онъ говорилъ тише.

— Вечеромъ всѣ опять соберемся и обсудимъ. Кстати, приставъ запямятовалъ и, значить, слѣжки не будетъ. Сейчасъ не слѣдуетъ говорить. Очень важное дѣло.

Запустилъ ножъ въ большой коровой пшеничнаго хлѣба и началъ рѣзать его на длинные, аппетитные куски съ подрумянившейся коркой. Любопытство Зотыча дошло до предѣловъ возможнаго, и онъ обратился къ Евсею:

— Что у насъ тутъ за тайны? Ужъ не технику ли основывать задумали?

— Побѣгъ! — неразборчиво буркнулъ Мокрухинъ, не отрываясь отъ чтенія. — Да, можетъ-быть, еще ничего не будетъ. Обсудимъ.

Зотычъ взъерошилъ волосы, потомъ крѣпко потеръ ладонью лѣвое ухо. По лаконичному отвѣту Евсея и по тому еще, что Палъ Палычъ съ грузиномъ говорили сейчасъ о какихъ-то пустякахъ, онъ догадался, что вопросъ, дѣйствительно, поставленъ серьезно.

О побѣгѣ вообще заговаривали часто. Въ сущности, не проходило почти дня, чтобы кто-нибудь не возвращался къ этой идее, но обстоятельства не благоприятствовали, и идея глхла сама-собою. Особенно изощрался въ проектахъ Вадемекумъ, — не для себя, разумѣется, а для своихъ учителей и товарищей. Разъ даже довольно серьезно предложилъ соорудить аэростатъ, наполнить его грѣтымъ воздухомъ и вылетѣть за предѣлы Степного края. Все это пріятно возбуждало фантазію и толкало дремавшій мозгъ къ новымъ мыслямъ, вносило нѣкоторое разнообразіе въ пустую и безцвѣтную жизнь, но, все-таки, больше походило на игру или шутку.

Теперь было не то. Вчерашнее возбужденіе еще не разсѣялось. Свободная жизнь, работа звали къ себѣ слишкомъ



властно, и Зотычъ удивился, какъ это мысль о немедленномъ побѣгѣ не пришла въ голову ему первому.

— Вотъ тебѣ и „опасенъ“! — мелькнуло въ головѣ обидное увѣреніе пристава.

Замѣтилъ, что Паль Палычъ выглядитъ блѣднѣе обыкновеннаго и мало думаетъ о томъ, что говорить, такъ какъ часто повторяетъ однѣ и тѣ же фразы, а Перайшвили чаще, чѣмъ нужно, приглаживаетъ усы и сморкается.

Сидя за чаемъ, перекидывались незначительными, обыкновенными фразами. У Зотыча совсѣмъ пропала аппетитъ. Отодвинулъ недопитую чашку и подумалъ вслухъ:

— Я не понимаю, зачѣмъ, собственно, откладывать до вечера? Роза скоро вернется. Мы пойдемъ за рошу и тамъ поговоримъ.

— Ну, нѣтъ!—возразилъ Евсей.—За рошу можно только съ самоваромъ ходить. Тамъ постоянно шляются, помѣшались. Или еще акцизный привяжется.

Кончили чай молча и разошлись по разнымъ угламъ. Мокрухинъ у себя въ комнатѣ чинилъ сапоги и громко стучалъ молоткомъ по подошвѣ. Грузинъ легъ на его постель и, какъ-будто, задремалъ. Зотычъ шуршалъ печатной бумагой и искоса поглядывалъ на примолкнувшаго Паль Палыча.

Роза долго не шла. Должно-быть, задержалась гдѣ-нибудь у больного, потому-что въ кругъ ея дѣятельности, какъ фельдшерицы, входило бесплатное леченіе обывателей.

Время, ничѣмъ не занятое, тянулось медленно, но никому, кромѣ Евсея, не хотѣлось приниматься за обычную работу. У Паль Палыча на столѣ лежалъ раскрытый переводъ съ нѣмецкаго какой-то экономической брошюры, остановившійся на той точкѣ, которая была поставлена еще вчера утромъ. А переводъ былъ заказанъ изъ Петербурга къ сроку и гонораръ за него могъ послужить немалымъ подспорьемъ для ссыльной колоніи.

Бездѣятельное молчаніе нарушилъ гость, очень подвижный и шумный. Еще въ сѣняхъ успѣлъ что-то уронить, а на порогѣ самъ запнулся и едва не упалъ.

Былъ онъ маленькаго роста, съ жесткой рыжеватою ще-

тиной на щекахъ, маленькимъ вздернутымъ носомъ и гладкой лысистой, во всю голову. На лбу фуражка акцизнаго вѣдомства продавила красную полосу.

— А я къ вамъ невзначай, совсѣмъ невзначай... Иду мимо и думаю: почему не зайти? Здравствуйте, господа-потрясатели!

Гостю обрадовались. Если пришелъ днемъ, такъ, значить, не явится вечеромъ. Усадили за столъ и подогрѣли самоваръ.

— Передъ вами заглянулъ къ приставу! — продолжалъ объяснять гость, застегивая и разстегивая безъ всякой надобности свою тужурку. Потомъ вытащилъ изъ кармана платокъ и извлекъ вмѣстѣ съ нимъ нѣсколько мѣдныхъ пятаконъ, которые со звономъ разсыпались по полу. — Ишь, покатились... Ничего, послѣ подберу. Это я вчера вечеромъ у отца Ананія въ стуюлку выигралъ... Такъ вотъ, заглянулъ я къ Осипу Александрычу, а онъ со вчерашняго дня въ неупотребительномъ настроеніи и въ канцеляріи у него пустота: всѣ занятія пріостановлены. А самъ сидитъ босикомъ и къ ногамъ компрессы прикладываетъ. Куда-то бѣгалъ и обстрекался крапивою. Вы представьте себѣ: крапивою! Вотъ уже, можно сказать, самъ себя высѣкъ... Чай-то мнѣ пожиже наливайте. Цвѣтъ лица боюсь испортить.

Отхлебнулъ, обжигаясь, изъ стакана и, не дождавшись отвѣтныхъ репликъ, продолжалъ дальше.

— Я думаю, что съ Осипомъ Александрычемъ это отъ огорченія... Отецъ Ананія послѣ почты тоже самъ не свой ходитъ. Ошарашило ихъ, миленькихъ, за животы свои трясутся...

— Почему же трясутся? — съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ спросилъ Зотычъ. — Развѣ случилось что-нибудь?

Гость поднесъ къ лицу обѣ распростертые ладони, а потомъ медленно развелъ ихъ въ стороны и, оставшись въ позѣ благословляющаго проповѣдника, хитро подмигнулъ однимъ глазомъ.

— И-и, какіе вы хитрые! Будто уже ничего не знаете! А сами, навѣрное, раньше всѣхъ новости отъ своихъ комитетовъ получаютъ... Конституціей дѣло пахнетъ, господа-потрясатели! Вотъ что.

Съ торжествомъ опустилъ руки и радостно улыбнулся.

Акцизный надзиратель былъ даже и въ сосѣднемъ уѣздномъ городѣ извѣстенъ, какъ отъявленный либераль. За образъ мыслей, связанный, кромѣ того, съ излишней торопливостью въ дѣлахъ и мнѣніяхъ, его и перевели уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ этотъ глухой уголь, на низшій окладъ. Дѣла здѣсь никакого не было, но и движенія по службѣ — тоже. Убѣдившись, что терять болѣе нечего, акцизный еще сильнѣе укрѣпился въ своемъ либерализмѣ и явно его демонстрировалъ, среди бѣлаго дня посѣщая политическихъ.

Ссылные его терпѣли, какъ необходимое зло, приносящее, впрочемъ, нѣкоторое развлеченіе въ минуты скуки, а кромѣ того, онъ былъ полезенъ своей болтливостью, благодаря которой выкладывалъ разныя административныя тайны.

Но, чтобы заставить договориться до конца, его всегда пужно было задѣть за чувствительную струнку.

— Сказки рассказываете! — съ дѣланнымъ пренебреженіемъ отвѣтилъ Зотычъ. — Откуда вамъ знать, будетъ конституція или нѣтъ? Служебное положеніе занимаете вы небольшое...

Гость нетерпѣливо задвигался.

— Позвольте-съ! При чемъ тутъ служебное положеніе? Во-первыхъ, я человѣкъ проницательный, а во-вторыхъ — мѣстныя власти хотя и изволятъ считать меня крамольникомъ, но все же со мною якшаются, потому-что больше не съ кѣмъ. И секретовъ они отъ меня не имѣютъ... А затѣмъ — слѣдуютъ факты. Если бы не предполагалось конституціи, то, скажите на милость, съ какой стати губернаторъ сталъ бы запрашивать Осипа Александровича о политическомъ настроеніи жителей города Кошкармы? Раньше никакого такого настроенія и въ поминѣ не полагалось, а теперь имъ сами губернаторы или даже, можетъ-быть, министры интересуются. Во-вторыхъ, почтмейстеръ рассказывалъ мнѣ о кое-какихъ циркулярахъ... Такіе, представьте вы въ вашемъ воображеніи, циркуляры... Прямо-таки видно, что революція уже на носу сидитъ. А затѣмъ — отецъ-миссіонеръ, который въ Болоніи живетъ. Мнѣ отецъ Ананія рассказывалъ о тѣхъ

проповѣдяхъ, которыя тотъ у себя въ церкви читаль... Даже самыя проповѣди я видѣлъ, потому-что миссіонеръ препроводилъ ихъ Ананіи для дальнѣйшаго распространенія. Чего только тамъ не написано! Затѣмъ, приказано Осипу Александровичу усилить, въ виду слуховъ объ амнистіи, надзоръ. Такъ и напечатано чернымъ по бѣлому: „Въ виду распространяемыхъ злонамѣренными лицами слуховъ объ амнистіи...“ А вы говорите — мнѣ знать не откуда. Очень даже хорошо я знаю.

Перевелъ духъ и опять принялъ торжественную позу.

— Готовьтесь, господа-потрясатели! Въ одинъ прекрасный день придетъ къ вамъ въ совершенно трезвомъ видѣ самъ Осипъ Александровичъ, падетъ передъ вами на колѣнки и возопитъ: „Граждане, вы свободны! Казните меня за то, что я столь долговременно держалъ васъ въ узахъ“. А вы, какъ великодушные побѣдители, конечно, простите и съ триумфомъ отбудете прямо въ Питеръ. Великолѣпно?

— Великолѣпно! — согласился Зотычъ. — А насчетъ циркуляра объ усиленіи надзора вы не врите?

— Разумѣется, не вру. А становому, который въ Болони, послано черезъ исправника предупрежденіе: слѣдить за ввѣреннымъ ему станомъ и подозрительныхъ лицъ задерживать. Становой-то у насъ дока. Изловилъ уже какого-то странника и все силится доказать, что это—агитаторъ. А у странника не только паспорта, но и языка нѣтъ. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ такую необходимую принадлежность потерялъ, но только фактъ тотъ, что нѣту.

Затѣмъ акцизный перешелъ уже къ измышленіямъ своей собственной фантазіи. Это сразу стало замѣтно по особенному блеску въ глазахъ и еще болѣе неровному теченію рѣчи. Тогда гостя просто перестали слушать, и онъ, покопчивъ съ остывшимъ стаканомъ, распрощался и ушелъ домой, немного обиженный.

---

Въ восемь часовъ вечера Вадекеумъ обошелъ вокругъ дома и вернулся съ докладомъ, что все спокойно. Собрались все-таки не въ большой комнатѣ, а въ маленькой, гдѣ



жилъ Мокрухинъ, потому что она выходила окномъ во дворъ и здѣсь труднѣе было подслушать.

Такъ какъ собраніе предстояло важное, то, для порядка въ преніяхъ, рѣшили назначить предсѣдателя. Выборъ упалъ на Палъ Палыча. Онъ занялъ предсѣдательское мѣсто, — за низенькимъ сапожнымъ верстакомъ, принадлежавшимъ Евсею — и объявилъ собраніе открытымъ.

Палъ Палычъ всегда былъ предсѣдателемъ. Не только теперь, въ ссылкѣ, но и раньше, на волѣ, его постоянно выбирали руководителемъ преній въ различныхъ совѣщаніяхъ и конференціяхъ, и онъ выработалъ себѣ особую, предсѣдательскую, манеру держаться: снисходительную и немножко покровительственную. И видъ у него былъ подходящий, профессорскій, хотя Палъ Палычъ и числился только помощникомъ присяжнаго повѣреннаго столичнаго судебного округа.

Плавнымъ движеніемъ погладилъ острую бородку, передвинулъ съ мѣста на мѣсто ящичекъ съ сапожными шпильками и приступилъ къ дѣлу.

— Я полагаю, товарищи, что прежде всего намъ слѣдуетъ ясно и опредѣленно сформулировать предметъ нашего собранія, а также и тѣ предпосылки, которыя обуславливаютъ его неотложность въ данный критическій моментъ... Дѣло въ томъ, что по всѣмъ, имѣющимся въ нашемъ распоряженіи, даннымъ, страна переживаетъ сейчасъ періодъ остраго революціоннаго подъема. Волна возбужденія нарастаетъ съ каждымъ днемъ, захватывая все болѣе широкіе круги населенія. Прежній революціонный кадръ — нелегальныя организации — оказывается недостаточнымъ. Спросъ на работниковъ — главнымъ образомъ, конечно, агитаторовъ и пропагандистовъ — все увеличивается, а предложеніе оказывается недостаточнымъ. Силъ не хватаетъ. Движеніе можетъ перерости насъ, выйти изъ-подъ нашего вліянія, пойти стихійнымъ путемъ и, въ концѣ-концовъ, разбиться блестящей шумихой безъ какихъ-либо существенныхъ практическихъ результатовъ. Понадобятся, быть можетъ, цѣлые годы для подготовки и планомѣрной организации новой революціонной волны, новаго натиска. Естественно и опредѣ-

ленно встает теперь вопросъ передъ нами, ссыльными, — такъ-сказать, заштатными — революціонерами. Имѣемъ ли мы право оставаться попрежнему если и не спокойными, то, во всякомъ случаѣ, безучастными свидѣтелями текущихъ событій, сидѣть безропотно въ своей Конкармѣ и угощать чаепитіями господина акцизнаго надзирателя, въ то время какъ тамъ, на аренѣ политической жизни, каждая рабочая сила цѣнится на вѣсь золота, и товарищи говорятъ намъ: „помогите! мы завалены непосильной работой! мы изнемогаемъ!“ Чтобы не возвращаться болѣе къ этому вопросу, ставлю его на голосованіе. Кто принципиально высказывается за присоединеніе къ общей работѣ, пусть подниметъ руку.

— Нечего и голосовать! — недовольно проворчалъ Мокрухинъ, отрицательно относившійся ко всякой формалистикѣ. — Само собою понятно.

Предсѣдатель повелъ бровями въ его сторону и констатировалъ.

— Принято единогласно. Стало-быть, намъ остается только вырѣшить практическую сторону: самую организацію побѣга.

— И въ самомъ непродолжительномъ времени! — вставилъ Зотычъ. — Я рекомендовалъ бы покончить съ разговорами и приняться за дѣло завтра же.

Паль Пальчъ поморщился.

— Я долженъ замѣтить, что насколько удачный побѣгъ будетъ во всѣхъ отношеніяхъ плюсомъ, настолько же неудачный только значительно ухудшитъ наше личное положеніе. Поэтому мы должны обсудить безпристрастно и объективно всѣ шансы за и противъ...

— Позвольте! — настаивалъ Зотычъ. — Намъ всѣмъ хорошо извѣстно, что изъ другихъ мѣстъ ссылки предпринимаются теперь массовые побѣги чисто демонстративнаго свойства, въ смыслѣ протеста противъ притѣсненій администраціи. Мы должны послѣдовать...

— Я не замѣчалъ, чтобы лично мы, находящіеся въ Конкармѣ, испытывали какія-нибудь притѣсненія... — пожалъ плечами предсѣдатель.

Зотычъ всталъ и взъерошилъ волосы.

— Вы противъ солидарности? О, я понимаю! Тотъ, кто намѣренно подчеркиваетъ одну только чисто материалистическую сторону...

— Товарищи, мы уже начинаемъ уклоняться отъ темы! — вмѣшалась Роза. — Время дорого.

Предсѣдатель постучалъ коробочкой со шпильками.

— Призываю товарища Зотыча къ порядку. Кто желаетъ говорить, долженъ предварительно просить слова. Всякіе Zwischenrufe неумѣстны.

Евсей потянулъ Зотыча за полу его блузы.

— Сядь... Все равно, дѣло рѣшенное. Пускай ужъ они по правиламъ...

Слово взялъ Перайшвили.

— Бѣжать для протеста — не стоитъ. Теперь протесты большіе, крупныя. Весь народъ дѣлаетъ протестъ. А мы что за протестъ? Насъ никто не замѣтитъ. Плохо побѣжимъ — поймають и посадятъ. Только и всего. Какой это протестъ? Я не согласенъ. Я желаю бѣжать такъ, чтобы не поймали.

— Ставлю и этотъ вопросъ на голосованіе! — согласился предсѣдатель. Кто высказывается за побѣгъ, какъ за форму протеста, и предлагаетъ осуществить его при всякихъ, даже самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ?

Рука Зотыча одиноко поднялась кверху.

— Подавляющимъ большинствомъ предложеніе отклонено. Итакъ, переходимъ къ конкретнымъ условіямъ. Дѣло въ томъ, что побѣгъ былъ бы значительно облегченъ, если бы намъ удалось предварительно списаться съ партіей. Она дала бы намъ явки, маршрутъ, могла бы даже помочь деньгами, не говоря уже о паспортахъ. Но переписка займетъ, въ самомъ лучшемъ случаѣ, мѣсяца полтора или два времени. Желательно-ли такое промедленіе?

— Не отложить ли до будущаго года? — ядовито посоветовалъ Зотычъ. — Или дождаться самымъ благополучнымъ образомъ той амнистіи, которую пророчить акцизный?

— Два мѣсяца — слишкомъ долго! поддержалъ Евсей. За такую уйму времени чортъ знаетъ, что произойти мо-

жить. А затѣмъ, какъ это вы въ распутицу-то побѣжите? Жди, значить, санной дороги. Это уже не два мѣсяца, а цѣлыхъ три! Не подходить.

Предсѣдатель постучалъ. Ораторомъ выступила Роза.

— Миѣ кажется, что списываться нѣтъ необходимости во-первыхъ, по тѣмъ причинамъ, на которыя указалъ уже товарищъ Евсей, а затѣмъ мы уже и безъ этой переписки кое-что имѣемъ... Попробуемъ выяснитъ нашу наличность. У насъ есть двѣ, самыя важныя явки: въ уѣздномъ городѣ и въ областномъ. Тамъ мы не пропадемъ и безъ помощи це-ка. Паспорта намъ удастся раздобыть если не въ уѣздномъ, то въ областномъ, мѣстными средствами. А что касается денегъ, такъ едва ли партія что-нибудь дастъ. Теперь у нея много не менѣе насущныхъ и болѣе близкихъ нуждъ, чѣмъ содѣйствіе побѣгу пяти рядовыхъ работниковъ. Затѣмъ, всякая переписка — лишній рискъ. Тотъ шифръ, которымъ мы пользуемся, по-моему, недостаточно удовлетворителенъ для такихъ конспирацій.

— Хорошо. Присоединяюсь! — сказалъ Перайшвили. — Меньше писать, больше дѣлать.

— Я, все-таки, поставлю и этотъ вопросъ на голосованіе! — не сдавался предсѣдатель. Трудности при побѣгѣ предостоятъ намъ большія. Прежде всего — пройти или проѣхать около двухсотъ верстъ по совершенно голой степи до уѣзднаго города. А мѣстныя условія и, особенно, киргизскую общительность мы уже хорошо знаемъ. О каждомъ новомъ человѣкѣ, какъ бы онъ ни конспирировалъ, будетъ извѣстно за однѣ сутки на сотни верстъ кругомъ, узнаетъ и исправникъ, а за нимъ уѣздный. Погоня съ самаго начала направится по вѣрнымъ слѣдамъ. Допустимъ, что мы проскользнули благополучно. Но до областного, гдѣ будутъ уже прочныя связи, остается еще больше двухсотъ верстъ по почтовому тракту, не особенно оживленному. Тамъ-то, безъ помощи со стороны, насъ уже нагонять обязательно. А це-ка можетъ поручить кому-нибудь изъ областного основательно подготовить почву, устранить возможные препятствія и задержки.

— Нельзя ждать! — негодовалъ Зотычъ. — И ничего онъ



не сдѣласть, этотъ вашъ це-ка. Это не то, что Исполнительный Комитетъ.

— Ъхать, такъ до распутицы! — настаивалъ Евсей. — Зимой будетъ еще труднѣе. Да и какъ мы можемъ быть увѣрены, что партія, дѣйствительно, поможетъ?

Однимъ словомъ, предложеніе объ отсрочкѣ провалилось. Паль Палычъ замѣтно волновался, кусалъ себѣ губы и пощипывалъ бородку. Перайшвили шевелилъ большими, огненными глазами. Вадемскому нѣсколько разъ порывался что-то сказать, но, видимо, побаивался председателя и только краснѣлъ.

Перешли къ деталямъ. Внесено было нѣсколько неразработанныхъ предложеній, но всѣ они были удобны и пріемлемы для одного человѣка, а не для пяти разомъ. Пять человѣкъ—это цѣлая толпа. И чѣмъ дальше выяснялось дѣло, тѣмъ труднѣе оказывалось измыслить способъ для транспорта этой толпы черезъ всю степь.

Тогда Мокрухинъ предложилъ раздѣлиться. Бѣжать маленькими партіями, по одному, по два человѣка.

— Послѣ того, какъ бѣжить первый, побѣгъ сдѣлается невозможенъ для всѣхъ остальныхъ! — возразилъ Паль Палычъ. — Фактически усилить надзоръ, переведутъ куда-нибудь въ еще болѣе глухое и изолированное мѣсто.

И предложилъ, со своей стороны, послѣ нѣкотораго колебанія, пощипывая бороду и глядя въ потолокъ:

— Не выбрать ли намъ изъ двухъ золь меньшее? Если нельзя бѣжать всѣмъ, то предоставить возможность побѣга одному или двумъ?

Зотычъ потемнѣлъ, нахмурился и быстро отвѣтилъ:

— Я, конечно, согласенъ... Я не слѣпой. Я давно уже замѣтилъ, что мною, напримѣръ, тяготятся, какъ негоднымъ грузомъ. Я четыре раза былъ въ ссылкѣ, не считая этого, послѣдняго, и дважды бѣжалъ... Но если молодые считаютъ себя болѣе цѣнными для дѣла революціи, то я устраниюсь.. Разумѣется, устраниюсь...

— При чемъ тутъ личности? — вскипѣлъ Паль Палычъ. — Въ подобныхъ дѣлахъ нѣтъ мѣста никакимъ сентиментальностямъ. Нужно трезво обсуждать факты.

Вышла неловкость. У Зотыча тряслись руки, и его было жалко.

— Миѣ кажется, что Палъ Палычъ поступилъ несомотрительно, внеся такое неудобное предложеніе! — сдержанно сказала Роза. — Всѣ, здѣсь собравшіеся — одинаковые рядовые работники и одинаково цѣнны для дѣла революціи. Въ крайнемъ случаѣ, пришлось бы бросить жребій, но уже, во всякомъ случаѣ, не взвѣшивать заслуги.

Послѣ шумнаго спора на минуту водворилось молчаніе. Вадемекумъ воспользовался этимъ случайнымъ перерывомъ и опять вышелъ на улицу посмотреть, нѣтъ ли соглядатаевъ. Но тамъ было совсѣмъ пустынно и тихо. Обыватели уже легли спать. Огни погасли. Во дворѣ степенно жевала жвачку сонная хозяйская корова, повизгивали гдѣ-то поросята.

На небо пабѣгали тучи, и одну за другой ихъ глотали звѣзды. Налеталъ рѣзкій, порывистый вѣтеръ съ гниловатымъ запахомъ сырости. Погода мѣнялась.

Освѣжившись, Вадемекумъ набрался храбрости и попросилъ слова.

Оказалось, что онъ тоже разработалъ свой собственный планъ бѣгства и еще болѣе детально, чѣмъ другіе, — должно быть, благодаря большому запасу чисто практическихъ познаній.

Онъ предлагалъ скрыться всѣмъ вмѣстѣ, а бѣжать отдѣльно, по два человѣка. За Болонью, верстахъ въ десяти, есть въ глухомъ урочищѣ маленькая заимка, хозяинъ которой занимается укрывательствомъ лошадей, а за небольшое вознагражденіе согласится укрыть недѣли на двѣ и человѣка, тѣмъ болѣе, что это не такъ опасно: не убьютъ самосудомъ, если даже накроютъ. На эту заимку и нужно всѣмъ сразу перебраться. Она совсѣмъ въ противоположной сторонѣ отъ почтоваго тракта, и искать тамъ ни одинъ становой не догадается.

Затѣмъ Вадемекумъ купитъ въ Болони паспорта.

— Не годится! — запротестовалъ Евсей. — Съ такими паспортами хуже провалишься.

Вадемекумъ обидѣлся.

— Съ какой же это стати? Развѣ мнѣ есть интересъ васъ подводить? Ужъ если говорю, что куплю, такъ знаю, гдѣ и какъ. Тамъ у насъ такіе мастера живутъ, что на всю округу глаза поставляютъ. И стоитъ недорого. Настоящую, чистую бланку съ печатью можно за два съ полтиной достать. А на бланкѣ-то вы уже сами пропишете, что нужно. Опять же на заимкѣ вы пострижетесь, побрѣетесь, переодѣнетесь. Ни одинъ чортъ васъ не узнаетъ...

Выяснилъ еще одно важное обстоятельство.

Съ начала сентября начинаютъ уже появляться, по дорогѣ съ горъ въ уѣздъ, разные приисковые служащіе и рабочіе, изъ русскихъ. За нихъ и можно сойти даже при опросахъ, выправивъ соотвѣтствующіе паспорта и разузнавъ всѣ подробности о какомъ-нибудь приискѣ. Послѣднее бралъ на себя тоже самъ Вадемекумъ.

А въ уѣздѣ есть у Вадемекума хорошій пріятель, съ которымъ они даже крестами мѣнялись. Онъ хотя и не революціонеръ, потому что на это у него образованія не хватило, но тоже не выдастъ, а какъ мѣстный человѣкъ, находящійся внѣ полицейскихъ подозрѣній, сможетъ устроить дальнѣйшую дорогу лучше всякихъ партійныхъ агентовъ.

Выходило, какъ-будто, довольно гладко и осуществимо. Тѣмъ не менѣе, долго кричали, спорили и даже ссорились, прежде чѣмъ цѣликомъ приняли проектъ Вадемекума.

Остался денежный вопросъ.

— Здѣсь опять выясняется, что для насъ было бы полезнѣе не бѣжать немедленно, а вступить въ переписку и обождать! — сказалъ Паль Палычъ и многозначительно стукнулъ коробкой. — Я могъ бы получить деньги если не отъ партіи, то съ родины. Выяснимъ наши финансы.

Выяснили.

Оказалось, что набирается, главнымъ образомъ, благодаря сбереженіямъ и частымъ получкамъ самого Паль Палыча, довольно крупная, но, все-таки, совершенно недостаточная для пятерыхъ сумма: около полутора ста рублей. Какъ ни искали, больше не нашли. Только Перайшвили разыскалъ у себя въ карманѣ воспоминаніе о Кавказѣ: ста-

ринный четвертакъ съ дырочкой, бывшій когда-то принадлежностью костюма одной изъ его родственницъ.

— А сколько же нужно? — поставилъ вопросъ ребромъ Мокрухинъ.

Вадемскумъ быстро высчиталъ. Паспорта обойдутся рублей въ тринадцать. Заимщику нельзя дать меньше двадцати пяти. Разныя дорожныя мелочи, принадлежности одежды, провизія — рублей пятьдесятъ. И не меньше пятидесяти долженъ каждый бѣглець имѣть въ карманѣ, отправляясь въ дорогу, даже при расчетѣ, чтобы хватило только до областного города. Въ уѣздѣ, конечно, тоже помогутъ, но на это рассчитывать сейчасъ не слѣдуетъ.

Въ общемъ итогъ получилось около трехсотъ пятидесяти рублей. Не хватило двухсотъ.

Приуныли. Оживленное, взвинченное настроеніе сразу упало. Даже крѣпкій Перайшвили какъ-то сразу осунулся и смущенно вертѣлъ между пальцами свой забракованный четвертакъ.

Мечта о волѣ вспыхнула, какъ яркое, теплое и радостное пламя — и теперь грозила погаснуть, остановившись въ безсиліи передъ неодолимой преградой.

— Э-эхъ! — вздохнулъ Мокрухинъ. — Съ того бы, по правдѣ, и начинать надо. А то говорили — говорили. Разлакомились. Слюнки у всѣхъ потекли... И вдругъ — стопъ... Такая теперь досада, хоть удавись...

Вадемскумъ напряженно думалъ. Должно-быть, въ головѣ его рождалась какая-то новая практическая комбинація, но въ чемъ именно она заключалась — никто пока не узналъ, такъ какъ аборигенъ попрощался и ушелъ домой.

Ужъ стоя на порогѣ, бросилъ многозначительную фразу:

— А какъ все рѣшено, такъ и останется. И деньги будутъ. Только дайте срокъ: дня два, не больше.

---

Жизнь ссыльной колоніи приобрѣла совершенно новый смыслъ и значеніе. И мелкіе раздоры, колочія фразы и пустишные неспріятности, виѣдрявшіяся постоянно во взаимныя отношенія и отравлявшія медленно дѣйствующимъ, но вѣрнымъ ядомъ безъ того уже томительное существованіе,



какъ-то сами собою пресѣклись и отошли въ область историческихъ преданій. Близкое общее дѣло объединило, спаяло неразрывнымъ цементомъ.

Зато и обычные занятія, прежде такъ хорошо поглощавшія цѣлую уйму ни къ чему не нужнаго времени, окончательно прекратились. Паль Палычъ спряталъ свой переводъ въ ящикъ стола и, вмѣсто него, сидѣлъ надъ географической картой уѣзда, недавно изданной землеустроительной экспедиціей. Роза неохотно ходила на урокъ и только искала благовиднаго повода, чтобы отказаться совсѣмъ. Кошкарма, начинавшая, было, приобрѣтать въ глазахъ ссыльных характеръ почти постоянной резиденціи, въ которой нужно устраиваться прочно и основательно, опять оказалась временнымъ и, къ тому же, опостылѣвшимъ бивуакомъ.

Повеселѣли тѣмъ нервнымъ весельемъ, которое охватываетъ учениковъ передъ труднымъ экзаменомъ. Такъ и рвались съ языка разные предположенія и вопросы по поводу побѣга, но конспирація заставляла молчать. Не удерживались лишь отъ искушенія посматривать другъ на друга съ плутоватой усмѣшкой авгуровъ. И тревожились, что Вадемекумъ, послѣ своего обѣщанія, второй день не показывается на глаза.

Только Зотычъ былъ сумраченъ. Теперь, когда побѣгъ вышелъ изъ стадіи туманныхъ проектовъ и сдѣлался почти рѣшеннымъ дѣломъ, въ немъ зашевелилось что-то, похожее на испугъ. Испугъ передъ грядущимъ — темнымъ, неизвѣстнымъ.

Вспомнилъ свои прежніе побѣги. Оба, въ сущности, кончились неудачно. На первомъ вернули съ полдороги и, выдержавъ въ тюрьмѣ, прибавили срокъ, и заслали въ болѣе отдаленный округъ. Послѣ второго походилъ на волѣ немного больше мѣсяца, опять былъ пойманъ, узнанъ и препровожденъ по принадлежности.

Весьма вѣроятно, что неудачно кончится и этотъ, третій побѣгъ, принесъ только новыя лишенія и бѣдствія уже уставшему, изможденному тѣлу. Но неудача не пугала. Именно при мысли объ удачѣ, о возвращеніи изъ „заштата“

въ жизнь поднимался жуткій трепетъ, несовратимый, мучительный.

Какова-то она будетъ, эта жизнь?

Все переѣнилось. Все незнакомо. Старые товарищи давно ушли, а тѣ, которые остались — переѣнили убѣжденія или не играютъ почти никакой роли.

Приспособиться?

Кажется, онъ слишкомъ уже приспособился. Не къ жизни, а именно къ „заштату“. Мучительно не хочется сознаться, но это такъ...

Здѣсь все уже привычно. Особое, почти почетное положеніе „опаснаго“, къ которому примѣняютъ разныя воздѣйствія, но и побаиваются. Маленькая, тѣсная среда, гдѣ все знакомо. Нужно стряхнуть съ себя всю эту годами накопившуюся пыль.

— И стряхну... Покажу еще всей этой молодежи, что значить мы, старые, закаленные...

А какой-то хитрый, назойливый бѣсъ уже спрашивалъ: А что ты сдѣлалъ? Въ чемъ закалился? Въ первую ссылку ты пошелъ за то, что у тебя нашли двѣ прокламаціи, въ послѣднюю — просто по самодурству одного изъ помпадуровъ. И въ сущности, не въ мысляхъ, а на дѣлѣ это было все. Больше ни въ какихъ дѣяніяхъ преступная воля Зотыча не проявилась.

Зотычъ гналъ отъ себя скучныя мысли. И, не смотря на общій духовный подъемъ, не переставалъ выпивать попрежнему тайкомъ отъ своего сожителя Перайшвили. Тотъ рѣзко и грубо уличалъ старика въ непростительной слабости, иной разъ просто отбиралъ водку.

Роза, къ которой часто ходилъ Зотычъ, была снисходительнѣе: — должно-быть, глубже понимала. Даже сама угощала иногда, когда Зотычъ былъ особенно мраченъ, а руки у него тряслись сильнѣе обыкновеннаго.

На третій день послѣ посвященнаго вопросу о побѣгѣ собранія пришелъ Вадемекумъ и безъ обиняковъ заявилъ Паль Палычу, что деньги — двѣсти рублей — будутъ не позже какъ черезъ недѣлю.

Явился Вадемекумъ поздно вечеромъ и съ соблюденіемъ

каких-то особых предосторожностей. И сейчас же попросил Евсея закрыть ставни.

— Не нужно, чтобы меня кто-нибудь видѣлъ. Ни въ какомъ разѣ не нужно.

Паль Палычъ недоумѣвалъ.

— Да въ чемъ дѣло, Вадемекумъ? Откуда вы взяли деньги? И почему прячетесь?

— Ты не на большой ли дорогѣ грабить принялся? — высказалъ довольно опредѣленное предположеніе Евсей.

Вадемекумъ посмѣивался.

— Очень мнѣ нужно подъ уголовщину подвертываться! Совсѣмъ даже напротивъ. Я на правильную стезю сталъ.

Сѣлъ, вытянулъ длинныя ноги и не спѣша, съ паузами, разсказалъ.

— Конечно, если отъ чужого, то такія деньги въ нашемъ городѣ достать трудно. Надо хорошую обеспеченность имѣть. Я сейчасъ же и подкатился къ мамашѣ. У нея отъ батюшки осталось тышенокъ пять капитала, но только я, какъ несовершеннолѣтній, распоряжаться имъ совершенно не могу. Все въ ея рукахъ. Ну, а я подкатился и говорю. Такъ, моль, и такъ. Понялъ я свое заблужденіе и хочу въ настоящую жизнь вернуться. А съ этими политическими и знаться, моль, больше не буду, потому что они не что иное, какъ злодѣи.

— Это какъ же такъ? — поднялъ брови Евсей.

— Не перебивай, если разсказываю. Мамаша-то тоже сначала не повѣрила. — „Врешь, — говорить, — ты все, ососокъ этакій... Совсѣмъ они тебя приколдовали“... А я — пуше. Такъ се увѣрилъ, что она отъ радости ударила въ слезы. А я повелъ политику дальше. Въ виду, говорю, моего исправленія, желаю заняться теперь серьезнымъ дѣломъ: открыть въ Болонн балаганчикъ съ галантерейнымъ товаромъ. Скоро будутъ припсковые съ заработковъ возвращаться и можно на этомъ дѣлѣ хорошо заработать. А для начала мнѣ нужно рублей триста, не меньше. Мамаша, какъ до денегъ дошло, уперлась. Сейчасъ и слезы высохли. Въ такомъ случаѣ, — заявляю я ей, — мнѣ ничего болѣе не остается, какъ итти опять къ политическимъ злодѣямъ и съ ними проводить

жизнь. — Попросила мамаша двое сутокъ сроку. Слѣдовательно, хотѣла приемотрѣться, въ самомъ ли дѣлѣ я къ вамъ ходить перестала. Я — ни погой. Сижу дома и жду. Сегодня приступила мамаша съ торгомъ. — „Хочешь полтораста?“ А я: — Если вы не имѣете ко мнѣ довѣрія, то не желаю и рубля принять. — Сдалась. По этому случаю дѣлаюсь я теперь мелкимъ торговцемъ, то есть самымъ непроизводительнымъ буржуа. Буду на рабочемъ народѣ паразитировать... Это по мамашину предположенію... А на самомъ дѣлѣ — имѣете вы получить потребную сумму. Сто рублей придется мнѣ оставить у себя. Придется для видимости на базарной площади аренду заплатить, ларекъ поставить и все прочее. Хорошо?

Мокрухинъ нерѣшительно молчалъ. Палъ Палычъ отвѣтилъ не сразу.

— Какъ вамъ сказать, Вадемекумъ... Съ вашей стороны, конечно, это хорошо... Вы насъ выручаете. Но, принимая во вниманіе... Я не знаю, можемъ ли мы взять эти деньги. Какъ ни какъ, а это не совсѣмъ... благовидно. Кромѣ того, понимаете ли вы, какъ вы сильно рискуете, если мамаша дознается, куда пошли ея деньги?

— Перемошенничаль ты, братъ! — вздохнулъ Мокрухинъ. — Очень уже тонко.

Вадемекумъ, повидимому, совсѣмъ не ожидалъ такого впечатлѣнія отъ своего разсказа. Сдѣлалъ серіозное лицо. Потомъ углы губъ кисло оттянулись книзу.

— Покорнѣйше васъ благодарю! — Мошенничество мое ко мнѣ и пристало. Васъ даже совсѣмъ не касается. Могъ я даже совсѣмъ и не разсказывать, — откуда деньги.

Всталъ, прошелся по комнатѣ, чтобы совладать съ обидой. Потомъ подошелъ къ Палъ Палычу.

— Дѣло-то вотъ какое. Революціонеромъ я сталъ совсѣмъ недавно, — ну, и насчетъ разныхъ тонкостей, можетъ-быть, еще плохъ. Не сообразилъ, что вамъ это будетъ непріятно. Но если вы не хотите взять у меня эти деньги совсѣмъ, такъ возьмите въ долгъ. Вы, Палъ Палычъ, человѣкъ состоятельный. Доберетесь до воли и сейчасъ же мнѣ ихъ вернете. Хорошо? Неужели изъ-за какихъ-нибудь несчастныхъ



двухъ сотенныхъ вамъ придется все дѣло разстроить? И обидно мнѣ... Такъ ужъ полюбилъ я васъ всѣхъ... Если бы не боялся обузой стать, такъ на край свѣта ушелъ бы за вами... А вы моей помощи принять не хотите.

— Примемъ! Ей Богу, примемъ! — поручился Мокрухинъ.

Обнявъ Вадемекума и поцѣловалъ его крѣпко, по-братски. А Палъ Палычъ сказалъ нѣсколько растроганнымъ голосомъ:

— Не обижайтесь, голубчикъ... Мы это обсудимъ. И при условіи возврата...

Аборигенъ немного успокоился и исчезъ такъ же таинственно, какъ и пришелъ.

На другой день, на общемъ собраніи всесторонне обсудили новое предложеніе Вадемекума и постановили: принять, — тѣмъ болѣе, что матеріальные интересы матери аборигена ни въ какомъ случаѣ не должны пострадать. Деньги будутъ возвращены полностью.

Такъ какъ теперь послѣднее препятствіе было устранено, то самымъ энергичнымъ образомъ принялись за сборы. Однакоже, строгая конспирація затрудняла всякое, самое пустяшное дѣло, и день шелъ за днемъ, а конца всякимъ необходимымъ мелочамъ не было видно.

Вадемекумъ забѣгалъ тайкомъ, урывками, на нѣсколько минутъ—то къ Палъ Палычу, то къ Зотычу. Сообщилъ, что ѣдетъ въ Болонь хлопотать объ арендѣ. Мать не даетъ всѣхъ денегъ—пока не убѣдится, что онъ серьезно принялся за дѣло. Передъ отъѣздомъ дали аборигену денегъ на покупку паспортныхъ бланковъ и кое-какихъ принадлежностей обычного приисковаго одѣянія.

Приблизилась середина сентября. Издалека, изъ жизни, приходили все болѣе возбуждающія вѣсти. Разростались крупныя забастовки. Старое, отжившее зданіе лопалось и грозило рухнуть каждую минуту.

Погода портилась все основательнѣе и общала раннюю распутицу, когда сообщеніе съ Кошкармой возможно только по телеграфу.

---

Зотычъ хандрилъ. Отъ постоянныхъ тревожныхъ мыслей, отъ жуткаго самоанализа, постоянно бередившаго все одну

и ту же, никогда не заживающую, рану, сѣдѣла въ его темныхъ волосахъ замѣтно погустѣла, а глубокія складки на лбу и на щекахъ вѣзались еще глубже.

Старался занять себя подготовительными хлопотами, бралъ на себя самыя разнообразныя функціи, — и съ болѣзненной подозрительностью замѣчалъ, что ему уступаютъ ихъ какъ-будто неохотно.

Въ молодой компаніи онъ всегда чувствовалъ себя, при всей своей общительности, немножко особнякомъ, но самъ приписывалъ это нѣкоторому различію въ убѣжденіяхъ.

А теперь? Теперь программы до часа освобожденія сданы въ архивъ. Внѣшній поводъ исчезъ, но отчужденность осталась.

Зотычъ зналъ, что его любятъ. Даже Перайшвили, который постоянно ругается. Любятъ и уважаютъ, какъ стараго ветерана.

Опять приходили въ голову думы о потертой монетѣ. Вотъ оно: любятъ и незамѣтно для самихъ себя, но чувствительно для него, относятся почти, какъ къ ребенку. И къ ребенку съ дурной привычкой.

Больше недѣли Зотычъ крѣпился и не пилъ. Въ пьяномъ видѣ у него развязывался языкъ, а теперь конспирація стояла прежде и выше всего. Крѣпился и даже бравировалъ. Поставилъ оставшуюся отъ прежнихъ дней недопитую бутылку на столъ на самомъ видномъ мѣстѣ и все посмѣивался, замѣчая, съ какимъ негодованіемъ посматриваетъ на него Перайшвили.

Приставъ былъ выпущенъ изъ-подъ домашняго ареста и находился какъ разъ въ самомъ бдительномъ настроеніи.

— Пожалуйста, не пей! — беспокоился Перайшвили. — У тебя душа широкая. Какъ напьешься — такъ изъ тѣла и лѣзетъ. Всю видно.

Въ праздничный день и въ очень дождливую погоду Зотычъ возвращался домой послѣ одного изъ безчисленныхъ совѣщаній. Акцизный увидалъ его изъ окна своей квартиры и постучалъ въ стекло указательнымъ пальцемъ.

Зотычъ промокъ и прозябъ. У акцизнаго имѣлась постоянно въ большомъ запасѣ великолѣпная звѣробоевая на-

стойка. Самъ онъ въ виду порока сердца пилъ немного, но угостить любилъ. Зотычъ колебался, — можетъ быть, слишкомъ недолго, — и зашелъ къ акцизному. Предварительно посмотрѣлъ на низко нависшія, тяжелыя тучи, дышавшія сырѣмъ холодомъ, и вспомнилъ, что звѣробой помогаетъ отъ простуды.

Въ маленькой и грязной холостяцкой столовой акцизнаго готовъ былъ завтракъ: маринованные грибы, гусь съ капустой, яичница. Рядомъ съ грибами стоялъ пузатый желтый графинчикъ.

Въ концѣ-концовъ, необходимо поддерживать до послѣдней минуты прежнія отношенія. Этого требуетъ и конспирація.

Выпили сначала передъ закуской, потомъ послѣ закуски, потомъ вообще. Акцизный былъ въ либеральномъ ударѣ. Уславъ подальше кухарку, говорилъ о близкомъ торжествѣ революціи, о необычайно солидарныхъ выступленіяхъ рабочаго класса, о пересмотрѣ избирательныхъ правъ и расширеніи компетенціи совѣщательной Думы. Зотычъ молча пилъ, ѣлъ и изрѣдка кивалъ головой, чтобы не задерживать краснорѣчія хозяина.

Гусь былъ слишкомъ жиренъ. Послѣ него очень хотѣлось пить и Зотычъ случайно упустилъ изъ виду тотъ предѣлъ, черезъ который онъ заранѣе рѣшился не переходить ни въ какомъ случаѣ. Молчаливое киваніе смѣнилось отвѣтными репликами; а затѣмъ акцизный долженъ былъ замолчать и вмѣсто него заговорилъ Зотычъ.

Хозяинъ слушалъ его долго и внимательно и, дождавшись перерыва, во время котораго гость наливалъ себѣ новую рюмку, сказалъ:

— Да, представьте себѣ... У васъ, батенька, стиль... я вотъ думаю то же самое, но словесно не могу выразить. Только, вотъ, насчетъ амнистіи. Вы полагаете, что се обьявятъ уже... послѣ?

У Зотыча ротъ былъ занятъ закуской, и онъ не могъ отвѣтить. Акцизный мечтательно поднималъ глаза къ потолку и прибавилъ:

— Пожалуй, что вы и правы... Выпустить столько сотенъ,

даже тысячъ заклятыхъ враговъ... Вотъ васъ, напримѣръ... Какихъ бы дѣлъ вы надѣлали!

— Я — инвалидъ! — скромно сказалъ Зотычъ. — Хотя, въ смыслѣ дѣятельности... Да, чортъ возьми, неужели вы воображаете, что мы такъ и будемъ сидѣть въ вашей ямѣ, ожидая, пока насъ освободятъ свыше?

Акцизный захохоталъ и фамильярно хлопнулъ его по плечу.

— Прекрасно понимаю, милѣйшій! Вы пошлете Осипу Александровичу воздушный поцѣлуй и... въ ближайшемъ будущемъ...

Еще разъ засмѣялся и сдѣлалъ оживленный жестъ.

— Разумѣется! — отвѣтилъ тоже развеселившійся Зотычъ и вдругъ поперхнулся глоткомъ. Длинные сѣдые волосы на головѣ у него зашевелились, а сердце на мгновеніе перестало биться и затѣмъ заколотилось въ груди быстро и больно.

Хозяинъ сдѣлался какъ-то странно суетливъ и угодливъ. Но у Зотыча оказалось дома несотложное дѣло. Онъ торопливо распрощался и оставилъ акцизнаго наединѣ съ недоѣденнымъ гусемъ.

Акцизный долго сидѣлъ у стола, потиралъ руки и покашливалъ. Затѣмъ, по привычѣ всѣхъ живущихъ въ одиночествѣ людей пробормоталъ почти вслухъ:

— Однако... Изъ этого можетъ выйти большая непріятность. А что если я постараюсь предупредить Осипа Александровича?

Велѣлъ кухаркѣ убирать со стола, надѣлъ фуражку съ форменными кантами, порывѣвшее пальто, поднялъ воротникъ и вышелъ.

На другой день Мокрухинъ спѣшно насаживалъ заплатку на только что купленные для Перайшвили сапоги, когда пришла Роза, взволнованная и блѣдная. Еще на ходу бросила новость, которая упала на всѣхъ тяжелымъ камнемъ:

— У Вадемекума приставъ дѣлалъ обыскъ.

Только что продернутая дратва со свиной щетишкой на концѣ застыла въ воздухѣ. Паль Палычъ, слонявшійся безъ



дѣла изъ угла въ уголъ, вытащилъ руки изъ кармановъ и потянулся къ бородкѣ.

— Перерыли весь хламъ, — рассказывала Роза, — но, къ счастью, у него ничего не было. Все-таки въ домѣ поставили городского и Вадемекума никуда не пускаютъ. Должно быть, увезутъ въ тюрьму или вышлютъ.

Евсей протяжно свистнулъ.

— Вотъ вамъ и свобода! И заимка, и деньги, и все на смарку...

— Дѣло не въ этомъ! — рѣзко оборвалъ его Палъ Палычъ. — Вадемекума до сихъ поръ не трогали, хотя прекрасно знали объ его отношеніяхъ къ намъ. Очевидно, политика приняла другой курсъ... Мы должны приготовиться ко всякимъ случайностямъ, а для этого лучше собраться и ждать дальнѣйшихъ событій вмѣстѣ... Идите поскорѣе, Роза, и зовите сюда кавказца съ Зотычемъ... Гдѣ у васъ паспортные бланки, Евсей?

Черезъ двадцать минутъ всѣ были въ сборѣ. Зотычъ сталъ меньше ростомъ, поникъ. Забился въ дальній уголъ и смотрѣлъ оттуда мутными, страдающими глазами.

Торопливо, дѣловито обсудили происшествіе съ Вадемекумомъ. И рѣшили ничего не предпринимать, пока не выяснится дальнѣйшее. Скорѣе всего, этотъ обыскъ — просто результатъ дурного настроенія вершителя судебъ города. Откуда было ему дознаться до чего-нибудь серьезнаго.

Зотычъ не подавалъ голоса, молчалъ.

Ждали недолго. Приставъ пришелъ одинъ, безъ городовыхъ и очень почтительно раскланялся. Бѣлая борода торчала вѣеромъ. Побрякивала шашка.

— Какъ разъ всѣ въ сборѣ? Очень пріятно, очень пріятно... А у меня къ вамъ маленькое дѣло...

— Чѣмъ можемъ служить? — въ качествѣ парламентаря выступилъ Палъ Палычъ, со своей обычной спокойной предупредительностью.

— Видите ли, господа... Вы позволите присѣсть? — указалъ приставъ на свободную табуретку. Очень вамъ благодаренъ. Ревматизмъ одолеваетъ. Какъ плохая погода, такъ и ломить

всѣ суставы. Годы сказываются, ничего не подбласнь... А до пенсіи осталось меньше года... Какъ-нибудь дотяну.

Поставилъ шаніку между колѣнъ и оперся на нее руками, какъ на костыль.

— Да-съ, меньше года. Но, помилуй Богъ, если какая-нибудь неприятность! По нынѣшнему времени приказано держать всѣхъ въ ежовыхъ рукавицахъ, а я слабъ, не умѣю... Вотъ, напримѣръ, вы, господа. Развѣ я васъ притѣснялъ? А вы замыслили побѣгъ. Это нехорошо. Вы знаете, чѣмъ я за васъ отвѣчаю? Своей пенсіей, ни больше, ни меньше. На старости лѣтъ придется милостыню просить. Между тѣмъ, я всегда вамъ покровительствовалъ. Это нехорошо.

— Васъ ввели въ заблужденіе, Осипъ Александровичъ! — съ возможнымъ спокойствіемъ отвѣтилъ Паль Палычъ. — Ни о чемъ подобномъ...

— Очень возможно, очень возможно! — радостно закивалъ головою приставъ. — Я и самъ думаю, что это гнусная клевета. Но войдите въ мое положеніе... Я, все-таки, беспокоюсь. Ночей не буду спать, а при моемъ здоровьѣ это очень вредно. Такъ ужъ вы не будьте въ претензіи, если я приму мѣры. Не потому, чтобы я вамъ не довѣрялъ, помилуй Богъ! Просто для моего личнаго спокойствія.

Приставъ со вздохомъ поднялся и, пятась задомъ къ дверямъ, объяснялъ, какія именно мѣры будутъ приняты.

— У вашихъ квартирокъ я людей поставлю... Вамъ они не помѣшаютъ, а мнѣ — покойнѣе. И ужъ сдѣлайте одолженіе, пожалѣйте старика. Теперь все-равно погода плохая: не выходите за городъ. А уѣздную полицію я, со своей стороны, уже предупредилъ... За симъ честь имѣю кланяться.

И, избѣгая дальнѣйшихъ разспросовъ и поясненій, исчезъ.

— Будь ты проклята, старая перешница! — проворчалъ ему вслѣдъ Евсей. — Теперь уже все-равно не убѣжимъ... Ни денегъ, ни заимки... Что бы Вадемскому-то заранѣе адресъ намъ сообщить!..

Паль Палычъ предложилъ справиться у акцизнаго о положеніи Вадемскаго. И, если ему грозятъ серьезныя неприятности, припугнуть пристава скандаломъ и потребовать его освобожденія.

Зотычъ торопливо всталъ, блѣдный и косматый.

— Къ акцизному нельзя, потому-что это онъ... или я... Онъ или я, это все-равно...

Никто не понималъ въ чемъ дѣло. Только воззрились на старика широко открытыми, удивленными и испуганными глазами. А Зотычъ ушелъ обратно въ свой уголь и забился тамъ въ истерическомъ плачѣ, вздрагивая костлявыми плечами и ударяясь головой о стѣну.

Принесли воды, давали выпить, успокаивали.

— Ахъ, да оставьте меня! — просилъ Зотычъ въ промежуткахъ между рыданіями. — Я виноватъ, я предатель... Я былъ пьянъ и выболталъ... И изъ-за меня все пропало.

Тогда оставили и, какъ-будто сговорившись, одинъ за другимъ вышли въ комнату Мокрухина съ сумрачными, злыми лицами. Осталась только Роза. Прижала къ своей груди сѣдую голову, гладила по волосамъ и приговаривала:

— Ну, ну, успокойтесь... Нельзя такъ. Еще все обойдется... Исправимъ.

— Негоденъ я... Никуда негоденъ! — упрямо настаивалъ Зотычъ. — Даже здѣсь, въ ссылкѣ-то... Выбросьте меня вонъ, я не вашъ... Куда я гожусь?

Въ сосѣдней комнатѣ глухо гудѣли возмущенные голоса. Зотычъ прислушивался, ловилъ обрывки фразъ и каждый разъ вздрагивалъ, какъ подъ рѣжущимъ ударомъ бича. Роза поняла, что здѣсь онъ не успокоится, и предложила ему:

— Пойдемте ко мнѣ. Я не оставлю васъ одного сейчасъ... Пойдемте.

Почти насильно вывела его въ сѣни, одѣла, нахлобучила на голову шапку. Онъ растерянно и торопливо застегивалъ пуговицы на пальто, никакъ не могъ застегнуть, и всхлипывалъ, шмыгая носомъ.

На улицѣ сырой, холодный дождь освѣжилъ его. Выпрямился, сталъ держаться бодрѣе. И пошелъ той особенной, слишкомъ твердой походкой, какой идутъ, должно быть, приговоренные къ смерти.

---

Вадемекума не увезли въ тюрьму и не выслали, но всякія сношенія съ нимъ затруднились до чрезвычайности.

Кромѣ того, финансовая комбинація потерпѣла полный провалъ. Перепуганная обыскомъ, мать аборигена съ непривычной для ней рѣшительностью приказала Вадемскому сидѣть дома и никакихъ „торговыхъ предпріятій“ не затѣвать.

Колонія упала духомъ, — и это было особенно чувствительно послѣ того подъема, который вызвала подготовка къ побѣгу. Сдѣлались неразговорчивы, необщительны. Палъ Палычъ опять принялся за переводъ, но подолгу просиживалъ надъ одной строчкой, думая совсѣмъ не объ экономическихъ разсужденіяхъ нѣмецкаго автора.

Тяжелымъ камнемъ лежало у всѣхъ на сердцѣ дѣло Зотыча. Если бы оно было простымъ предательствомъ, то угнетало бы не такъ сильно. Презирать и ненавидѣть не трудно. Но Зотыча нельзя было ни презирать, ни ненавидѣть.

А вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможно было и возстановить съ нимъ прежнія отношенія. Перайшвили перебрался въ комнату Палъ Палыча.

Полученіе писемъ и газетъ по подставнымъ адресамъ прекратилось, а легальныя, цензурованные, должно-быть, гдѣ-то пропадали. Обычный вѣстникъ — акцизный — прятался. И похоже было на то, что весь міръ кончается за видимой гранью степи, и тамъ, вдали, никто не живетъ, не мыслить, не борется.

Проходили безцѣльные, кошмарныя недѣли. Евсей шептался съ Перайшвили о новой попыткѣ побѣга, но прежняя увѣренность исчезла и слова о волѣ звучали пустымъ, безсодержательнымъ звукомъ. А между тѣмъ всѣ сознавали, что такъ жить больше нельзя, и поддерживали себя только какой-то неопредѣленной, туманной надеждой.

Роза рѣдко показывалась на квартирѣ Палъ Палыча. Она наблюдала за Зотычемъ и не спускала съ него глазъ, замѣчая, что лицо у него съ каждымъ днемъ дѣлается все чернѣе, а глаза вваливаются глубже.

Зотычъ замкнулся въ себѣ и молчалъ, молчалъ упорно. Должно-быть, онъ очень мало ѣлъ и мало спалъ.

Когда Роза пробовала утѣшить его, онъ отмалчивался. Иногда только безнадежно потряхивалъ головой и говорилъ:



— Нѣтъ, нѣтъ... Я теперь знаю себѣ цѣну. Я никуда не похужусь.

А одинъ разъ, какъ-будто забывъ о присутствіи Розы, сказалъ:

— Нельзя мнѣ больше жить. Слишкомъ трудно и — незачѣмъ. Я умру.

— Вы этого не сдѣлаете, Зотычъ!—возразила Роза. Не сдѣлаете только хотя бы потому, чтобы не огорчить меня еще больше...

— Развѣ васъ это огорчить?

— Если бы не огорчило, я не была бы теперь съ вами.

— Хорошо. Я подожду. Только не говорите мнѣ жалобныхъ словъ. Это для меня тяжело. И знаете, что еще особенно больно для меня? Меня никто не называлъ въ глаза предателемъ, даже Перайшвили. Они меня жалѣютъ.

Подумалъ и сказалъ съ разстановкой:

— Можетъ-быть, они и правы. Можетъ-быть, нельзя особенно осуждать человѣка за то, что онъ дѣлаетъ зло только потому, что никуда не годится.

---

Въ воздухѣ появилось что-то особенное. Попрежнему не приходило никакихъ вѣстей изъ жизни, попрежнему степной горизонтъ оставался гранью міра, а между тѣмъ было что-то особенное. Можетъ-быть, оно падало прямо съ неба, вмѣстѣ съ первымъ снѣгомъ, густыми хлопьями покрывавшимъ поля и дороги.

— Что-то случилось! — настаивалъ Евсей. — Вы видите, какъ онъ бѣгаетъ?

Приставъ суетился. То-и-дѣло мелькала на улицѣ его шинель съ выщипаннымъ енотовымъ воротникомъ. А акцизный, при случайной встрѣчѣ на улицѣ, снялъ шапку и низко поклонился. Евсей плюнулъ въ его сторону, недвусмысленно погрозилъ кулакомъ и отвернулся.

— Устанавливается санная дорога!—меланхолически констатировалъ факты Палъ Палычъ.—А почта вторую недѣлю не приходитъ. Да и на телеграфъ что-то такое дѣлается. Почтмейстера какъ въ холодную воду обмакнули.

Евсей злился и допрашивалъ обывателей. Но тѣ къ по-

литической жизни относились съ полнымъ равнодушіемъ и безпокоились только, кого назначать приставомъ, когда Осипъ Александровичъ уйдетъ въ отставку. Все-таки и до нихъ что-то дошло.

— Свободы, баили, добываютъ... Такъ что по поводу японцевъ. Отецъ Ананія толковалъ, да невнятно что-то. Кто ихъ разберетъ.

Роза попробовала повліять этимъ нараставшимъ настроеніемъ на Зотыча. Увѣряла его, что не сегодня, завтра придетъ освобожденіе. Тогда все забудется...

Зотычъ не вѣрилъ.

— Я теперь ни во что не вѣрю! Не такъ скоро. Но... знаете... Если бы, дѣйствительно, пришла свобода, я хотѣлъ бы еще жить... Посмотрѣть хотя однимъ глазомъ на свободный, великій народъ... Я всю жизнь былъ въ ссылкѣ и думалъ, что я—дѣятель... Но своимъ личнымъ дѣломъ я, можетъ-быть, не придвинулъ ни на шагъ эту свободу. Пусть такъ. Истерся я. Но люблю я ее всей душой, всѣмъ сердцемъ... Вѣрите вы мнѣ?

— Вѣрю, Зотычъ!

— Спасибо... И эта свобода—плоть отъ плоти, кровь отъ крови моей. Этого вы у меня не отнимете.

А сифъ падалъ. Сыпались бѣлые хлопья, и санный путь установился. Но не по этому пути, а по гудѣвшей подъ вѣтромъ желѣзной проволоки пришла, наконецъ, желанная вѣсть.

У Палъ Палыча на квартирѣ еще всѣ спали, когда рано утромъ явился приставъ въ парадной формѣ и при медаляхъ. Видъ у него былъ и торжественный и, въ то же время, совсѣмъ растерянный.

Трое жильцовъ закутались въ одѣяла и, при матовомъ блескѣ разсвѣта, собрались въ большой комнатѣ.

Приставъ мять въ рукахъ снятыя бѣлыя перчатки и не зналъ, съ чего начать.

— Господа! Вы простите, что я васъ потревожилъ.

— Да, ну васъ! — горѣлъ нетерпѣніемъ Евсей. — Мы извиняемъ.

— Благодарю! Такъ вотъ, господа. Поздравляю васъ сво-

бодными гражданами! Сейчас я получилъ срочную телеграмму... и манифестъ... и еще что-то такое... Однимъ словомъ, вы можете уѣзжать куда-угодно изъ предѣловъ вѣреннаго мнѣ города.

Одѣлись съ шумомъ и пѣснями и отправились къ Розѣ. Та выслушала ихъ и заплакала горячими, радостными слезами.

— Да что же это... Да вѣдь это... побѣда?

И опять та, далекая, но когда-то такая знакомая жизнь сдѣлалась родной, близкой и — необходимой, какъ воздухъ. Говорили, перебивая другъ друга, смѣялись, какъ дѣти, и дышали глубоко, полной грудью. Опять дружно и бойко запѣли пѣсню, — когда-то запрещенную, теперь свободную.

— Товарищи... а Зотычъ? — вспомнила Роза.

Не надолго, на нѣсколько мгновений набѣжала на общее веселье мрачная тучка. Но, въ концѣ-концовъ, въ груди не хватило уже мѣста ничему, кромѣ радости.

— Пойдемте и къ нему всё вмѣстѣ! — предложилъ Евсей. — Утѣшимъ старика. Пусть уже всё будутъ счастливы. Ладно?

Уѣзжали въ двухъ кибиткахъ. Лошади рыли снѣгъ и топтались на мѣстѣ. Какъ-будто и онѣ хотѣли вырваться поскорѣе изъ заштатнаго города, чтобы умчать своихъ сѣдоковъ въ новое царство — царство радостныхъ мечтаній и свѣтлыхъ иллюзій.

Провожали Вадемекумъ и приставъ, стоя рядомъ, какъ добрые пріатели. Издали раскланивался акцизный.

Роза смотрѣла, тепло ли закутанъ Зотычъ.

— Спасибо, родная! Хорошо, тепло мнѣ.

Лицо у него было грустное, но спокойное, и глаза ласково смотрѣли изъ-подъ мохнатої шапки. Когда лошади тронулись, онъ пожалъ Розѣ руку и сказалъ:

— Наконецъ-то... Посмотрю и я на свободу. И лучше всего то, что не будетъ больше заштата... не будетъ потертыхъ. Посмотрю на свободу, а потомъ... потомъ и умереть можно, Розочка. Старъ уже я. Усталъ.

Летѣли кибитки по серебряной, снѣжной степи. И горизонтъ раздвигался, открывая новый міръ, возрожденную жизнь...

## Р а з л о м ъ.

Вечерами, когда солнце садилось, въ городѣ темнѣло не сразу. Верхній, красновато-желтый край солнца прятался за синей горой, а небо оставалось совсѣмъ свѣтлымъ и долго еще бросало внизъ всей шириной этотъ свой безразличный, разсѣянный свѣтъ съ вялыми, мутноватыми тѣнями, безъ рѣзкихъ бликовъ, безъ игры красокъ. Напоминали эти сумерки далекій сѣверъ, хотя городъ стоялъ на берегу теплаго моря и въ его окрестностяхъ выдѣлывали хорошее вино, вкусное и пахучее, а въ оградахъ садовъ росли стройные и мертвые кипарисы.

Еще долго послѣ того, какъ солнце скрывалось, нельзя было зажигать огня, потому что онъ не могъ бороться съ сумерками, а только вносилъ въ нихъ что-то свое, желтое и, какъ-будто, нездоровое.

На лѣстницѣ, по которой Иванъ Ильичъ поднимался каждый вечеръ, какъ разъ въ часъ сумерокъ, — пожилой и жирный швейцаръ протиралъ стекло у лампы и стучалъ спичечной коробкой. А когда Иванъ Ильичъ доходилъ до площадки, передъ нимъ, на стѣнѣ, вдругъ обрисовывалась его собственная тѣнь, прыгающая и кривая, стѣна желтѣла, а снизу доносилось звяканье стекла, надѣтаго на горѣлку. До площадки было четырнадцать ступенекъ, а отъ площадки до двери—восемь. У двери Иванъ Ильичъ останавливался, нажимая кнопку, и разстегивалъ у пальто верхнюю пуговицу. Звукъ у звонка былъ странный, очень низкій, и, прислушиваясь къ нему, — а онъ висѣлъ въ прихожей, сейчасъ



же надъ дверью,—Иванъ Ильичъ почему-то слегка улыбался и отстегивалъ вторую пуговицу.

Дверь открывала горничная, а у входа въ гостиную стояла Софья Борисовна, держала сложенные руки на уровнѣ талии и щурилась, чтобы всмотрѣться, хотя хорошо знала, кто это пришелъ.

Иванъ Ильичъ передавалъ горничной пальто, протиралъ стекла очковъ, громко и внимательно сморкался, а потомъ протягивалъ Софьѣ Борисовнѣ руку и говорилъ:

— Ну, вотъ и я... Здравствуйте.

Большой рыжій котъ, Тоська, прыгивалъ съ дивана, поднималъ хвостъ трубой и терся объ ноги Ивана Ильича.

— Здравствуйте, дорогой!—ласковымъ груднымъ голосомъ отвѣчала Софья Борисовна и отступала шага на два назадъ, чтобы дать дорогу Ивану Ильичу, а затѣмъ прибавляла:— Отстанъ, Тоська... Прогоните его. Онъ вамъ брюки испачкаетъ своей шерстью.

На душѣ у Ивана Ильича было спокойно, такъ какъ по голосу Софьи Борисовны онъ чувствовалъ, что съ прошлаго вечера здѣсь не случилось ничего непріятнаго и выдающагося. Онъ нагибался, гладилъ Тоську по пушистой спинѣ и, съ еще быющими отъ прилива крови висками, садился въ кресло съ обдавленнымъ ямочкой сидѣньемъ.

— Пустяки. Это легко отчищается. Только взять щетку, разъ, два—и готово... Отъ Пети имѣете что-нибудь?

Софья Борисовна садилась на диванъ, клала подъ локоть сафьяновую кавказскую подушку, расшитую цвѣтами, похожими на стручковый перецъ.

— Отъ Пети? Нѣтъ еще. Вѣдь онъ на этой недѣлѣ писалъ уже... Ничего тамъ, все попрежнему... Да я, кажется, уже рассказывала?

Иванъ Ильичъ кашлялъ и крѣпко теръ рукой объ руку, такъ что чисто вымытая кожа на ладоняхъ скрипѣла.

— Холодно... Должно-быть, будетъ штормъ на морѣ... Знаете, тамъ, въ гниломъ углу, тучи собираются.

Не спѣша, задумчиво, говорили о погодѣ, пока длинныя сумерки не кончались и не темнѣло совсѣмъ. Тогда на диванѣ бѣлѣли только волосы Софьи Борисовны, — густые и

волнистые, съ сильной голубоватой сѣдиной, да кружевная вставка на ея платьѣ. Тоська лежалъ на колѣняхъ у гостя и громко, всхрипывая отъ удовольствія, мурлыкалъ. Иванъ Ильичъ гладилъ его длинными, ровными движеніями отъ ушей по круглой шеѣ до конца спины, и казалось, что именно отъ прикосновенія къ мягкой теплой шерсти было такъ спокойно, легко и пріятно сидѣть въ этой комнатѣ.

Софья Борисовна звонила.

— Наташа, лампу!

Съ огнемъ комната дѣлалась другая, но тоже пріятная и спокойная. И было въ ней какъ-то немножко грустно, — должно-быть, потому, что вся мебель была въ ней одинаковая, очень чистая, и давно уже стояла на своихъ мѣстахъ, такъ что успѣла соскучиться.

Когда зажигали лампу, Иванъ Ильичъ осматривался кругомъ, медленно скользилъ взглядомъ по всѣмъ стѣнамъ, начиная отъ колонки съ фарфоровой вазой, и опять возвращаясь къ этой колонкѣ, — и вспоминалъ свою собственную квартиру, изъ которой только что вышелъ.

Она была велика, — слишкомъ велика для одного. Тамъ были слишкомъ широкія двери и слишкомъ высокія окна съ толстыми, какъ въ магазинахъ, стеклами. По вечерамъ въ кабинетъ изъ пустыхъ комнатъ доносились смутные, непріятные шорохи, и рѣзко и больно чувствовалось одиночество.

Это одиночество овладѣло Иваномъ Ильичемъ даже не въ тотъ день, когда отъ него уѣхала жена, а гораздо раньше. И большая квартира такъ срослась съ одиночествомъ, что Иванъ Ильичъ чувствовалъ его даже по утрамъ, въ рабочіе часы, когда въ пріемной сидѣли, переговариваясь вполголоса короткими фразами, кліенты.

И, взглядываясь при свѣтѣ лампы въ лицо гостя, Софья Борисовна поправляла у себя на груди кружевную вставку и говорила:

— А у васъ, дорогой, опять глаза провалились. Вы хандрите?

У Ивана Ильича не было секретовъ отъ Софьи Борисовны, но почему-то онъ, все-таки, опускалъ глаза книзу и

отвѣчалъ неувѣренно, даже не пытаясь выдать свою ложь за правду:

— Нѣтъ, это опять почки. Вы знаете...

— Да, да...

Замолкали, — и было очень хорошо, что не надо искать темы для разговора и развлекать другъ друга, насилуя мысль.

Сидѣли долго молча и думали, а потомъ кто-нибудь изъ двоихъ случайно произносилъ вслухъ послѣдній обрывокъ мысли.

— ...Или не вызывать его домой, а поѣхать къ нему, за границу... Какъ вы думаете?

Иванъ Ильичъ зналъ, о комъ идетъ разговоръ, но не спѣшилъ отвѣтить. Спускалъ кота съ колѣнъ, дулъ на обшлага, къ которымъ прилипли желтыя шерстинки.

— Да, конечно. Поживете съ нимъ вмѣстѣ въ курортѣ. Отдохнете. И ему не будетъ такъ скучно, какъ у васъ въ имѣніи, въ Чумаевѣ.

— Тамъ и домъ, кажется, совсѣмъ развалился. А ремонтировать не стоитъ.

— Пожалуй... Будетъ дуть отъ оконъ, въ полахъ — щели. Я не люблю старыхъ домовъ.

Иванъ Ильичъ откидывался на спинку кресла, такъ что изъ-подъ коротко стриженной бородки выставлялся художавый кадыкъ. Что-то начинало щекотать его по темени, но онъ зналъ, что это не муха, а острый листъ пальмы, — цикаса, — которая стоитъ за кресломъ. Слегка морщился и поднималъ одну бровь выше другой.

— А помните, какъ тогда, въ іюль... Все было совсѣмъ какъ новое и пахло краской...

Софья Борисовна смотрѣла на него добрыми глазами и улыбалась.

— Тогда только что кончился ремонтъ... Я помню. А дальше мнѣ не хочется вспоминать. Правда?

— Да... А тогда было хорошо. И волосы у васъ были не сѣдые, а совсѣмъ черные, черные... Мальчика вы взяли на руки и убѣжали съ нимъ вмѣстѣ въ садъ, къ пруду.

— Какъ давно... Теперь уже онъ студентъ. Можетъ-быть, онъ самъ... Вы не чувствуете, какъ это давно?

— Не всегда.

Софья Борисовна переставала улыбаться и лицо у нея принимало дѣловое выраженіе.

— Вотъ мы кстати, дорогой, заговорили объ имѣніи... Управляющій прислалъ мнѣ письмо и отчетъ. Ну, и мнѣ кажется, что тамъ есть какое-то плутовство. Посмотрите, пожалуйста... Я сейчасъ принесу вамъ.

Уходила къ себѣ въ спальную, гдѣ хранила бумаги, а въ комнатѣ оставалось послѣ нея что-то такое невидимое, но почти осязаемое. Комната не казалась пустой. И легкій запахъ дорогихъ, но старомодныхъ духовъ оставался висѣть въ воздухѣ — прозрачный остатокъ, признакъ прежняго кокетства.

Иванъ Ильичъ закрывалъ глаза и видѣлъ заросшій акаціей уголь помѣщичьяго дома, потомъ нервный смѣхъ, запахъ тѣхъ же духовъ и — поцѣлуй, внезапный, къ которому не готовились и который, поэтому, обжегъ пламенемъ.

Да, это давно. Можетъ-быть, столько дней назадъ, сколько сѣдыхъ нитей... сѣдыхъ серебряныхъ нитей въ черныхъ когда-то волосахъ.

— Видите: это — письмо, а это — отчетъ.

Раскладывала, возвратившись изъ спальни, бумаги передъ Иваномъ Ильичемъ и нагибалась къ нему такъ близко, что задѣвала его щеку своимъ платьемъ. И по этому прикосновенію, и по тому спокойствію, съ какимъ онъ самъ начиналъ разсматривать бумаги, Иванъ Ильичъ чувствовалъ, что *то*, дѣйствительно, было очень давно и что въ старомъ помѣщичьемъ домѣ теперь должны быть большія, гнилыя щели въ полахъ и окнахъ. И сквозь щели дуетъ холодомъ.

— Здѣсь у него написано: отъ продажи лѣса выручено восемьсотъ сорокъ два рубля семнадцать копеекъ, а въ другомъ мѣстѣ онъ говорить...

Разбирались, считали, немного спорили. Затѣмъ Иванъ Ильичъ аккуратно складывалъ бумаги и пряталъ ихъ въ боковой карманъ сюртука.



— Я посмотрю дома... Онъ развелъ у васъ такую сложную бухгалтерію, что сразу не разберешься.

Софья Борисовна опять садилась на диванъ, подкладывала подъ локоть подушку, вышитую стручками красного перца. Лампа на столѣ горѣла свѣтло и ровно, и тѣнь отъ обшитого кружевами абажура дѣлила комнату на двѣ равныя части: верхнюю — розоватую, и нижнюю — свѣтлую, бѣлую. На стѣнѣ висѣлъ большой старый портретъ Софьи Борисовны и то, что голова его оказывалась въ темноватой розовой половинѣ, очень шло къ нему.

— А какъ вы сами думаете насчетъ лѣта? — спрашивала Софья Борисовна, кладя руку, — длинную и блѣдную, безъ колець, но съ массивнымъ золотымъ браслетомъ, — на со-  
нетку.

— Конечно, я хотѣлъ бы, какъ всегда, поѣхать съ вами вмѣстѣ... Но все зависитъ отъ того, какъ пойдетъ дальше процессъ Теръ-Матусова. Возможно, что мнѣ нельзя будетъ...

— Наташа, готовьте чай!

— ...нельзя будетъ отлучиться. Тогда я запоздаю.

— Нужно захватить хотя осенній сезонъ...А еще лучше —  
вмѣстѣ...

— Да, я не могу представить себѣ, какъ буду безъ васъ переѣзжать границу. Мнѣ кажется, что я растеряюсь, смолoduшничая и вернусь обратно.

Горничная въ сосѣдней комнатѣ звенѣла чашками. Иванъ Ильичъ зналъ, что сейчасъ будетъ чай и къ нему печенье, такое, какое онъ любитъ — бисквиты, песочники съ миндалемъ и маленькіе сладкіе крендельки, густо обсыпанные кристалликами сахара. А у самовара немножко продавленъ одинъ бокъ, и его давно уже хотятъ отдать въ починку, потому что это некрасиво, но никакъ не соберутся.

— Вы у кого берете теперь чай? Мнѣ утромъ подають такую гадость, что нельзя пить. Пахнетъ березовымъ вѣнникомъ.

— Это потому, что переставается. Нужно только залить кипяткомъ, а не кипятить. Я даже на самоваръ не ставлю. Получается не такъ густо, но ароматъ лучше.

— Да, у васъ очень вкусный чай. Докторъ говорилъ, что нельзя пить крѣпкій, и мнѣ ужасно досадно.

Переходили въ столовую, а въ гостиной убавляли огонь у лампы, чтобы не начала коптить. За чаемъ опять говорили объ имѣніи, о заграницѣ, о сынѣ Софьи Борисовны, которому еще три года учиться до инженера. Часто повторяли то же самое, что говорили еще до чая, въ гостиной, но это было несколько не досадно, а пріятно.

Бѣлыя, аккуратныя кусочки сахара таяли и разсыпались, какъ весенній ледъ, въ прозрачныхъ стаканахъ. Вкусно пахло печеньемъ, и не такъ хотѣлось пить и ѣсть, какъ сидѣть за скатертью съ пыпуклыми, хорошо заглаженными складочками, мѣшать сахаръ горячей серебряной ложечкой и думать, что взять къ тому стакану, — кренделекъ или песочникъ.

Иногда, невзначай, сквозь незначительныя, таявшія такъ же легко, какъ сахаръ, фразы, прорывалось вдругъ что-то шероховатое, съ острыми гранями, больно и жутко тревожившее мысль.

Имя женщины, которая когда-то уѣхала отъ Ивана Ильича, или того больного, желчнаго мужчины, который былъ мужемъ Софьи Борисовны, ревновалъ ее къ Ивану Ильичу, нехорошо ругался и иногда даже билъ. И эти имена вдругъ разворачивали многое, что такъ хорошо было прикрыто бѣлой скатертью съ заглаженными складочками.

Иванъ Ильичъ морщился, поднималъ одну бровь выше другой и говорилъ:

— Не надо... Ахъ, не надо... Ну, зачѣмъ теперь это все?

И Софья Борисовна отодвигалась такъ, что ея лица не было видно изъ-за самовара съ помятымъ бокомъ, и, звеня ложечкой, отвѣчала такими мягкими, бархатистыми словами, отъ которыхъ все тревожное блѣднѣло и пряталось:

— Я нечаянно, дорогой... И, вѣдь, въ сущности говоря, это принесло намъ не одно только горе. Теперь мы постарѣли, успокоились и... и намъ уже не такъ худо, правда?

— Конечно, не худо. Мы успокоились. Вѣдь со старостью часто приходитъ спокойствіе. Но поэтому не нужно вспоминать.

— Забудьте, дорогой... Хотите еще стаканъ? И вы, кажется, не брали варенья. Слива съ миндалемъ — это очень вкусно.

Въ столовой противъ буфета висѣли длинные часы въ потемнѣвшемъ дубовомъ футлярѣ. Вокругъ циферблата, среди затѣйливыхъ завитушекъ, было вырѣзано прямыми и мертвыми латинскими буквами: „Amicitia vincit horas“. Сквозь прорѣзъ футляра сверкало мѣдное, серьезное лицо маятника. Онъ дѣловито стучалъ, отрубая секунды, и, при каждомъ размахѣ, внутри стараго, сентиментальнаго футляра что-то вздрагивало и жалобно всхлипывало.

За пять минутъ до одиннадцати дубовый футляръ издавалъ еще какой-то особенный звукъ, болѣе громкій и болѣе жалобный, чѣмъ другіе.

Иванъ Ильичъ допивалъ стаканъ и подымался, стряхивая съ усовъ крошки сахарныхъ крендельковъ.

— Пора...

Софья Борисовна не удерживала.

— Идите себѣ, дорогой... И сейчасъ же ложитесь спать, а не работайте. Вамъ вреднѣ всего — засиживаться по ночамъ.

Гость бралъ ея руку, — блѣдную и продолговатую, — прикладывалъ къ губамъ. И всегда въ усахъ у него оставалась крошка, которая колола кожу.

— Отчетъ я вамъ завтра занесу, если успѣю просмотрѣть... Не забудьте поклонъ отъ меня, если будете писать за границу.

Въ прихожей, пока горничная въ крошечномъ бѣломъ чепчикѣ на самой макушкѣ головы снимала съ вѣшалки пальто, вспоминалось еще что-нибудь пужное, — и, пока кончали разговоръ, старые часы въ столовой начинали бить. Между ударами прокашливались сухимъ и тягучимъ стариковскимъ кашлемъ:

— Кхе... кхе... бумъ!.. кхе... бумъ!..

Иванъ Ильичъ надѣвалъ шапку, надвигая ее низко, такъ что уши пригибались и начинали торчать.

— Дорогой, а вы не забыли кашнэ? Конечно, забылъ... Ахъ, какой! Дайте, я сама повяжу вамъ шею. У человѣка

катаръ горла, а онъ не бережется. Теперь такая сырость...

Когда Иванъ Ильичъ выходилъ на улицу, ему казалось, что тамъ очень темно и холодно. На бульварахъ деревья безъ листьевъ были голы и узловаты, какъ пальцы скелета, а кипарисы поднимались кое-гдѣ некрасиво и неумѣстно, болѣе черные, чѣмъ темнота ночи и похожіе на упылые, неподвижные призраки.

Иванъ Ильичъ дѣлалъ большіе шаги, торопился. Итти было недалеко: миновать коротенькій бульваръ, пересѣчь площадь и за площадью обогнуть еще одинъ кварталъ. По дорогѣ всегда попадался сонный извозчикъ и предлагалъ подвезти, но Иванъ Ильичъ молча поднималъ плечи и доходилъ пѣшкомъ.

Дома сейчасъ же раздѣвался и передъ тѣмъ, какъ лечь въ постель, принималъ какихъ-то темныхъ, вонючихъ капель отъ бессонницы. Но капли уже плохо помогали, потому что Иванъ Ильичъ принималъ ихъ нѣсколько лѣтъ подрядъ.

Лежалъ, насильно закрывая глаза, такъ что вѣкамъ становилось больно и щекотно, а въ большой квартирѣ было неуютно, какъ на улицѣ, и неприятные шорохи доносились изъ сосѣднихъ нежилыхъ комнатъ.

Утромъ, изломанный и усталый, принималъ кліентовъ, затѣмъ ѣздилъ въ судъ съ толстымъ портфелемъ подъ мышкой, часто говорилъ тамъ скучныя рѣчи о деньгахъ, банкротствахъ и неисполненныхъ подрядахъ. А къ вечеру усталость проходила и, когда опускались бѣлыя сумерки, онъ шелъ опять по знакомымъ улицамъ къ Софѣ Борисовнѣ спокойный и почти здоровый.

Сдѣлаи волосы, а лѣнныя кипарисы на бульварѣ успѣли замѣтно вырасти, но ничто не измѣнялось въ содержаніи жизни, и было оно всегда одинаковое, какъ нестарѣвшееся, молодое и красивое лицо на большомъ портретѣ Софьи Борисовны.

Однажды на бѣломъ столѣ, рядомъ съ вазочкой для вренья и корзиночкой съ крендельками, появился продолговатый кусокъ печатной бумаги, — некрасивый, грязноватый



и пахнувшей краской. Это была вечерняя телеграмма о войнѣ. Въ грязныхъ строкахъ торопливые люди оттиснули неряшливо и спѣшно вѣсти о томъ, сколько людей успѣло уже перебить и ранить другъ друга гдѣ-то тамъ, далеко на краю свѣта. Кусочекъ бумаги показался Ивану Ильичу тревожнымъ и угрожающимъ. Онъ былъ какъ пятно на чистотѣ и внесъ что-то новое, о чемъ не вспоминалось въ прошломъ. И Софья Борисовна тоже была нервнѣе обыкновеннаго и чаще бросала ненужныя слова, отъ которыхъ Иванъ Ильичъ ждался и съ жалобой въ голосъ говорилъ:

— Не надо... Зачѣмъ?

Послѣ этого каждый вечеръ появлялись все такіе же продолговатые листки, и сначала это было очень жутко и больно, а сердце пронизывала острая, болѣзненная жалость къ тѣмъ незнакомымъ, но живымъ людямъ, которые гибли за живое дѣло. Не было видно этихъ смертей, крови и ужаса, но они чувствовались глубоко и живо, просвѣчивали сквозь грязноватыя строки, открывали какую-то глубокую, жадную бездну, въ которую падало все живое, сильное и стремящееся жить.

Оставались нетронутыми сахарные крендельки въ хорошей корзиночкѣ, и сытый швейцаръ позже обыкновеннаго распахивалъ дверь на улицу. А кровавое зло висѣло кошмаромъ, отъ котораго нельзя было укрыться, и направляло слова и мысли все по одному и тому же руслу... И живо и больно чувствовалось, что старая, бѣдная, измученная земля трепещетъ отъ новыхъ неслыханныхъ страданій, и нельзя больше жить такъ спокойно, какъ прежде, въ спокойныхъ и блѣдныхъ сумеркахъ.

...Шли дни, недѣли, мѣсяцы.

... Росло число убитыхъ и искалѣченныхъ, ширилось зло, углублялось страданіе, но ужасъ и негодование вдругъ какъ-то остановились и не шли дальше. И когда раньше говорили: убито трое, ранено четырнадцать, — это было страшно, и когда кто-нибудь изъ сидѣвшихъ за чайнымъ столомъ закрывалъ глаза, онъ ясно видѣлъ передъ собою три растерзанныхъ трупа съ выкатившимися глазами, съ разорванными кровавыми животами, изъ которыхъ вывали-

вались красныя тряпки внутренностей. Но когда Иванъ Ильичъ читалъ уже, что убиты многія тысячи, что все огромное поле сраженія сплошь завалено людьми, которые вчера были еще живы, а сегодня гнили и заражали воздухъ своимъ тлѣніемъ, — это голосъ не вздрагивалъ отъ внутренней боли. Онъ не могъ этого себѣ представить и оставался почти холоденъ.

— Знаете, дорогой, — говорила Софья Борисовна, — кажется, ко всему можно привыкнуть. Даже и къ этому каждодневному гнусному преступленію, къ этому народному позору...

Иванъ Ильичъ принималъ изъ ея рукъ свѣжій стаканъ чая, выбиралъ пирожное. Говорилъ спокойно, роняя крошки на измятый бюллетень.

— Это вполне объяснимо съ точки зрѣнія психологіи... Повторныя психическія ощущенія притупляютъ опредѣленные нервныя центры... Удары попадаютъ все въ одно и то же мѣсто... Чувствительность ослабѣваетъ... И, знаете ли, это обстоятельство имѣетъ свои выгоды. Мы имѣемъ теперь возможность болѣе объективно разсматривать существующій фактъ, благодаря чему въ кругъ изученія попадаютъ очень существенныя детали, которыя ранѣе ускользали отъ нашего вниманія...

И пока онъ говорилъ это, онъ походилъ на самого себя въ тотъ моментъ, когда стоялъ въ судѣ, за адвокатскимъ пюпитромъ.

Софья Борисовна внимательно слушала и въ тактъ его словамъ кивала своей красивой головой, убранной густыми, голубоватыми сѣдинами. Она соглашалась. И хотя въ свѣтлой столовой за бѣлой, хорошо заглаженной скатертью теперь каждый день слышались слова негодованія и бичующаго обличенія, — въ ней было попрежнему свѣтло, уютно и спокойно.

А когда старыя часы капляли и били одиннадцать, Софья Борисовна въ прихожей повязывала своему гостю кашнѣ, и толстый швейцаръ внизу лѣстницы, почтительно кланяясь, распахивалъ дверь съ толстыми шлифованными стеклами.

На улицѣ опять было темно и слишкомъ просторно. Иванъ Ильичъ шелъ по тротуарамъ, отбивая подошвами кожаныхъ калошъ дробные шаги, и казался совсѣмъ маленькимъ, и слегка горбился, какъ-будто просилъ у кого-то извиненія за то, что онъ, такой маленький и слабый, живетъ въ этомъ большомъ и темномъ мірѣ.

Къ концу войны Софья Борисовна сказала гостю:

— Дорогой мой, это странно, но мнѣ кажется, что вы сегодня лучше выглядите. Вы помолодѣли.

Иванъ Ильичъ схватилъ ее послѣднее слово. Улыбнулся, и казалось, что ему теперь не только спокойно, но даже радостно.

— Я помолодѣлъ. Вы правы. Когда на старости лѣтъ вдругъ увидишь, что воскресаетъ то чистое и свѣтлое, чему поклонялся и служилъ въ молодости, — то это такъ хорошо. И тогда молодѣешь.

Досталъ изъ кармана смятую тонкую бумажку, похожую на тѣ, на которыхъ печатались однообразно-кровавые и однообразно-безумныя извѣстія съ войны. Прочелъ ее съ начала до конца, отъ заголовка до подписи, какимъ-то особеннымъ, немножко приподнятымъ тономъ и, когда кончилъ, серьезно и многозначительно посмотрѣлъ на Софью Борисовну.

— Вы понимаете, какъ далеко уже зашло все это? Движеніе охватываетъ все болѣе и болѣе широкіе слои. Это — начало конца, я увѣренъ...

Съ этого времени меньше и меньше говорили о войнѣ, хотя рѣдко молчали, а бой старыхъ часовъ то и дѣло заставлялъ Ивана Ильича еще въ столовой.

За гранью существующаго, сквозь пестроту и нервность сегодняшняго дня поднимались, какъ въ прежніе дни покоя, образы прошлаго, — но это были уже другіе образы, хорошо забытые, изгладившіеся и только теперь воскресшіе съ непонятой рѣзкостью.

Они родились еще до встрѣчи въ дворянской усадьбѣ, до фруктоваго парка, до того поцѣлуя, который положилъ начало новымъ мукамъ.

Вечеринки, выработка міросозерцанія, дорогія, недоска-

запавшая мысль и ширина, бесконечная ширина жизни. Весь миръ въ одной тѣсной студенческой комнатѣ. А потомъ — звяканье тяжелыхъ, злобно-неуклюжихъ ключей на поясѣ чужого и грубаго человѣка и клочокъ неба, блѣдный и пустой, разрѣзанный на правильные, скучные квадраты прутьями желѣзной рѣшетки.

Разсказывая объ этомъ, Иванъ Ильичъ чувствовалъ, какъ въ его сознаніи шевелится что-то похожее на маленькую, стыдливую гордость, и не жаль было теперь тѣхъ самыхъ юныхъ, кипучихъ мѣсяцевъ, которые погасли, какъ въ смрадномъ подвалѣ, за холодной стѣнной тюрьмы. Они оставили послѣ себя чистую и прозрачную, кристальную память.

Софья Борисовна слушала и смотрѣла на своего друга большими, вдумчивыми глазами — почти влюбленными.

Въ это лѣто не поѣхали за границу. Такъ хотѣлъ Иванъ Ильичъ, и Софья Борисовна уступила.

Потомъ Иванъ Ильичъ засталъ ее за недоконченнымъ письмомъ, и она вышла въ гостиную, стирая съ пальца чернильное пятнышко.

— Я пишу ему, чтобы онъ не пріѣзжалъ. Пусть останется тамъ, за границей. Мнѣ будетъ скучно, но такъ, все-таки, лучше.

Иванъ Ильичъ не понялъ.

— Развѣ вы думаете, что его здоровье такъ плохо?.. Мы давно уже его не видѣли. Онъ выросъ, измѣнился. Какъ реагируетъ онъ на все, что происходитъ теперь? Мы не знаемъ.

Она старалась не смотрѣть прямо въ глаза и нагнулась, какъ-будто ее очень интересовали вышитые на подушкѣ красные разводы. И выговорила скользя, между прочимъ:

— Я хочу его сохранить. Онъ слишкомъ молодъ, онъ увлекается... А здѣсь?

Въ этотъ вечеръ Ивану Ильичу не было свѣтло и уютно. Онъ все ежился и поднималъ одну бровь выше другой, а потомъ пролилъ чай изъ стакана, и желтоватая липкая жидкость смочила и испачкала бѣлую скатерть.

Изъ-за снѣжной горы день за днемъ сползали длинныя бѣлыя сумерки. Тянулись долго, и ихъ свѣтъ безъ тѣней



былъ нѣмъ и загадоченъ. Прямыми, холодными полосами онъ падалъ въ высокія, пыльные по угламъ окна большой квартиры, въ которой жилъ Иванъ Ильичъ, сѣялъ тоску и тревогу.

Иванъ Ильичъ надѣвалъ шляпу, старательно застегивалъ пальто, — по вечерамъ бываетъ сыро и можно схватить лихорадку, — и выходилъ на улицу.

Однажды онъ поймалъ себя на мысли, что ему не хочется идти туда, куда ведетъ его, по знакомымъ тротуарамъ, старая привычка. Это было ново. Онъ сѣлъ на бульварную скамейку и постарался вспомнить.

Нѣтъ, вчера они не ссорились. Все было, какъ всегда. Только что-то почти неуловимое, нѣмое и загадочное, какъ эти сумерки, вставало временами въ длинныхъ, лѣнивыхъ паузахъ между словами, таяло и назрѣвало вновь. И не было такъ просто, спокойно и ясно, какъ прежде, когда беззвучно и однообразно шла вся жизнь.

— Можетъ-быть, не пойти? — спросилъ Иванъ Ильичъ кого-то другого, котораго онъ не видѣлъ, но чувствовалъ. Другой не отвѣтилъ, а только напомнилъ о томъ, что черезъ полчаса ровно и ясно загорится лампа въ уютной гостиной, а хозяйка съ серебряными волосами будетъ сидѣть въ уголкѣ дивана. И все будетъ попрежнему, и онъ тоже долженъ быть тамъ.

Иванъ Ильичъ пошелъ. А затѣмъ уже пересталъ прислушиваться къ внутреннему грубому голосу и старался воспринимать только то, что совсѣмъ походило на прежнее.

Поднимался по лѣстницѣ, а швейцаръ зажигалъ огонь, и знакомая тѣнь на стѣнѣ прыгала, ломалась и кланялась. Но тягостное назрѣвало.

Погода мѣнялась, и у Ивана Ильича отъ летучаго ревматизма ныло колѣно. Онъ старался устроить ногу поудобнѣе, то подгибалъ ее, то вытягивалъ и, придвинувъ стулъ, клалъ, какъ бревно. Ломота не проходила и раздражала, какъ зубная боль, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше хотѣлось забыть о ней.

Софья Борисовна теребила концами пальцевъ толстый шнурокъ, которымъ была обшита подушка, и говорила.

— Ничего нельзя достичь сразу, насиліемъ, кровью. Я сочувствую движенію отъ всей души, я понимаю, что необходимость назрѣла. Но я никогда не соглашусь, что можно создать все однимъ разрушеніемъ, безъ строительства. А строительства я не вижу. Гдѣ оно? Помиритесь на томъ, что даютъ вамъ теперь, держитесь за это крѣпко. Стройте на немъ, какъ на фундаментѣ.

У Ивана Ильича сдѣлалось странное лицо, — можетъ-быть, разсѣянное. Онъ, морщась, перемѣнилъ позу и заглянулъ въ окно, хотя ничего не было видно сквозь освѣщенную тюлевую занавѣску.

— Какъ незамѣтно подошла нынче осень... Вы не замѣтили? Уже желтые листья падаютъ, а всѣ лотки завалсны виноградомъ. Очень скоро кончилось лѣто.

— Да, каждый день приносить многое, но вся жизнь мчится быстро! — согласилась Софья Борисовна. Ея гостю показалось, что онъ уже много разъ слышалъ гдѣ-то эти слова, и ему было досадно, что она не придумала ничего болѣе умнаго. А Софья Борисовна опять заговорила о томъ, чего онъ не хотѣлъ слышать. — Согласитесь, что у насъ до сихъ поръ слишкомъ большую роль играютъ юноши, почти дѣти. Для созданія новаго строя мало одной только отваги и добрыхъ стремленій. Нужны глубокія знанія, опытъ, наконецъ — сдержанность.

Онъ могъ бы возразить, разбить сѣтью доводовъ каждое ее слово, но ему захотѣлось уколоть ее больнѣе. Попрежнему глядя въ окно, онъ напомнилъ:

— Я читалъ вчера, что аграрные безпорядки придвинулись совсѣмъ близко къ вашему имѣнію. Какихъ-нибудь верстъ восемьдесятъ или сто... Вы не боитесь?

Она отвѣчала, что не боится, но въ ея поблѣднѣвшемъ лицѣ и въ маленькихъ вѣеромъ расположенныхъ морщинахъ близъ уголъ глазъ онъ прочелъ плохо прикрытый, малодушный страхъ за свое собственное существованіе. Тогда онъ всталъ, сказалъ ей, что у него слишкомъ разгулялся ревматизмъ, и ушелъ домой, — до чая.

На слѣдующій вечеръ Иванъ Ильичъ лежалъ въ постели у себя дома, закутанный толстымъ одѣяломъ. Суставы болѣли

силнѣе, и онъ былъ почти доволенъ, что, благодаря этой болѣзни, можетъ не вставать и никуда не итти. Сумерки пришли и погасли, и поздно вечеромъ горничная въ чепчикѣ на макушкѣ головы принесла записку. Софья Борисовна тревожилась о его здоровьѣ, умоляла отвѣтить, — и беречь себя какъ можно лучше.

И вечеръ — тотъ одинокій вечеръ — былъ безстыдно длинень, и казалось, что все происходящее въ мірѣ такъ далеко и чуждо, и что такъ хорошо было бы теперь умереть, а не привычно цѣпляться за старую, сѣдую жизнь.

Два дня лежалъ, а на третій сидѣлъ у Софьи Борисовны и медленно отхлебывалъ изъ стакана горячій чай съ топкимъ, чуть замѣтнымъ запахомъ жасмина. Но въ плетеной корзиночкѣ, вмѣсто сахарнаго печенья, какъ-то грубо и неуклюже лежали неровные ломтики простого, сѣраго и не совсѣмъ свѣжаго хлѣба. Была забастовка.

Софья Борисовна волновалась. Ей казалось, что сверху нависло что-то огромное, неимоверно тяжелое, и каждое мгновеніе оно можетъ рухнуть и раздавить все существующее. Движенія ея были быстры и не размѣрены, а ложечки лихорадочно позвякивали въ стаканахъ.

Я жду ужасовъ... Я не знаю, что будетъ дальше, но, во всякомъ случаѣ, всѣ прежнія волненія — только дѣтскія забавы, смѣшныя и невинныя пародіи въ сравненіи съ тѣмъ, что еще случится... Народъ такъ долго жилъ въ рабствѣ. Если онъ вырвется на свободу сразу, однимъ ударомъ — онъ обезумѣетъ, какъ сломавшій клѣтку звѣрь.

Иванъ Ильичъ ѣлъ черствый хлѣбъ, вынимая изъ корзинки кусокъ за другимъ, хотя совсѣмъ не былъ голоденъ, и это было весело. Онъ никогда не ѣлъ такого вкуснаго хлѣба, — и нарочно не мазалъ его масломъ, чтобы не испортить вкуса.

— Оставьте вы ваши тревоги... Все идетъ прекрасно. Да, звѣрь скоро сломаетъ клѣтку, голубушка, но не беспокойтесь, онъ не взбѣсится. Онъ не прольетъ ни одной капли крови больше той, которая нужна для дѣла свободы. Это — хорошій, благородный звѣрь. Можетъ-быть, онъ будетъ даже слишкомъ благороденъ и проститъ тѣхъ, кого не слѣдовало

бы прощать. Зачѣмъ ему месть, злоба, ненависть, когда онъ сдѣлается свободнымъ, трижды свободнымъ? Вѣдь въ его рукахъ будетъ лучшее торжество, — торжество правды?.. Почему вы не ѣдите? Это такъ вкусно.

Но она не могла ѣсть, и руки у нея дрожали. Иванъ Ильичъ былъ слишкомъ разсѣянъ. Онъ не замѣчалъ, что ея гнететъ еще что-то, болѣе лишнее, чѣмъ грозное величіе забастовки, пока она сама не сказала ему.

— Сегодня утромъ я получила письмо... Можетъ-быть, послѣднее, потому что почта, вѣдь, тоже собирается бастовать... Онъ пишетъ, что не хочетъ больше оставаться зрителемъ. И въ этомъ письмѣ есть слова... ужасно похожія на ваши... Но онъ, я знаю, не будетъ только говорить.

— Да, онъ не будетъ только говорить! — Иванъ Ильичъ ударилъ ладонью по скатерти. — Онъ не старый, потертый инвалидъ. Онъ молодъ и силенъ, — онъ имъ покажетъ... Дорогая, я не могу больше... Я напишу ему.

Она поднялась со своего стула, — блѣдная и высокая, — и у нея было такое лицо, какого ни разу не видѣлъ еще ея гость.

— Вы не сдѣлаете этого. — Она подошла къ нему вплотную. Слова у нея шипѣли и падали, раскаленные и тяжелыя, каждое отдѣльно. — Вы не сдѣлаете этого. Я мать и я вамъ запрещаю. Слышите вы это? Я берегу его, я не отдамъ его на растерзаніе вашей кровожадной злой революціи. Онъ — мой и моимъ останется. Я не отдамъ его. Теперь я знаю уже, какую пользу принесли ему ваши прежнія письма. И, слушайте, я прямо скажу вамъ: вы поступали нечестно, да, нечестно. Вы втихомолку развращали его, вы прививали ему ваши крайнія, красныя идеи, а теперь хотите бросить его въ самое жерло борьбы, на муки, на смерть... Но я не хочу этого. И вы не напишите ему... ни строчки, ни слова...

Она задыхалась отъ волненія, и въ глазахъ у нея жили гнѣвъ и презрѣніе къ своему старому, сѣдому другу, къ тому человѣку, съ которымъ она столько лѣтъ дѣлила вечера своей жизни.

Иванъ Ильичъ инстинктивно поднялъ руку въ уровень съ



глазами. Пересталъ видѣть уютную комнату, бѣлую скатерть и складочки на ней, заглаженные аккуратно, хотя и была забастовка.

— Софья Борисовна, но вы понимаете ли... Вы понимаете ли, что послѣ... только что сказаннаго, я не могу больше оставаться съ вами и что, слѣдовательно... пришелъ конецъ?

И бѣлая скатерть уходила все дальше, а Софья Борисовна не отвѣчала. Она вдругъ тяжело упала на стулъ, спрятала лицо въ ладоняхъ и зарыдала громко, съ судорожными всхлипываніями.

— Я не могу... Я такъ измучилась...

Иванъ Ильичъ поднялся и тихо на носкахъ, вышелъ изъ комнаты, какъ будто старался, чтобы она не замѣтила его ухода. Самъ, безъ помощи горничной, одѣлся и пошелъ домой, по совсѣмъ темнымъ, безъ фонарей улицамъ. Хорошая, молодая радость, которая только что окрыляла его, испуганно исчезла, и остались одни разрозненные, безсвязные и жуткіе обрывки мыслей, какъ разсыпанныя кости истлѣвшаго трупа.

Въ темнотѣ и одиночествѣ шли долгія, долгія недѣли, и вотъ, занялся день — новый. Онъ пришелъ, какъ всѣ другіе, съ тихой зарей, съ утреннимъ прохладнымъ дыханіемъ. Ничѣмъ не отличился отъ другихъ. Сѣрая, каменная земля и круглое, глубокое небо, и упавшее на гору мягкое облако — все было старое. Но еще не начало спускаться сократившее свой ходъ солнце, когда всѣ узнали, что день этотъ — дѣйствительно новый и даетъ старой землѣ новую жизнь. Это былъ день побѣды.

И радость воскресла, и всѣ увидѣли, что жизнь имѣетъ теперь другой, хорошій и большой смыслъ, — и всѣ казались одинъ другому лучше, красивѣе и выше.

Иванъ Ильичъ пришелъ къ Софѣ Борисовнѣ днемъ, съ манифестомъ о свободахъ въ рукахъ. Можетъ-быть, только потому, что онъ уже давно не видалъ гостиниой при свѣтѣ солнца, но эта комната показалась ему сегодня совсѣмъ не такой, какъ по вечерамъ. Были въ ней только двое — онъ и

хозяйка, а комната шумѣла и все блестяло въ ней ярко, какъ новое.

Софья Борисовна не удивилась его приходу и не вспоминала о ссорѣ. Только темныя пятна подъ глазами были у нея очень велики и черны, а кончикъ носа припухъ отъ слезъ. Должно-быть, она часто плакала.

Ея гость хотѣлъ ей что-то объяснить, торопился и путался.

Недавно они поссорились, разорвали всѣ старыя, тѣсныя узы, но сегодня начинается новая жизнь, и о прежнемъ нужно забыть. Да, такъ забыть, какъ будто его совсѣмъ не было.

Софья Борисовна остановила его.

— Дорогой мой, я понимаю... Не вспоминайте же и вы. Развѣ я сегодня не счастлива?

И крѣпко поцѣловала его въ лобъ, какъ цѣлуютъ тѣхъ, съ которыми разставались надолго, и неожиданно встрѣтились.

— А не чувствуете вы, что мы выросли? Даже мы, старики? — спрашивалъ Иванъ Ильичъ и на щекѣ у него блестяла круглая, прозрачная слезинка. Поблестѣла, скатилась и спряталась въ бородѣ.

Опять приходили вечера, и два старыхъ человѣка сидѣли въ чистой, уютной комнатѣ, и жили вмѣстѣ. Чувствовали себя опять хорошо и спокойно, хотя говорили о томъ огромномъ, что вышло изъ нѣдръ народнаго движенія. Не спорили.

Хорошо было жить. А въ безсонныя ночи не приходила зловѣщая мысль о ненужности жизни и о томъ, какъ хорошо было бы умереть, быстро и безъ боли. Бодрость времени заражала своимъ вѣяніемъ.

Но дни уходили и снова, неожиданный, но знакомый, повисъ кошмарный ужасъ. Пришелъ кто-то, жадный, и скаль:

— Крови!

Софья Барисовна плакала.

— Я ждала, я ждала... Не даромъ у меня такъ болѣло сердце...

Общій ужасъ, общее страданіе не разъединили ихъ. Было такъ, какъ въ первые дни войны, пока никто не привыкъ еще къ зловонію преступленія.

Только жизнь сжалась еще сильнѣе, — стала опять тѣсная и гнусная, и хотѣлось опять закрыть глаза, чтобы не видѣть зла, потому что не было силъ бороться съ нимъ.

А дни проходили, бороздили душу, тяжелые и острые — и что-то опять назрѣвало уже здѣсь, въ маленькомъ уголкѣ за чайнымъ столомъ.

Въ голосѣ Софьи Борисовны прорывались злая, рѣзкія ноты. Она чувствовала, какъ ея спокойствіе, завоеванное долгой и сѣрой жизнью, все быстрѣе уносится куда-то далеко въ бурномъ потокѣ, — и она обвиняла.

— Хотѣли достичь невозможнаго, безумно обманывали себя въ своихъ силахъ и теперь снова порабощены, раздавлены. Еслибы они терпѣли...

Иванъ Ильичъ морщился, ронялъ ложечку.

— Конечно, рано было еще торжествовать. Побѣда не дается такъ легко. Но обвинять въ этихъ ужасахъ именно того, кто прилагалъ всѣ силы, чтобы отвратить ихъ навсегда — это стыдно.

И губы у него дрожали, а одна бровь поднималась выше другой.

Пришелъ зимній вечеръ. Съ моря дулъ холодный, ледяной штормъ. Деревья безъ листьевъ размахивали, какъ розгами, голыми вѣтвями и жаловались.

Когда Иванъ Ильичъ подходилъ къ подъѣзду, его обогналъ почтальонъ съ тяжелой сумкой черезъ плечо; громко стуча каблуками, поднялся по лѣстницѣ и позвонилъ.

Иванъ Ильичъ, по привычкѣ, потянулъ руку изъ-за его спины къ тому же звонку, но остановился и началъ ждать. Отъ почтальона пахло плохимъ, горькимъ табакомъ и отсырѣвшей суконной одеждой.

Хотѣлось спросить, откуда пришло это письмо, но у почтальона было усталое, злое лицо, и ему, должно-быть, совѣмъ не хотѣлось разговаривать съ каждымъ встрѣчнымъ. Когда дверь открылась, онъ сунулъ горничной простой, квадратный пакетъ изъ синеватой бумаги и сейчасъ-

же сѣжалъ внизъ, придерживая лѣвой рукой тяжелую сумку.

Иванъ Ильичъ снималъ въ прихожей шубу, отканиливался, а Софья Борисовна стояла на порогѣ, вертѣла въ рукахъ конвертъ и не рѣшалась распечатать.

— Изъ-за границы? — спросилъ Иванъ Ильичъ и поздоровался.

Она разсѣянно пожала ему руку и пошла къ дивану, осторожно и, какъ будто, брезгливо, надрывая край конверта.

— Нѣтъ, я не знаю, откуда... Штемпель почтового вагона — и больше ничего... А почеркъ... чей это почеркъ?

Когда письмо, наконецъ, выпало изъ конверта, который былъ слишкомъ малъ для большого, плотнаго листа, Софья Борисовна вздрогнула и густо покраснѣла, а потомъ сейчасъ же краска сѣжала съ лица и осталась только на скулахъ, неровными пятнами, непохожими на румянецъ.

Большие, темные глаза быстро-быстро бѣгали по строчкамъ, Иванъ Ильичъ слѣдилъ за ихъ движеніемъ и чувствовалъ, что они видятъ неожиданное и роковое, — и что сейчасъ совершится то, что онъ ждалъ уже въ длинной тоскѣ безсонныхъ ночей.

Софья Борисовна опустила руки на колѣна съ письмомъ.

— Онъ въ Россіи. Пишетъ, что не могъ больше выдержать. И теперь ѣдетъ... на работу... то-есть, значить, въ тюрьму... на смерть...

Совсѣмъ не ея голосъ, — чужой. И глаза тоже смотрѣли, какъ чужіе, на блѣднаго и взволнованнаго человѣка, который стоялъ передъ нею и не находилъ слова, чтобы отвѣтить.

А она встала съ дивана и твердой, деревянной поступью уходя въ другую комнату, бросила ему по дорогѣ:

— Спасибо.

Иванъ Ильичъ ушелъ домой рано, и сумерки еще не погасли. Забылъ застегнуть пальто, и ледяной вѣтеръ пронизывалъ насквозь, до старыхъ, ноющихъ костей.

Завтра, можетъ-быть, будетъ совсѣмъ другой день, теп-



лый и ясный. Но тѣ, прежніе дни не вернуться — и солнце будетъ свѣтить гдѣ-то далеко и чуждо.

Прошелъ мимо, стремясь впередъ, кто-то могучій, и по пути, не замѣчая, растопталъ двухъ людей, маленькихъ и слабыхъ. И кромѣ самихъ раздавленныхъ, никто больше не ощущалъ ихъ тоски и боли, и легло на нихъ страданіе непосильной, огромной тяжестью, — потому что были они совсѣмъ слабы и совсѣмъ одиноки.

А могучій шелъ дальше. Онъ смотрѣлъ только впередъ...

---

# Одинъ.

## Рассказъ.

Большая, красновато-желтая, со множествомъ черныхъ оконъ, тюрьма стояла на высокомъ бугрѣ, надъ рѣкой, и, поэтому, издали была похожа на укрѣпленный замокъ. Изъ города арестантовъ водили туда по длинной, грязной дорогѣ, пересѣкавшей болотистую равнину. Итти нужно было долго, больше часа, и чѣмъ ближе подходили къ красновато-желтому зданію, тѣмъ скорѣе исчезало фантастическое сходство. А когда открывалась, наконецъ, узкая калитка въ старыхъ, окованныхъ ржавѣющимъ желѣзомъ воротахъ, то уже совсѣмъ ясно было видно, что это самая обыкновенная тюрьма, старая, грязная и безобразная.

Въ тюрьмѣ было тѣсно. Когда ее строили много лѣтъ тому назадъ, то не предполагали, что въ этомъ глухомъ южномъ уголкѣ будетъ когда-нибудь такъ много преступниковъ.

Тогда вокругъ тюрьмы и города тянулись, отъ моря до самыхъ горъ, степи — широкія, зеленые, слегка холмистые. Но были онѣ пустынные, и людей во всемъ этомъ краю было совсѣмъ мало.

Теперь только, съ недавняго времени, сдѣлалось тѣсно. Пришли люди, порѣзали степь на клочья, погнали по дѣвственной почвѣ запряженныхъ въ тяжелые плуги воловъ. И отъ города къ тюрьмѣ, по болотистой дорогѣ, все чаще ходили маленькія партіи: посрединѣ сѣрые, въ халатахъ и круглыхъ шапкахъ, а по краямъ тоже сѣрые, но съ ружьями и блестящими штыками.

А когда кромѣ воровъ, убійць, фальшивомонетчиковъ и растлителей, появились, наконецъ, еще и политическіе, то этихъ политическихъ совсѣмъ уже некуда было запирать.

Начальникъ тюрьмы, жирный человѣкъ, весь мягкій и съ волосатымъ звѣринымъ лицомъ, сердился, писалъ по начальству бумаги и ходатайствовалъ. Но политическихъ не убирали.

Было ихъ, сравнительно съ уголовными, совсѣмъ немного. Три, четыре, пять человѣкъ. Набиралось иногда до десятка, но очень рѣдко. А въ среднемъ установилась пока норма — четыре.

Запирали ихъ на каторжномъ коридорѣ, выстроенномъ въ два яруса, съ висячей желѣзной галлереей вокругъ дверей верхнихъ одиночекъ. Въ высокомъ, пустомъ коридорѣ каждый звукъ разносился явственно и гулко, и, поэтому, тамъ съ утра до вечера громко, какъ колокола на Пасхѣ, звенѣли кандалы. И ночью, когда все стихало, отъ времени до времени тоже лязгали и стучали гдѣ-то невидимыя желѣзныя звенья, какъ-будто ворочалось большое и сильное скованное чудовище.

Политическіе одни только во всемъ этомъ коридорѣ не носили кандаловъ и одѣвались въ вольное платье. Когда ихъ выводили по коридору на прогулку, то они были похожи на случайныхъ гостей. Но когда они возвращались обратно, — за ними захлопывались толстыя желтыя двери ихъ одиночекъ, и всѣ эти двери, во всемъ коридорѣ, — шестьдесятъ штукъ, — были совсѣмъ одинаковыя. Съ круглымъ волчкомъ для надзора и съ безобразнымъ висячимъ замкомъ, какими запираютъ мучные лабазы.

Война задержала отправку каторжниковъ въ сибирскія тюрьмы. Ихъ помѣщали по-двое въ тѣсную одиночку, но прибыла еще одна партія, и для нѣсколькихъ человѣкъ мѣстъ не хватило. Тогда жирный начальникъ перевелъ трехъ политическихъ въ большую камеру нижняго этажа.

Это было радостное новоселье.

Сначала здоровались, жали руки и привѣтствовали другъ друга, какъ хорошіе старые знакомые. Потомъ долго разбирали и раскладывали по мѣстамъ свои пожитки: чайники,

стаканы, книги и тетради. Книжки — по три на брата, а тетради передъ каждой вечерней повѣркой отбирались въ контору.

Вечеромъ метали жребіи, — какъ распредѣлить мѣста на общихъ нарахъ. Среднее досталось самому несчастливому, потому-что каждый хотѣлъ получить мѣсто у стѣнки. Но и средний не огорчился, такъ какъ ему тоже казалось, что теперь, вмѣстѣ, жизнь пойдетъ иначе и лучше, чѣмъ въ одиночкахъ каторжнаго коридора.

До сихъ поръ можно было говорить только полчаса въ день, на общихъ прогулкахъ. И прогулка подходила къ концу какъ разъ въ тотъ моментъ, когда настоящий, горячій разговоръ только еще начиналъ завязываться.

Теперь можно было говорить много. Все, о чемъ говорили, казалось важнымъ и занимательнымъ, а слова лились съ языка плавно и свободно, — и говорящій съ удовольствіемъ слушалъ звукъ своего голоса.

Когда стемнѣло, — гремѣли замки, хлопали двери; прошла вечерняя повѣрка. Трое политическихъ долго еще полулежали на нарахъ, опираясь локтями въ подушки, и говорили. Въ полусвѣтѣ лампы лихорадочно блестѣли возбужденные глаза, и острыми углами отбрасывались на недавно выбѣленной стѣнѣ зеленоватыя тѣни приподнятыхъ плечъ и затылковъ.

Политическіе были еще совсѣмъ молоды. Старшему уже въ тюремѣ исполнился двадцать одинъ годъ, младшему не хватало одного мѣсяца до восемнадцати.

Всѣ трое сидѣли въ первый разъ и сначала немножко гордились своимъ положеніемъ, и высоко поднимали головы, когда шли съ конвоемъ по городскимъ улицамъ, но черезъ полгода сидѣнья праздничное успѣло сдѣлаться будничнымъ и принизилось.

И теперь сдѣлалось ясно, что праздничное и гордое возможно только тамъ, по ту сторону стѣны и болотистой равнины, а здѣсь нужно дышать, двигаться и говорить только для того, чтобы жизнь не совсѣмъ походила на смерть.

Когда вспоминали прежнее, — свободные годы удлиннялись, развертывались, окрашивались въ яркія и свѣжія, весеннія



краски. И что-то особое, болѣе мягкое и ласковое, приобрѣтала, благодаря блѣдному отблеску этихъ красокъ, даже гладкая бѣлая стѣна, всегда плоская и обидно равнодушная.

Уже поздно ночью, когда начали, наконецъ, слипаться глаза, а слова уже не такъ послушно слѣдовали одно за другимъ, самый младшій вдругъ прыснулъ отъ смѣха и зарылся лицомъ въ подушки.

Другимъ тоже сдѣлалось весело. И только посмѣявшись уже, они спросили младшаго:

— Ты чего?

— Да такъ, вспомнилось что-то... Говорили о работѣ въ нашихъ станицахъ, — я и вспомнилъ. Былъ у насъ дома на задахъ, надъ ручьемъ, старый базъ... Такъ въ этотъ базъ меня батька все пороть водилъ...

— Ну?

— Правда. И такъ я не любилъ этотъ базъ. А теперь — посмотрѣлъ бы. Можетъ-быть, развалился уже. Давно я изъ дому-то. Пожалуй, что и развалился.

— Въ базу лѣтомъ хорошо, прохладно. Если кровля толстая — не пропекаетъ.

И, закрывъ глаза, ясно видѣли заросшія вдоль плетней бурьяномъ станичныя улицы, прохладныя базы съ широкими скрипучими воротами, тонкую, зубчатую синеву горъ въ глубокой дали.

Старшій уже совсѣмъ закрылъ глаза, дышалъ ровно и медленно. Но младшій еще возился, толкалъ его подъ бокъ, будто нечаянно.

— Ну...

— Или, вотъ, водится у насъ змѣя, называется — желтобрюхъ. Я былъ мальчишкой, такъ хотѣлъ поймать.

— Желтобрюхъ — онъ сильный.

— Вотъ. Согнулся, какъ пружина, да прыгнетъ. И сбиль съ ногъ, а потомъ синякъ остался.

— А я не видѣлъ желтобрюха. И въ базѣ меня не поролъ, — съ сонной мечтательностью говорилъ средній, — Хорошо у васъ въ станицахъ.

Старшій и младшій — нестросвые казаки, а средній — по

званію мѣщанинъ, — рабочій, слесарь. И теперь, въ тюрьмѣ ему очень нравилось, когда рассказывали о змѣяхъ и о просторныхъ базахъ, гдѣ прохладно лѣтомъ. Хотѣлось тоже и самому рассказать что-нибудь такое, отъ чего не пахло бы городской пылью и дымомъ фабрики. Но ничего не вспоминалось и, поэтому, было немного грустно.

Около полуночи, когда совсѣмъ уже засыпали и только изрѣдка перекидывались отрывистыми, лѣнивыми словами, безшумно отодвинулась жестяная покрывка дверного волчка и оттуда пристально посмотрѣлъ чей-то глазъ, — свѣтлый, большой, съ нависшей рыжеватой бровью. Остановился неподвижно, не мигая, какъ глазъ какого-нибудь глубоководнаго моллюска съ холодной кровью и лѣнивыми движеніями.

Послѣ этого совсѣмъ не хотѣлось уже говорить. Уснули.

Зажили втроемъ. Вмѣстѣ читали книги и объясняли другъ другу непонятныя мѣста. Но кое-чего не могли понять и жалѣли, что не у кого спросить.

— Вотъ, посадили бы къ намъ какого-нибудь старика. Настоящаго, изъ нелегальныхъ. Онъ бы намъ рефераты читалъ... по тактикѣ и программѣ.

— Да! — вздыхалъ рабочій. — Это вышелъ бы... университетъ. А то мы сами все крутимся вокругъ одного и того же мѣста. Изъ своихъ собственныхъ мозговъ выматываемъ... Скучно.

Иногда лѣнь приходила полосой. На цѣлую недѣлю забрасывали занятія. Курили до одури, валялись на жесткихъ постеляхъ, заложивъ руки за голову. И въ камерѣ дѣлалось такъ тихо, что слышно было, какъ гудятъ и вьются въ окнѣ мухи и звенять внизу, за окномъ, кандалы выведенныхъ на прогулку каторжанъ.

Потомъ опять хватались за работу. Слесарь неувѣреннымъ, крупнымъ почеркомъ писалъ въ своей тетради что-то длинное, аккуратно раздѣленное на главы. Никому не давалъ читать эту рукопись и, когда писалъ, нарочно пошире разставляя локти. Надъ нимъ смѣялись.

— Въ конторѣ, все равно-читаютъ.

— Пусть читаютъ. Развѣ тамъ люди?

Отъ недостатка движенія ныли молодые мускулы, и кровь тяжело билась въ вискахъ,—особенно, когда на дворѣ былъ сильный дождь и, поэтому, не ходили на прогулку.

Тогда поднимали возню. Бросали другъ въ друга подушками и мягкими войлочными туфлями, потомъ схватывались и боролись на широкихъ нарахъ, такъ что трещали и расползались доски. Искренно радовались, когда старшій казакъ, плотный и мускулистый, съ круглымъ свѣтлымъ затылкомъ, оказывался внизу. Его прижимали и тискали, пока у всѣхъ троихъ рубахи не промокали насквозь отъ пота, и сами-собою разжимались обезсиленные руки.

---

Младшій казакъ завелъ въ своей тетради календарь. Въ аккуратно разграфленныхъ столбцахъ проставилъ цифры. Изъ четырехъ столбцовъ получался мѣсяцъ. Потомъ еще четыре столбца—и опять мѣсяцъ. Каждый вечеръ, передъ повѣркой, зачеркивалъ одну цифру. Но съ этимъ календаремъ время пошло еще дольше.

И такъ какъ страницу нельзя было вырвать, казакъ густо замазалъ ее чернилами.

Нашли новое развлеченіе,—ссоры. Старшій два дня не разговаривалъ со слесаремъ и старался даже не смотрѣть въ его сторону, потому-что тотъ кинулъ ему шутя, въ разговорѣ, насмѣшливую казачью кличку:

— Куркуль!

Работали, лѣнились, ссорились. Но это разнообразіе было монотонно, какъ шелканье маятника, и повторялось все въ той же одинаковой, строгой послѣдовательности, какъ римскіе знаки на циферблатѣ.

И лица у всѣхъ троихъ были попрежнему припухшія, землисто-сѣрые, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ около рта и подъ глазами.

Кормились плохо. Съ воли приносили въ тюрьму мало денегъ, потому что тамъ, на волѣ, тоже перебивались кое-какъ и брали въ долгъ бумагу для печати.

Поэтому постоянно хотѣлось ѣсть. На полученные съ воли гроши покупали бѣлый хлѣбъ, яйца, вареную колбасу съ ярко-красной, намазанной фуксиномъ оболочкой. А къ

концу недѣли, передъ слѣдующей „выпиской“, сидѣли уже на одномъ казенномъ обѣдѣ и сердито жевали коловій языкъ и десны непросѣянный черныи хлѣбъ.

Въ такіе дни всегда бывали мрачны и раздражительны. Нюхали брезгливо и подозрительно желѣзные, плохо выуженныя миски съ казеннымъ супомъ и жаловались, что отъ мяса опять пахнетъ.

Откуда-то пришла сенсаціонная новость:

— Начальнику тюрьмы, въ виду крупныхъ военныхъ расходовъ, приказано соблюдать экономію. Поэтому будутъ кормить еще хуже.

Негодовали.

— Ну, уже это... Это — чортъ знаетъ что! И такъ животы болятъ отъ всякой тухлятины. И потомъ, развѣ это супъ? Посмотрите: совсѣмъ бѣлый и прозрачный, какъ вода... Будемъ протестовать.

Политическимъ давали „улучшенную“ пищу, которая готовилась для больницы. И жирный начальникъ очень часто находилъ случаи, чтобы напомнить:

— Это дѣлается въ видѣ особаго снисхожденія. Но въ случаѣ малѣйшихъ безпорядковъ, я немедленно переведу на общій паекъ.

---

Привезли новаго. Доставили его въ тюрьму ночью и на извозникѣ, а не пѣшкомъ, какъ приводили другихъ изъ участковъ.

Дня два его прибытіе оставалось тайной, и только на третій парашникъ, уголовный, выбралъ удобный моментъ и шепнулъ политическимъ въ дверной волчокъ:

— Сидитъ внизу, въ семнадцатомъ. Черненькій, съ бородкой и очки носить. Синяя рубаха и сѣрый пиджакъ.

Въ большой камерѣ долго обсуждали вопросъ, — какъ вступить въ сношенія съ новымъ. Выручилъ тотъ же парашникъ. При его посредствѣ передали новому записочку, написанную карандашомъ на клочкѣ папиросной бумаги.

Ждали отвѣта съ захватывающимъ нетерпѣніемъ. Кто? Откуда? По какому дѣлу?

Догадывались, что старый работникъ и по большому



дѣлу, но этого было мало. Хотѣлось также знать точно, какъ онъ выглядить съ лица и какая у него походка во время прогулки.

Отвѣтъ, написанный на оборотной сторонѣ той же записки, пришелъ скоро. Съ трудомъ разобрали нѣсколько наскоро набросанныхъ словъ, размазавшихся въ карманѣ парашника. И совсѣмъ не были удовлетворены полученными свѣдѣніями.

Новый сообщалъ, что арестованъ въ поѣздѣ. Посылалъ привѣтъ — и только. Тайна не разъяснилась.

Каждый день въ большой камерѣ говорили о новомъ, — догадывались, старъ онъ или молодъ, долго ли просидить. Начальникъ совсѣмъ некстати посадилъ парашника въ карцеръ, а назначенный на его мѣсто боялся подходить къ политическимъ.

Однажды слесаря водили въ контору получать письмо и на обратномъ пути, издали, онъ увидѣлъ новаго.

Новый гулялъ. Шелъ по двору твердо утоптанной дорожкой, низко наклонивъ голову и запрятавъ руки въ карманы. Слесарь успѣлъ разглядѣть только его согнутую спину и ровную, медленную походку. Сказалъ, было: — „Здравствуйте!“ Новый не разслышалъ и не обернулся.

Потомъ слесарь рассказывалъ товарищамъ, что у новаго есть уже много сѣдыхъ волосъ на затылкѣ и что, должно-быть, онъ очень скучаетъ.

Въ другой разъ старшій казакъ встрѣтился съ новымъ въ коридорѣ, лицомъ къ лицу, такъ что они успѣли подать другъ другу руки и поздороваться. Рука у новаго была маленькая, сухая и горячая, какъ у больного.

Когда надзиратели съ воркотней и недовольными окриками разводили ихъ по камерамъ, новый улыбнулся казаку ласково и немного жалобно. Затѣмъ онъ еще разъ кивнулъ головой и скрылся за угломъ коридора, все такой же сгорбленный, невысокій и съ выглядывающими изъ-подъ шляпы прядями черныхъ, слегка сѣдѣющихъ волосъ.

---

Номеръ семнадцатый — близко отъ большой камеры, гдѣ заперты трое. Пройти шаговъ десять отъ дверей этой камеры

до угла коридора, спуститься по узкой желѣзной лѣстницѣ, потомъ завернуть направо и отсчитать четвертую дверь.

Двери все одинаковыя, но надъ ними густой черной краской грубо написаны разные номера. Подъ номеромъ семнадцатымъ кто-то нарисовалъ углемъ по штукатуркѣ веселую рожицу съ длиннымъ носомъ и рожками. Рисунокъ затерли, но онъ, все-таки, просвѣчиваетъ, и черная цифра въ его сосѣдствѣ тоже выглядитъ весело.

Новый былъ небольшого роста, но когда широко разводилъ руками, то касался концами пальцевъ двухъ противоположныхъ стѣнъ своей камеры. А въ длину умѣщалось цѣлыхъ восемь шаговъ, и, поэтому, камера, со своимъ закругленнымъ потолкомъ, совсѣмъ походила на гробъ.

Новый цѣлыми днями лежалъ на койкѣ, заложивъ руки за голову, и смотрѣлъ вверхъ. Глаза у него рѣдко мигали и блистали такъ же стеклянно, какъ оправленные въ дешевую никкелевую оправу очки.

Когда съ шумомъ и скрипомъ поворачивалась дверь на своихъ огромныхъ, тяжелыхъ петляхъ, новый вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ и быстро поднималъ голову. Потомъ, какъ будто успокоенный, опять опускалъ ее на подушку, и глаза попрежнему глядѣли неподвижно и стеклянно.

Былъ онъ мало и неохотно, но пилъ много, жадно глотая холодную воду съ сырымъ запахомъ колодца. На чай и сахаръ у него, должно-быть, не было денегъ.

Если начальникъ или его помощникъ спрашивали у дежурнаго надзирателя, какъ ведетъ себя номеръ семнадцатый, надзиратель вытягивался, какъ складной аршинъ въ рукахъ столяра, и неизмѣнно докладывалъ:

— Спокойно-съ... Лежитъ и молчитъ.

Начальникъ приставалъ къ новому и кричалъ своимъ шаршавымъ голосомъ, который разносился по всей тюрьмѣ, такъ что его хорошо слышали трое:

— Вы обязаны вставать, когда входитъ начальство. Понимаете? Вы арестантъ, и вы обязаны вставать.

Новый не поворачивалъ головы. Только въ глазахъ у него пробѣгала живая искорка. И отвѣчалъ коротко и тихимъ и глуховатымъ баритономъ:

— Нѣтъ.

— Я васъ выучу. Я лишу васъ прогулокъ и... и письменныхъ принадлежностей... и всего вообще.

— Хорошо.

Начальникъ срывался съ тона, и голосъ у него переходилъ въ тоненькій бабій визгъ. Это выходило такъ же смѣшно и странно, какъ была бы смѣшна нѣжная женщина, говорящая басомъ.

— Ну, и я еще... Я запроу васъ въ карцеръ. Да, въ карцеръ. На хлѣбъ и на воду.

— Хорошо.

Начальникъ уходилъ въ слѣдующій, восемнадцатый номеръ — весь блѣдный и съ хриплой одышкой, но не запиралъ новаго въ карцеръ и не лишалъ его прогулокъ.

Въ такіе дни всегда доставалось за что-нибудь троимъ.

— Въ вашихъ книгахъ, въ конторѣ, опять найдена записка. Если это еще разъ повторится, я приму мѣры.

Трос стояли передъ начальникомъ сердитые и кусали губы. Потомъ, когда онъ уходилъ, кто-нибудь грозилъ кулакомъ ему вслѣдъ.

Къ новому никто не ходилъ на свиданіе, и онъ ни отъ кого не получалъ писемъ. А его фамиліи не знало первое время даже тюремное начальство. Только недѣли три спустя послѣ его привоза, пришла откуда-то соотвѣтствующая справка, вмѣстѣ съ казенной фотографической карточкой.

Трое чувствовали по отношенію къ новому что-то въ родѣ обиды. Имъ было досадно, что онъ, со своей стороны, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ къ сближенію. Этого нельзя было доказать, но это чувствовалось. По мнѣнію троихъ, новый велъ себя не такъ, какъ бы ему слѣдовало по его положенію.

— Могъ бы добиваться, напримѣръ, совмѣстныхъ прогулокъ. А онъ, говорятъ, лежитъ цѣлые дни и ничего не дѣлаетъ. И ничего не хочетъ.

— Помните, сидѣлъ нелегальный, Кирилль? Просидѣлъ всего двѣ недѣли, и потомъ его увезли, но онъ за это время всю тюрьму перевернулъ. Какъ онъ съ прокуроромъ разго-

вариваль, помните?.. И всегда его было слышно. Пѣль, черезъ волчокъ разговариваль. А этотъ — какъ мертвый. Даже не замѣтишь, когда и увезуть его.

Младшій настроился совсѣмъ скептически.

— Куда тамъ — увезуть? Выпустить... Какая-нибудь рвань, изъ сочувствующихъ.

— Едва ли... Онъ, говорятъ, не встанетъ на повѣрку.

— Ну, такъ что же? Можетъ-быть, изъ дворянчиковъ. Начальникъ дворянамъ всегда первый кланяется.

И, такъ какъ новый не даваль больше никакой пищи для разговоровъ, то объ немъ начали понемногу забывать.

Скучали крѣпко. Старшій казакъ посматриваль въ окно, туда, гдѣ поверхъ тюремной стѣны виднѣлся поворотъ быстрой рѣки, а за рѣкой — черкесскія сакли, степь и холмы, покрытые густымъ кустарникомъ. Посматриваль и тихо мурлыкаль себѣ подъ носъ станичныя пѣсни.

Слесарь валялся на нарахъ, свѣсивъ голову, и лѣнливо плеваль на полъ, стараясь попадать все въ одно и то же мѣсто. Его длинная рукопись остановилась на полусловѣ, и не хотѣлось больше брать пера въ руки.

Съ начальникомъ ругались. Иной разъ какъ-будто нарочно искали повода для какихъ-нибудь осложнений. Отъ злобы блѣднѣли, раздували ноздри, и мутно блестѣли глаза въ припухшихъ вѣкахъ.

Въ пятницу, въ постный день, когда по всей тюрьмѣ пахло коноплянымъ масломъ и переквашеной капустой, троимъ принесли полагавшійся на этотъ день по расписанію улучшенный обѣдъ: супъ съ вермишелью.

Старшій и слесарь не торопились, но у младшаго всегда былъ очень хорошій аппетитъ. Онъ первый присѣлъ къ столу, лѣнливо погрузилъ въ миску свою большую деревянную ложку съ надломленнымъ краемъ, поднесъ было ее ко рту, но присмотрѣлся и съ отвращеніемъ выплеснулъ обратно.

— Черви!

Тогда подошли и другіе, ворошили ложками каждый въ своей мискѣ.



— Должно-быть, не черви... Просто, вермишель такъ разварилась...

— А это что? Съ ножками и головкой? Вотъ такъ вермишель!

Съ неистощимымъ терпѣніемъ выловили изъ всѣхъ трехъ мисокъ цѣлую коллекцію. Черви были настоящіе, коротенькіе и толстые, съ бѣлой колѣнчатой спинкой, съ коричневатою головкой и такими же ножками. Слесарь разложилъ ихъ на бумажкѣ.

— Постойте, не всѣ... Тутъ еще плаваютъ... Вотъ этотъ какой... Смотрите!

— Пусть плаваютъ. Достаточно.

Постучали въ дверь. Слесарь свирѣпо билъ каблукомъ, и лицо у него перекашивалось на сторону, а губы прыгали.

— Подавайте начальника. Сію минуту!

Надзиратель,—рыжій, съ глазами холоднаго моллюска,—прошелъ до лѣстницы, перегнулся черезъ перила такъ низко что лицо у него густо покраснѣло, и крикнулъ внизъ старшему:

— Скажите въ контору: начальника требуютъ.

Старшій внизупилъ чай. Онъ положилъ на блюдце кусочекъ сахара, вытеръ усы и, передвинувъ на затылокъ фуражку, чтобы козырекъ не мѣшалъ смотрѣть вверхъ, недовольно окликнулъ:

— Кто?

— Общіе политическіе.

— А, чтобъ ихъ... Начальникъ съ утра въ городъ уѣхалъ.

Не спѣша, мягко ступая войлочной обувью, рыжій вернулся къ камерѣ троихъ, открылъ волчокъ и спокойно сказалъ:

— Начальника нѣту. Уѣхавши.

У слесаря дергались губы, старшій казакъ смотрѣлъ въ окно и напѣвалъ что-то гнѣвное, машинально отбивая рукою тактъ. Младшій сидѣлъ, поджавъ ноги, на постели и жевалъ хлѣбъ. Всѣ волновались, и странно и досадно было, что рыжій такъ спокоенъ, а его глазъ въ захватанной до черноты дырѣ волчка неподвиженъ и холоденъ.

Слесарь пригнулся къ самому волчку, — чувствовалъ, какъ отъ рыжаго пахнетъ махоркой и лукомъ.

— Намъ дѣла нѣтъ. Все равно. Давайте помощника.

Рыжій надзиратель опять сходилъ къ лѣстницѣ, а старшій опять положилъ сахаръ на блюдечко, сдвинулъ назадъ фуражку, а потомъ прошелъ черезъ дворъ въ контору, засунувъ руки въ карманы шинели и побрякивая шашкой.

Явился младшій помощникъ. Отъ него пахло не лукомъ, а какими-то крѣпкими духами, и поэтому онъ показался слесарю еще противнѣе рыжаго надзирателя.

Помощникъ, разсматривая червей, приподнялся зачѣмъ-то на носки, потомъ сморщилъ лобъ, какъ отъ боли, а губами улыбнулся и ласково предложилъ перемѣнить супъ.

— Это, господа, ничего. Пища у насъ, вообще, очень хорошая. Это случайность. Кромѣ того, черви не мясные. Увѣряю васъ, что не мясные.

И мигнувъ стоявшему въ дверяхъ надзирателю, чтобы онъ забралъ миски.

— Ого! — сказалъ старшій казакъ и загородилъ своей спиной весь обѣдъ. — Супъ и черви останутся у насъ. И подавайте намъ товарища прокурора. Мы будемъ жаловаться.

— — —

Каторжанинъ Перадзе, проходя съ прогулки въ свою камеру, остановился на мгновенье у номера семнадцатаго и, придерживая одной рукой кандалный ремень, другою просунувъ въ щель волчка крошечный комочекъ бумаги. Надзиратель въ это время возился съ замкомъ номера двадцать второго — и ничего не видѣлъ.

Комочекъ задержался немного, какъ бы раздумывая, въ скользкой амбразурѣ волчка, потомъ спрыгнулъ на полъ и беззвучно подкатился къ самой койкѣ, на которой лежалъ новый.

Новый, должно-быть, спалъ. Онъ лежалъ, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ, и крѣпко закрылъ глаза.

Комочекъ остался на мѣстѣ и терпѣливо ждалъ, ярко бѣля на затоптанномъ асфальтовомъ полу.

Въ узкое окно протянулась, какъ легкая прозрачная ма-

терія, полоса солнечныхъ лучей, позолотила бумажный комочекъ, передвинулась влѣво. Нарисовала на бѣлой стѣнѣ замысловатую серебряную фигуру—и погасла. Начало смеркаться. Подъ сводомъ потолка скопилась голубоватая тѣнь, опускалась все ниже и ниже, беззвучно соскальзывая по пыльнымъ угламъ. Контуры тускнѣли и ступеньвались, но маленькій комочекъ бѣлѣлъ съ прежней отчетливостью.

Когда новый отвернулся отъ стѣны и открылъ глаза, онъ долго смотрѣлъ на сгущавшіяся тѣни. Онѣ подкрадывались къ новому со всѣхъ сторонъ, ложились на его худое, сѣрое лицо, припадали къ безкровнымъ губамъ, какъ-будто посылали имъ неслышные и холодные поцѣлуи.

Новый всталъ и быстро выпрямился, словно хотѣлъ стряхнуть съ себя эти тѣни. Но онѣ только тревожно всколыхнулись, помутнѣли еще больше и опять, беззвучныя и вкрадчивыя, вернулись на прежнія мѣста.

Новый прямо рукой, не глядя, нащупалъ на столикѣ свои очки, старательно надѣлъ ихъ и выправилъ изъ-за ушей прижавшіяся тамъ длинныя пряди волосъ. Прошелъ умѣщавшіеся вдоль камеры восемь шаговъ, повернулъ обратно и тогда почувствовалъ, что въ камерѣ есть что-то новое. Сначала это явилось, какъ смутное подозрѣніе, затѣмъ перешло въ увѣренность. Тогда уже новый внимательно осмотрѣлъ всѣ предметы, одинъ за другимъ выдѣляя ихъ изъ глубокаго сумрака, и нашелъ бумажный комочекъ. Онъ спряталъ его въ карманъ какъ разъ въ ту самую минуту, когда дверь слегка пріоткрылась, и рука невидимаго человѣка просунула изъ коридора въ камеру горящую лампу.

Голубое испугалось, запрыгало, смятенно кинулось въ самые глубокіе углы. И сжалось тамъ, спротивное и скорченное, задвленное злымъ и желтымъ огнемъ лампы.

Новый поднялъ лампу съ пола, переставилъ ее на столикъ у изголовья своей койки. И опять бѣдныя, загнанныя тѣни должны были разыскивать себѣ другіе, еще болѣе сырые и пыльные углы.

Расправлять бумажный комочекъ приходилось медленно и осторожно, чтобы не порвать тонкую бумагу и не нару-

нить стройность тѣсныхъ рядовъ буквъ. Новый прочелъ записку и улыбнулся. Потомъ лицо у него нахмурилось и потемнѣло, и безкровныя губы сдѣлались еще бѣлѣе. Онъ перечиталъ неразборчивыя строки во второй разъ, спряталъ бумажку въ карманъ, сѣлъ на койку и задумался.

Сидѣлъ и не шевелился долго, можетъ-быть, около часа. Думалъ глубоко и упорно, такъ что глаза совсѣмъ провалились въ темныхъ орбитахъ, и ничего не видѣлъ,—ни желтой лампы, ни голубыхъ тѣней.

Встрепенулся, откинулъ со лба волосы и сдѣлалъ нѣсколько сильныхъ движеній, какъ человѣкъ, утомленный тяжелой умственной работой. И пробормоталъ своимъ тихимъ, но увѣреннымъ голосомъ:

— Ну, что же... Можетъ быть они правы... И потомъ,—это какъ разъ то самое, что давно нужно было мнѣ сдѣлать. Пора... а все-таки—ихъ слѣдуетъ отговорить.

Въ коридорѣ гудѣли тяжелые шаги, алчно чавкали своими желѣзными челюстями открывавшіяся одна за другой двери одиночекъ. Надзиратели приходили съ вечерней повѣркой, смотрѣли всѣ ли на мѣстѣ?

---

Трое изъ большой камеры выставили требованія: улучшение пищи и, кстати, прогулка два раза въ день. Послѣ товарища прокурора, который только понюхалъ супъ, брезгливо притронулся къ бумажкѣ съ червями и уѣхалъ, былъ самъ начальникъ. Подъ влияніемъ его визита выставили еще новое требованіе: вѣжливое обращеніе.

Начальникъ по пальцамъ перечислялъ наказанія:

— Отберу табакъ, книги и письменныя принадлежности, лишу свиданій, разсажу по одиночкамъ. Кромѣ того, могу запереть въ карцеръ.

Вечеромъ, послѣ повѣрки, слесарь официально внесъ предложеніе: объявить голодовку. Предложеніе обсуждалось недолго и когда было принято, всѣ трое вдругъ почувствовали себя бодрыми, веселыми и такими легкими, какъ-будто удесятерилась тѣлесная сила.

— Начнемъ завтра же! — совѣтовалъ младшій и дышалъ горячо и нервно.



— И будемъ, конечно, голодать до тѣхъ поръ, пока не добьемся удовлетворенія всѣхъ требованій.

— Завтра нельзя.

— Почему? Надѣяться не на что.

— А новый? Надо сговориться. Одинъ кандалыщикъ общается опять передавать записки, за табакъ.

Назначили срокъ: два дня. Если за это время не придетъ отвѣта отъ новаго, то начать голодовку одни.

Новый отвѣтилъ на другой же день. И писалъ длинно.

Доказывалъ, что голодовка — крайняя мѣра. Если голодать, то до смерти. Иначе это будетъ недостойный фарсъ, вредная забава. И поэтому нужно обстоятельнѣе взвѣсить причины. Дѣйствительно ли при настоящихъ условіяхъ жизнь настолько невыносима, что для ея измѣненія можно поставить на карту самое существованіе! Вѣдь, нельзя надѣяться, чтобы требованія были удовлетворены сейчасъ же. А продолжительная голодовка, даже и не доведенная до логическаго конца, можетъ навсегда разрушить организмъ.

Сухо, педантично, неинтересно. Старшій казакъ сжигалъ эту записку на спичкѣ, и нижняя губа у него презрительно вытянулась.

— Трусъ!

— И какой учительскій тонъ... Наплевать! Обойдемся и безъ него.

— Сочувствующій...

— Все-таки напишемъ еще разъ. Что рѣшеніе безповоротное, и что мы начинаемъ съ утра завтрашняго дня.

— Кажется, послѣзавтра?

— Завтра. Теперь все равно. У кого карандашъ?

Когда старшій писалъ, двое слѣдили изъ-за плеча за движеніемъ его руки, диктовали и совѣтовали. Но спорили безъ обычной горячности и смотрѣли другъ на друга съ нѣмымъ уваженіемъ. И то, что было написано въ только что полученной длинной запискѣ, еще болѣе убѣждало въ необходимости и значительности начатаго дѣла.

— Собственно, сколько времени можно прожить безъ пищи? — спрашивалъ слесарь, и ему самому нравилось, что

онъ говорить это такъ хладнокровно, какъ-будто о чемъ-то постороннемъ и безразличномъ.

Старшій задумывался, но не очень, а только такъ, чтобы вспомнить.

— Мм... Я читалъ гдѣ-то, одинъ англичанинъ голодалъ сорокъ дней... Но это рѣдкость... А обыкновенно, говорятъ, недѣли двѣ... Но только если пить воду.

— А, вѣдь, мы не рѣшили вопросъ: съ водой или безъ воды?

— Если безъ воды, то не больше недѣли.

— Да?

— Конечно. Семь дней — и смерть.

— Семь дней...

Младшій закрывалъ глаза и старался понять, что будетъ съ нимъ черезъ семь дней. Но это было трудно. И младшій быстро открывалъ глаза, стряхивалъ думы, весело говорилъ о разныхъ веселыхъ пустякахъ и шутилъ по поводу послѣдняго куска хлѣба, который былъ съѣденъ за вечернимъ чаемъ.

Однакоже, въ послѣдній моментъ было рѣшено большинствомъ, — двухъ противъ слесаря, — пить воду.

— Въ случаѣ, если требованія не будутъ удовлетворены, то болѣе длинная голодовка произведетъ и болѣе сильное впечатлѣнiе. Семь дней или пятнадцать — это разница. Вѣдь, на волѣ, конечно, узнаютъ и будутъ прислушиваться.

---

По утрамъ два кухонныхъ служителя разносили на большихъ деревянныхъ лоткахъ наръзанный суточными порціями хлѣбъ. Сопровождавшій ихъ надзиратель явился послѣ раздачи въ контору и доложилъ:

— Общiе политическіе и номеръ семнадцатый не берутъ хлѣба.

Въ конторѣ былъ одинъ только младшій помощникъ. Выслушавъ надзирателя, онъ прошелъ въ кабинетъ къ начальнику и, немного изогнувъ впередъ затянутое въ новенькій мундиръ туловище, доложилъ тамъ тоже самое.

Начальникъ сказалъ: — „Гм!“ — обмакнувъ перо въ чернильницу и подписалъ какую-то вѣдомость.

— Еще что?

— Ничего-съ. Каково будетъ ваше распоряженіе?

— Хлѣбъ положить имъ на столы. Проголодаются и съѣдятъ. Выберите куски помягче, и чтобы корка была не сожженная, а покрасивѣе... Да еще смотрите, какъ бы не пошло какой-нибудь болтовни среди уголовныхъ!.. Все.

Черезъ полчаса, когда начальникъ, собираясь ѣхать въ городъ съ докладомъ, сѣлся въ экипажъ, къ нему опять подошелъ помощникъ, изгибалъ корпусъ и держалъ руку у козырька новенькой фуражки.

— Смѣю обезпокоить... Общiе выбросили хлѣбъ въ форточку, а семнадцатый затолкалъ въ парашу. Прикажете раздать еще?

— Не нужно. Даръ Божій — и въ парашу? Не нужно. — Начальникъ ткнулъ кучера въ спину. — Погоняй!

Помощникъ посмотрѣлъ вслѣдъ быстро удалявшемуся экипажу, повернулся на каблукахъ и пошелъ къ себѣ на квартиру, — въ свѣтленькую комнату съ кисейными занавѣсками, — играть на гитарѣ.

---

Слесарь выкурилъ одну за другой двѣ папиросы и почувствовалъ, что въ глазахъ у него немного потемнѣло, а вся камера, съ дверью, рѣшеткой и двумя казаками, начала медленно и плавно раскачиваться изъ стороны въ сторону. Это ощущеніе живо напомнило слесарю одно изъ дѣтскихъ впечатлѣній, — первую папиросу. И даже знакомая тошнота сухими и болѣзненными спазмами поднималась изъ желудка къ горлу.

Слесарь затопталъ окурокъ и, укладываясь на постель, сказалъ:

— Шабашъ. Больше курить нельзя.

Голодали второй день.

Вчера время ушло шутя. Въ лихорадочномъ напряженіи быстро пробѣжали часы до самой вечерней повѣрки. Младшій, готовясь ко сну, весело похлопывалъ себя по тощему животу.

— Авось гусь съ капустой приснится... Или буженина. Вотъ и обѣдъ будетъ.

— Да, буженина — это... — началъ было старшій, но замолчалъ и отвернулся носомъ къ стѣнѣ.

Утромъ слесарь развернулъ свою забытую тетрадь, сѣлъ писать. Писалъ до прогулки, ероша волосы и скрипя перомъ. Казаки, лежа, читали.

Послѣ полудня старшій перво заходилъ изъ угла въ уголь. Снялъ свой ременный поясъ, провертѣлъ въ немъ новую дырку и опять надѣлъ, потуже. Младшій предложилъ читать вслухъ.

— Правда... Это развлечьъ. Что-нибудь по исторіи.

Нашли книгу и долго читали о томъ, какъ гдѣ-то въ Италіи, въ концѣ среднихъ вѣковъ, одинъ герцогъ низвергъ съ престола другого, а потомъ отравилъ третьяго и женился на его вдовѣ. Но все это было очень далеко и блѣдно и не заставляло напрягать мысли и вниманіе.

— Какъ-то скучно написано... А что, завтра тоже будутъ такія же спазмы въ желудкѣ?

— Нѣтъ, это, говорятъ, проходить. Напрасно мы гуляли. Лишнія движенія сильно истощаютъ.

— А семнадцатый гулялъ?

— Можно справиться.

— Да, вѣдь, онъ, можетъ-быть, не голодаетъ. Онъ ничего не отвѣтилъ.

— Если голодаетъ, то ему труднѣе, — въ одиночествѣ. Нѣтъ примѣра передъ глазами.

— Да, одинъ...

Къ вечеру младшій лежалъ на своей постели, уткнувшись лицомъ въ подушку, и упорно молчалъ. Слесарь держался бодро. Много хлопоталъ, чтобы получить извѣстія о номерѣ семнадцатомъ.

И почему-то, когда стало извѣстно, что новый не только голодаетъ, а даже не пьетъ воды, пролежалъ цѣлый день на койкѣ и не захотѣлъ говорить съ помощникомъ, — всѣмъ сдѣлалось веселѣе, и притупившееся уже сознаніе подвига вспыхнуло съ новой силой.

Младшій увѣрялъ, что теперь онъ чувствуетъ себя совсѣмъ хорошо...



— Никакого голода. Только небольшая слабость. Это совсѣмъ пустяки. Завтра не пойдемъ на прогулку.

На третье утро, послѣ длинной и кошмарной ночи, проснулись съ тяжелой головой, — какъ-будто съ похмелья. Еще не открывая глазъ, прислушивались къ своимъ чувствамъ, со смутной боязнью чего-то рокового, приближавшагося медленно, но неизбежно.

Но чувства голода почти не было. Только въ груди и подъ ложечкой что-то ныло тупой и слабой болью, и эта боль была такъ нова и неожиданно-легка, что почти забывляла.

Слесарю съ вечера долго не давала уснуть одна навязчивая мысль, и теперь она вернулась, копошилась въ головѣ, настойчиво требуя разрѣшенія.

Такъ какъ новый не пьетъ, то для него на седьмой день все можетъ уже кончиться. А они, трое, черезъ недѣлю будутъ еще живы. Даже, пожалуй, почти здоровы. Нельзя же простую слабость и эту тупую, незамѣтную боль считать за болѣзнь?

Казаки молчали, но слесарю казалось, что они думаютъ о томъ же. Лица у нихъ хмурились, и глаза тревожно бѣгали съ предмета на предметъ, а въ самой глубинѣ расширенныхъ зрачковъ застыло выраженіе вопроса.

И никто не рѣшался спросить первый.

Губы трескались. Жажда чувствовалась почти все время, а наполненный водой желудокъ не такъ надоѣдливо нылъ. Поэтому часто подходили къ баку съ водой и пили маленькими, осторожными глотками.

Слесарь грызъ ногти. Ему казалось, что до начала голодовки онъ самъ былъ лучше, и воля у него была сильнѣе, чѣмъ теперь. Ну, вѣдь нужно же спросить?

Старшій досталъ книжку.

— Давайте опять почитаемъ про герцоговъ.

— Къ чорту...

На прогулку не пошли. И никто не прикасался къ коробкѣ съ табакомъ. Отъ первой же затяжки тошнило.

Передъ часомъ обѣда по коридору нѣсколько разъ про-

стучали шаги старшаго помощника, потомъ рысью пробѣжалъ куда-то кухонный надзиратель.

Повара, мѣрно топая ногами, пронесли тяжелые котлы со щами для уголовныхъ. Въ дверной волчокъ потянуло легкимъ, едва уловимымъ запахомъ разваренной капусты.

— Пожалуй, лучше будетъ все-таки покурить! — вслухъ подумалъ младшій и потянулся было къ табаку, но въ это время коридорный загремѣлъ замкомъ, дверь открылась, и старшій надзиратель внесъ въ камеру большую миску съ супомъ.

Слесарь поблѣднѣлъ.

— Вѣдь вамъ, кажется, ясно было сказано, что мы не будемъ обѣдать.

Надзиратель сдѣлалъ извиняющееся лицо, но подъ сѣдыми усами у него прыгала и прорывалась наружу хитрая усмѣшка.

— Не могу знать. По приказу господина начальника... Приказано обѣдъ оставить въ камерѣ. А супчикъ очень хорошъ. Извольте посмотреть.

Старшій казакъ нагнулъ голову на толстой бычачей шеѣ и, прищутивъ глаза, медленно пошелъ къ надзирателю. Слесарь угадалъ его намѣреніе и уступилъ дорогу, чтобы не облиться брызгами горячаго супа. Но надзиратель быстро отступилъ назадъ, поставилъ миску на полъ у порога и, выскользнувъ въ коридоръ, захлопнулъ дверь. Супъ остался.

На его поверхности плавали, купаясь въ жирномъ наварѣ, мелкіе листочки свѣжей петрушки и ломтики поджареннаго до красна луку. Изъ самой середины выглядывалъ большой кусокъ говядины. И все это очень хорошо пахло.

— Дьяволы! — сказала слесарь, тѣшечно напирая плечомъ на крѣпко запертую дверь. — Такъ вотъ они на что надѣются?

Старшій нагнулся надъ миской и сочно, со звонкимъ чавканьемъ плюнулъ туда прямо на говядину.

— Вотъ вамъ! Ышьте сами...

Младшему почему-то было немного жаль, что его товарищъ плюнулъ. Но ротъ у него самого наполнялся тягучей слюной, и какъ-будто чья-то посторонняя рука сжимала горло, такъ что становилось трудно дышать. Тогда онъ по-

дошелъ и тоже плюнулъ и когда нагибался, то отъ вкусаго, безстыдно заманчиваго запаха жирнаго супа ему сдѣлалось почти дурно.

— Пусть такъ онъ и стоитъ здѣсь! — рѣшилъ слесарь.— Будетъ видно, что мы къ нему не притрунулись.

До поздняго вечера метались по камерѣ. Заниматься не могли, потому что каждая прочитанная фраза сейчасъ улетала изъ памяти. Зато фантазія работала съ непривычной рельефностью, и наяву грезилось что-то, похожее на лихорадочные сны.

Проходившій съ повѣркой младшій помощникъ только заглянулъ въ волчокъ и пошелъ дальше.

Супъ остылъ, подернулся некрасивой сѣровой корочкой. Теперь отъ него почти не пахло, не должно было пахнуть. Но запахъ острый и крѣпкій все-таки стоялъ въ камерѣ, наполняя ротъ слюной и сжимая горло нервными схватками.

Торопливо раздѣлись послѣ того, какъ вся тюрьма уже совсѣмъ затихла.

Младшій взглянулъ изъ-подъ одѣяла и несмѣло сказалъ:

— Хорошо было бы вылить это. Право, раздражаетъ.

— А ну! Пусть остается! — отвѣтилъ слесарь и почему-то очень разсердился на младшаго, который опять спрятался съ головой подъ одѣяломъ.

Фитиль въ лампѣ былъ привернуть. Она горѣла неровно и тревожно мигала косымъ язычкомъ пламени.

Когда младшему сдѣлалось очень душно, онъ откинулъ одѣяло до пояса и, не поворачивая головы, скосилъ глаза на сосѣда. Слесарь, должно-быть, уже спалъ. Ровно дышалъ и слегка посвистывалъ носомъ.

Направо старшій казакъ часто ворочался, вздыхалъ тяжело и чесался. Пробормоталъ сердитымъ полушопотомъ:

— Клоповъ опять развелось... Нужно будетъ заказать кипятку и выпарить...

— Да, клопы! — согласился младшій. Осторожно потянулъ носомъ и почувствовалъ, что супъ все еще пахнетъ. Легко, чуть-чуть: смѣсью лука, петрушки и застывшаго жира. Вотъ, если бы...

Старшему что-то почудилось. Онъ спросилъ сонно и по-прежнему сердито:

— Ты что говоришь?

Младший покраснѣлъ и потянулъ на себя одѣяло.

— Нѣтъ, я ничего.

— Дурацкая у тебя привычка, — бормотать по ночамъ. Мѣшаешь.

Привернутый фитиль все мигалъ однимъ краемъ. Полосы тѣни на стѣнѣ подпрыгивали и какъ-будто тоже дразнили.

Глухой ночью, почти подъ утро, когда сѣрые переплеты рѣшетки совсѣмъ почернѣли на свѣтлѣющемъ небѣ, младшій осторожно, затаивъ дыханіе, сползъ съ постели. Спускался на полъ ногами впередъ, извиваясь, какъ змѣя, всѣмъ своимъ худощавымъ тѣломъ. На четверенькахъ проползъ до миски, присѣлъ надъ нею и замеръ. Вотъ тутъ, совсѣмъ близко, у самого рта, есть пища, сытость. Горло нѣсколько разъ подъ рядъ жадно проглотило слюну, и скулы ныли, какъ отъ зѣвоты.

Младшій прикоснулся пальцемъ къ темному среди застывшего жира куску говядины. Задѣлъ что-то скользкое, немного липкое, но не было противно, и сами собою разѣвались челюсти.

Слесарь пошевелился, громко присвистнулъ носомъ и сразу перемѣнилъ дыханіе. Тогда младшій застылъ, а все его одеревенѣвшее тѣло вдругъ облилось крупными каплями пота, хотя на полу было холодно. Ему казалось, что, если кто-нибудь сейчасъ увидитъ его, то онъ умретъ на мѣстѣ отъ ледяного, ужасающаго стыда.

Но слесарь опять началъ дышать ровно и присвистывать. Младшій забрался подъ одѣяло, накрылся съ головой и хотѣлъ ни о чемъ не думать, но изъ глазъ у него почему-то текли слезы, и этихъ слезъ тоже было очень стыдно, и не хотѣлось, чтобы кто-нибудь замѣтилъ ихъ.

---

Опять пріѣхалъ товарищъ прокурора, — тотъ самый, который смотрѣлъ на червей въ бумажкѣ и у котораго былъ еще добавочный титулъ: завѣдующій мѣстами заключенія.



Въ карманѣ у него лежало только что полученное предписание, — немедленно покончить съ голодовкой, такъ какъ о ней извѣстно въ городѣ, и возникаютъ уже нежелательные слухи.

Товарищъ прокурора любилъ говорить, но былъ тяжелъ на подъемъ и, когда пріѣхалъ въ тюрьму, имѣлъ видъ очень обиженного человѣка.

Сначала онъ получилъ въ конторѣ всѣ нужныя свѣдѣнія, затѣмъ отправился въ номеръ семнадцатый. Младшій помощникъ приложилъ ухо къ двери и слушалъ все время, пока шелъ разговоръ съ заключеннымъ, но разобралъ мало.

Говорилъ больше товарищъ прокурора. Началъ онъ строго и увѣренно, потомъ перешелъ въ другой тонъ, — мягкій и даже почти вкрадчивый. Заключенный молчалъ, или отзывался коротенькими, односложными словами, не долетавшими до слуха помощника.

Минуть черезъ десять товарищъ прокурора вышелъ изъ номера семнадцатаго и пошелъ въ общую. Помощникъ шагаль слѣдомъ, придерживалъ шашку и старался строго смотрѣть на всѣхъ встрѣчныхъ арестантовъ, которые отходили къ стѣнѣ и кланялись.

Слесарь и старшій казакъ встрѣтили посѣтителя стоя. Младшій лежалъ и нарочно закрылъ глаза, хотя съ третьей ночи голодовки у него была бессонница.

Товарищъ прокурора поздоровался, потомъ придвинулъ къ себѣ табуретъ и сѣлъ. Казакъ и слесарь тоже сѣли, и поэтому камера сразу стала меньше походить на тюрьму.

Посѣтитель взялъ со стола какую-то книжку, — при чемъ у казака защемило сердце, такъ какъ между страницами лежала начатая записка, — поднесъ книжку къ своимъ близорукимъ глазамъ и сейчасъ же положилъ ее на мѣсто. Потомъ спросилъ:

— Давно ли вы ничего не ѣдите, господа? Я слышалъ, что пятый день, не такъ ли?

— Пятый-съ! — торопливо подтвердилъ стоявшій на порогѣ, помощникъ, опасаясь, какъ бы политическіе не преувеличили число. Товарищъ прокурора повелъ въ его сторону

бровями, и онъ торопливо скрылся за дверью, задѣвъ шапкою за косякъ.

Старшій смотрѣль въ полъ и угрюмо молчалъ. Слесарь началъ, было, крутить папиросу, но вспомнилъ, что курить не хочется и не нужно,—и бросилъ ее обратно въ коробку.

— Вы — люди молодые. Это очень дурно отзовется на вашемъ здоровьи! — сказалъ товарищъ прокурора и покачалъ головой.

— Пусть исполнять требованія! — заворчалъ слесарь. — Кажется, немногаго просимъ.

— Совершенно вѣрно! — и голова качнулась въ обратную сторону. — Если бы вы не переставали обѣдать, то могли бы убѣдиться, что пища значительно улучшена. Специально для политическихъ поставленъ даже особый котель на кухнѣ. Увѣряю васъ. Что же касается до увеличенія срока прогулокъ, то этой просьбы нельзя исполнить, пока тюрьма переполнена. Вотъ, ушлемъ двѣ-три партіи, и тогда — пожалуйста. Помилуйте, господа! Въ другихъ тюрьмахъ по семь минутъ гуляютъ, а у насъ — полчаса. Нельзя обратить тюрьму въ гостиницу. Мы и то стараемся предоставить всѣ удобства.

Товарищъ прокурора говорилъ ласково и улыбался, и концами пальцевъ поглаживалъ, бархатный околышъ на своей фуражкѣ. Младшій казакъ слушалъ его, лежа, и хотѣлъ настроить себя злобно, но все-таки думалъ, что среди судейскихъ есть довольно порядочные люди, и что съ прогулками можно-бы подождать, пока не отправятъ партіи. Слесарь стряхивалъ съ колѣнъ табачную пыль и ворчалъ басомъ, какъ разсерженный шмель:

— Начальникъ ругается непечатными словами. Этого мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ терпѣть. Мы требуемъ вѣжливаго обращенія.

— Да, да, конечно! — Товарищъ прокурора началъ улыбаться еще шире и теръ бархатъ фуражки всей ладонью. — Онъ немного грубъ, я совершенно согласенъ. Но войдите также и въ его положеніе, господа. Человѣкъ онъ пожилой, перенесъ много непріятностей и поэтому раздражителенъ. Пробилъ себѣ дорогу собственнымъ горбомъ. Учился, вѣ-

роятно, на мѣдные гроши... Вы, какъ люди интеллигентные, должны относиться болѣе снисходительно.

И затѣмъ товарищъ прокурора началъ говорить, что онъ очень уважаетъ всѣхъ вообще политическихъ, и хотя, конечно, совершенно не раздѣляетъ ихъ крайнихъ убѣждений, но, тѣмъ не менѣе, ни въ какомъ случаѣ не можетъ ставить ихъ на одну доску съ уголовными арестантами. Онъ всегда дѣлаетъ для нихъ все, что можетъ. И его обѣщаніямъ можно безусловно довѣрять.

Слесарь молчалъ.

— Ну, хорошо! — протянулъ старшій казакъ и наморщилъ лобъ мелкими складочками. — А какія же вы, все-таки, дадите намъ гарантіи?

— Но позвольте! Лучшая гарантія относительно обѣда, — это его, такъ-сказать, пищевыя и вкусовыя качества, въ которыхъ вы можете во всякую минуту убѣдиться сами. А относительно всего остального я могу дать вамъ самое торжественное обѣщаніе... Но только, господа, примите во вниманіе одно небольшое обстоятельство! — Товарищъ прокурора понизилъ голосъ, а лицо у него приобрѣло тотъ деревянный характеръ, какой бываетъ у всѣхъ чиновниковъ во время службы. — Ваша просьба была бы удовлетворена гораздо скорѣе, если бы вы предъявили ее законнымъ порядкомъ.

Потомъ онъ говорилъ еще нѣсколько времени о превосходствѣ законности и, наконецъ, ушелъ.

— Я даю вамъ, господа, полчаса на размышленіе. И, къ сожалѣнію, долженъ васъ предупредить, что я имѣю приказаніе свыше примѣнить къ вамъ репрессивныя мѣры... Конечно, только въ такомъ случаѣ, если... Вы понимаете?

Когда дверь захлопнулась, младшій вскочилъ на ноги и, поднявъ руку, прищелкнулъ пальцами.

— Наша взяла!.. А любопытно, съ чѣмъ сегодня супъ, — съ макаронами или съ рисомъ? Лучше бы съ рисомъ.

Старшій все еще хмурился.

— Это положимъ... Прогулка-то пока остается попрежнему. Я думаю, что слѣдуетъ продолжать.

Слесарь за послѣдніе два дня совсѣмъ уже не чувство-

валь голода. Но теперь у него вдругъ начались сильныя спазмы въ желудкѣ. Ударомъ ноги онъ перевернулъ табуретку, на которой только что сидѣлъ посѣтитель, и выругался совсѣмъ такъ же, какъ тюремный начальникъ.

Черезъ полчаса товарищъ прокурора стоялъ въ дверяхъ камеры, слегка кланялся и говорилъ:

— Очень радъ, что недоразумѣнiе уладилось. И я убѣдительно прошу васъ, господа, въ слѣдующій разъ не уклоняться съ законныхъ путей. Для васъ самихъ это будетъ гораздо прiятнѣе.

---

Первый день послѣ голодовки трое чувствовали себя очень неважно. Младшiй заболѣлъ острымъ катаромъ, лежалъ и охалъ. Досадно ему было, что вкуснаго супу съ рисомъ онъ могъ съѣсть только нѣсколько ложекъ, да и тѣ проглатывались съ мучительной болью.

У слесаря что-то нехорошее, мутное было на душѣ. Онъ обсудилъ все дѣло съ точностью, какъ арифметическую задачу, нашелъ, что во всемъ поступалъ правильно, и, все-таки, было почему-то немного совѣстно. Кромѣ младшаго, никто не хотѣлъ вспоминать о голодовкѣ. Усердно читали. Слесарь писалъ и зачеркивалъ написанное.

Старшiй думалъ о томъ, что оба сожителя очень надоѣли ему и что хорошо было бы перебраться недѣли на двѣ въ одиночку. Никого не видѣть. Закрывъ глаза, опять вспоминать станицу, зеленые поля, старыя ивы надъ ручьемъ. Вспоминать хотѣлось какъ разъ то, что тогда, на волѣ, казалось такимъ обыкновеннымъ и малозначащимъ. Не городскiя собранiя и массовки, не большую демонстрацiю со стрѣльбой и свалкой, а именно зеленое поле, самое простое, съ пасущимся табуномъ, и старую иву, въ прогнившемъ, сыромъ дуплѣ которой всегда прятались жабы.

Вечеромъ, на повѣркѣ, старшiй неожиданно обратился къ начальнику съ просьбой о переводѣ въ одиночку. Тотъ замахалъ коротенькими, жирными руками.

— И не думайте! Нѣтъ свободныхъ. Да что это такое? Изъ одиночекъ просятся въ общую, изъ общей въ одиночку... Нельзя.



Старшій отгрызъ себѣ ноготь до крови и съ самой повѣрки залегъ спать.

Младшій лежалъ и охалъ. Фельдшеръ привязалъ ему на животъ компрессъ, но отъ этого сдѣлалось еще хуже. А главное — было страшно, что желудокъ, можетъ-быть, навсегда разучился переваривать пищу, и теперь придется умирать.

Каторжанинъ Перадзе поставилъ на углу коридора стрему, а самъ подобрался къ общей политической. Приложился губами къ волчку и зашепталъ:

— Сс... Слушайте!

Три головы прильнули къ волчку по ту сторону двери. И слушали:

— Семнадцатый все голодаетъ, — не бросилъ. Совсѣмъ плохъ сталъ. Сегодня докторъ былъ, лѣкарство давалъ. Брать не хочетъ. А? Вотъ какъ. Скоро помирать будетъ.

Выводной надзиратель шелъ мимо и замѣтилъ безпорядокъ.

— Эй ты, гололобый! Проваливай... Накладу по маковкѣ!

Три головы слышали еще, какъ звякнула, удаляясь, цѣпь кандалычика. Молча посмотрѣли другъ на друга.

— Это что же такое? Вѣдь это, значить...

Было не стыдно и не больно, а просто страшно.

— Значить, не дошла наша послѣдняя записка! — пытался отогнать этотъ страхъ младшій.

Слесарь отрицательно покачалъ головой.

— Не можетъ быть. Перадзе сказалъ бы.

Но младшій и самъ зналъ, что это только увертка, и не спорилъ. Каждый искалъ въ умѣ какія-нибудь большія, сильныя слова, которыя нужно сказать теперь, но никто не находилъ ихъ, и всѣ опять молчали, ходили изъ угла въ уголъ по камерѣ, натыкаясь другъ на друга.

Потомъ слесарь круто остановился.

— А знаете, вѣдь, мы... мы... Эхъ!

Старшій морщилъ лобъ. Какъ-будто изъ мелкихъ, избородившихъ всю кожу складочекъ выдавилъ мысль:

— Нужно опять... присоединиться.

— Нѣтъ, — отрубилъ слесарь.

— Почему нѣтъ? — спросилъ младшій. Ему не отвѣтили, и онъ не переспрашивалъ, — должно-быть, понять самъ.

Вечеромъ старшій опять просилъ о переводѣ. И опять начальникъ махалъ жирными волосатыми руками и говорилъ:

— Нельзя!

---

Новый лежалъ на койкѣ, вытянувъ руки вдоль туловища и полузакрывъ глаза. Такъ какъ въ номерѣ не было стула, то на той же койкѣ, въ ногахъ, сидѣлъ товарищъ прокурора. Дверь была плотно приперта, а младшій помощникъ присматривалъ за какою-то кухонной заготовкой и поэтому не могъ подслушивать.

Товарищъ прокурора поглаживалъ свой бархатный околышъ.

— Повѣрьте, что я считаю васъ человѣкомъ совершенно другого порядка, чѣмъ, напримѣръ, та молодежь, которая сидитъ въ общей. Мы съ вами ровесники. Вѣроятно, вы пережили больше моего, и поэтому я отношусь къ вамъ съ искреннимъ уваженіемъ. Да, да, увѣрю васъ. И вотъ, я просилъ бы васъ объяснить... неужели этотъ мальчишескій протестъ... неужели вы придаете ему такое существенное значеніе? Ну, вы опять не хотите со мною разговаривать? Впрочемъ, вамъ, конечно, трудно... Будьте же такъ добры, выпейте лѣкарство.

И товарищъ прокурора подаль своему собесѣднику большую рюмку съ мутно-желтой жидкостью.

— Не хотите? Очень жаль. Право, вы ужасно меня огорчаете. Я этого не заслужилъ. Я всегда стараюсь всѣми мѣрами облегчать участь заключенныхъ. Конечно, я человѣкъ умѣренный. Не могу покровительствовать какъ крайнимъ теоріямъ, такъ и чрезмѣрнымъ требованіямъ. Но никто не можетъ обвинить меня во враждебности... а вы, вотъ, такъ непріятно на меня смотрите. Право.

Заключенный совсѣмъ опустилъ свои прозрачныя вѣки. Носъ у него былъ теперь длиненъ и заостренъ, какъ у покойника, и весь онъ совсѣмъ походилъ на мертвого, такъ

что товарищ прокурора слегка наклонился и прислушался, — слышно ли дыханіе.

Дыханіе было, — хриплое, тяжелос. Чувствовалось, что въ горлѣ и во рту нѣтъ ни капли влаги. Совсѣмъ бѣлыя губы потрескались до крови.

— Дорогой мой... Видите, — я говорю вамъ: дорогой мой. Скажите только одно слово. Васъ окружатъ самымъ заботливымъ уходомъ. Васъ будутъ отлично кормить. Понимаете, отлично. Будутъ давать вамъ самыя питательныя, самыя изысканныя блюда. Мы сдѣлаемъ на этотъ предметъ специальную ассигновку.

Бѣлыя губы шевелились со сдержанной гримасой. И товарищ прокурора уловилъ слово, состоявшее почти изъ одного только хрипа:

— Нѣтъ.

— Но вы, вѣроятно, не отдаете себѣ отчета... а я только что бесѣдовалъ съ врачомъ. Завтра вы должны потерять сознаніе. Затѣмъ еще день или два — и вы умрете. Вы понимаете: здѣсь, въ тюрьмѣ, вдали отъ вашихъ близкихъ, и никто, можетъ-быть, даже не узнаетъ о вашей смерти.

Новый опять пошевелилъ губами, но теперь его хрипъ значилъ:

— Да.

Посѣтитель положилъ свою фуражку на столъ. Онъ былъ теперь уже слишкомъ взволнованъ для того, чтобы гладить бархаты.

— Есть еще одинъ пунктъ, дорогой мой... Представьте себѣ, каково теперь должно быть психическое состояніе тѣхъ трехъ юношей... Вѣдь эти трое должны думать, что именно они, и никто другой поставили васъ въ такое ужасное положеніе. Они давно кончили голодовку. Для нихъ все дѣло ограничилось пустяками. А вы... вы...

Товарищ прокурора остановился, потому что замѣтилъ на лицѣ больного странную гримасу. Углы губъ у него поднялись кверху, и зубы оскалились, и такъ было похоже на звѣря, который хочетъ укусить. Поэтому товарищ прокурора всталъ, взялъ фуражку и сказалъ:

— Очень жаль... Въ такомъ случаѣ намъ остается послѣднее средство: прибѣгнуть къ искусственному питанію.

Новый открылъ глаза и сказалъ совсѣмъ явственно:

— Пѣтъ и пѣтъ. Я умру. Если вы будете кормить меня, я разобью себѣ голову объ стѣну. Убирайтесь вонъ.

Посѣтителъ пожалъ плечами. Онъ испытывалъ острую жалость, когда только-что входилъ въ номеръ семнадцатый. Теперь же отъ этого чувства осталось только недоумѣніе и злость. Кромѣ того, онъ былъ увѣренъ, что добросовѣстно выполнилъ свою обязанность, и могъ теперь спокойно ѣхать домой.

---

Двери номера семнадцатаго были попрежнему закрыты на висячій замокъ, — тяжелый, неуклюжій, какими запираютъ мучные лабазы, — хотя заключенный совсѣмъ ослабѣлъ и не могъ вставать съ койки.

Когда онъ поднималъ руки къ лицу, онѣ падали обратно по обѣимъ сторонамъ туловища, сухія и жесткія, какъ руки муміи.

Стоявшая на широкомъ подоконникѣ лампа, съ мокрымъ отъ керосина жестянымъ резервуаромъ, сильно коптила, но заключенный не могъ убавить огонь и дышалъ тяжелымъ, чаднымъ воздухомъ. Впрочемъ, ему было все равно. Онъ лежалъ, закрывъ глаза, и думалъ, и такъ какъ лихорадка воспаляла мозгъ, его мысли были рѣзки и выпуклы, какъ мысли художника.

Онъ видѣлъ передъ собой длинную дорогу, — сначала узкую и прерывистую, какъ заброшенная тропинка, потомъ широкую. Дорога сначала шла въ гору, потомъ опускалась. Это была его жизнь.

Такую дорогу онъ видѣлъ передъ собою уже давно, каждый день подъ рядъ, и все искалъ въ ней что-нибудь новое, прослѣживая ее шагъ за шагомъ ясновидящими глазами, но не находилъ ничего.

Онъ зналъ все, каждый шагъ. Прежде, когда онъ еще только дѣлалъ эти шаги, многое представлялось ему не такимъ, какимъ было на самомъ дѣлѣ, или же просто загадочнымъ. Но теперь все было ясно.



Онъ смотрѣлъ на свою жизнь съ начала и съ конца, расчленялъ ее на отдѣльные куски, искалъ въ ней глазами, какъ ножъ анатома рѣжетъ и ищетъ въ трупѣ чего-нибудь новаго. И все было ясно, совсѣмъ ясно.

Было тамъ маленькое и розовое, некрасиво-розовое, какъ кисея на туалетѣ мѣщанки: любовь и солнце, и всякая человѣческая радость. Было сѣрое и переплетенное, какъ пыльная паутина, грязное и ненужное: тюрьма и все то, что дѣлалось противъ воли, когда приходилось биться, какъ въ паутинѣ. И было еще угловатое, съ колючими углами и слишкомъ большое, такъ что выдѣлялось и въ розовое и въ сѣрое: подвигъ.

Было еще просто черное, густое, и это черное росло по мѣрѣ того, какъ жизнь спускалась внизъ: усталость. Въ этой усталости сѣрое тонуло безслѣдно, а розовое дѣлалось сѣрымъ.

И когда заключенный смотрѣлъ на свою жизнь, появлялась на его лицѣ жалкая улыбка, и носъ, тонкій и прозрачный, какъ у покойника, обострялся еще сильнѣе.

Розовое, сѣрое, черное. Онъ долго всматривался, чтобы найти что-нибудь: яркое, ослѣпляющее глаза, красивое. Пусть хотя бы маленькое, какъ звѣздочка, но ослѣпляющее.

Возвращался далеко назадъ, туда, гдѣ была одна только почти изгладившаяся тропинка. И уходилъ испуганно, потому что тамъ, въ дѣтствѣ, было совсѣмъ плохо, хотя и тамъ онъ могъ бы сверкать и радоваться. То, что не изгладилось, было безобразно, — и теперь почти стыдно.

Когда онъ передвигался дальше и вспоминалъ о любви, то ему какъ-разъ начинало дѣлаться яснымъ то, что подтверждалось потомъ на каждомъ шагу.

Любовь — розовенькая, а не красная. Поблѣднѣла, потому что была испугана, и сосудъ любви никогда не наполнялся до краевъ. Такъ, полоскалось на донышкѣ. А дальше наполнять было странно. Вдругъ разольется и потопить? Возьметъ всего цѣликомъ и не пуститъ впередъ.

А тамъ, впереди, приближался подвигъ, выпиралъ колючими гранями, жаль и давилъ.

Любовь и радость были свои. А подвигъ — чужой, потому

что для другихъ. Любилъ и радовался для себя самого и, поэтому, все, что отъ радости, было мелкое, розовенькое, какъ кисейная драпировка. А на плечахъ своихъ несъ огромную, угловатую тяжесть, которая отбрасывала отъ себя двѣ тѣни: черную и сѣрую.

Онъ болѣлъ чужою болью. А его болью не болѣлъ никто.

Теперь было видно, что съ самыхъ первыхъ дней жизнь построилась неправильно. Поэтому и было такъ скучно и тяжело вспоминать о ней на порогѣ смерти.

Но зато теперь хорошо было умирать съ увѣренной продолжительностью, часъ за часомъ. Каждый часъ можно было оглянуться на жизнь и провѣрить: не осталось ли тамъ чего-нибудь, что манить и привлекаетъ, и не слѣдуетъ ли вернуться на дорогу.

Вчера, сегодня и каждый часъ на дорогѣ было одинаково пусто и скучно. Больше всего—сѣрой паутины и черной усталости. Тѣни длиннѣе того, что ихъ отбрасывало.

Поэтому новый опять сказалъ себѣ спокойно и увѣренно:

— Я не могу больше. Я усталъ. Нѣтъ радости. Я умру.

Затѣмъ онъ вспомнилъ о троицѣ, которые, можетъ-быть, болѣли теперь его болью. И сказалъ себѣ:

— Это хорошо.

И забылъ о нихъ, опять смотрѣлъ на дорогу, все переворачивалъ, ходилъ впередъ и назадъ.

Нѣтъ ничего. Обманулъ себя самъ. Съ самаго начала хотѣлъ жизни, искалъ ее,—и прошелъ мимо.

Болѣлъ за другихъ—а за себя не болѣлъ. Изъ себя сдѣлалъ ничто, и, поэтому, не нужно и неинтересно было жить дальше.

Все это пришло въ мысли такъ ясно только тогда, когда приблизилась смерть, и можно было оглянуться назадъ.

Новому было страшно, когда онъ думалъ, что могъ бы прожить еще десятки лѣтъ, а между тѣмъ въ этой жизни все было бы прежнее.

Ночью мысли начали путаться. Вспыхнули еще нѣсколько разъ и погасли,—и новый не замѣтилъ, когда это случилось.

Утромъ пришли доктора,—чистые, хорошо выбритые,

въ золотыхъ очкахъ и въ длинныхъ сюртукахъ, — и принесли съ собою клизмы и зонды для насильственного питанія.

Но заключенный уже умеръ. У него было слабое сердце, которое перестало биться раньше, чѣмъ слѣдовало по наукѣ.

Начался день, какъ обыкновенно. Умылись, шумно расплескивая воду, надъ большой деревянной лаханью. Пили жидкій чай съ бѣлымъ хлѣбомъ. Младшій казаки съѣлъ два яйца въ смятку.

Потомъ слесарь смахнулъ съ того угла стола, который былъ въ его распоряженіи, хлѣбныя крошки и развернулъ тетрадь. Но перышко испортилось еще наканунѣ и, поэтому, пришлось звать надзирателя, чтобы онъ послалъ въ контору за новымъ.

Старшій легъ грудью на подоконникъ и смотрѣлъ внизъ. Тамъ — стѣна, за стѣной — дорожка, по которой ходитъ часовая, за дорожкой — обрывъ. На полѣ лежала изморозь. Было холодно.

Старшій думалъ о томъ, что хорошо было бы выйти на свободу ранней весной, когда распускаются деревья, и узенькій ручей въ станицѣ разольется цѣлой рѣкой. Думалъ и тихонько насвистывалъ что-то грустное.

Слесарь ждалъ когда принесутъ перо, ходилъ взадъ и впередъ. На лѣвой ногѣ подошва отпоролась и звонко шлепала.

— Ходить, ходить! — жаловался младшій. — И такъ голова болить, а онъ мелькаетъ.

— Да? Ну, я не буду.

Одно время въ коридорѣ сдѣлалось шумно. Слышно было, что тамъ суетится много людей, и всѣ они почему-то говорятъ вполголоса, почти шопотомъ. Слесарь прислушался. Смутно разобралъ хриловатый, перепрыгивавшій въ дискантъ, басокъ начальника. Онъ тоже сдерживалъ голосъ, и это было странно.

— Привели новыхъ! — вслухъ подумалъ слесарь.

— Такъ много? Хотя, можетъ-быть, была демонстрація въ городѣ...

— Новые говорятъ громко. Это что-то не такъ.

Установили дежурство у волчка, чтобы не прозвѣвать, если подойдетъ съ какой-нибудь новостью Перадзе. Старшій поставилъ у самой двери табуретку, сѣлъ, заложилъ ногу за ногу, поудобнѣе. Курилъ и ждалъ.

Младшій—первый заговорилъ о семнадцатомъ.

— Вчера не было никакихъ вѣстей. Можетъ-быть, кончили голодовку. А мы все думаемъ и ждемъ.

— Перадзе мало дали табаку. Пожалуй, разсердился.

— У насъ у самихъ четверка кончается. Это тоже нельзя.

Послѣ старшаго сидѣлъ у волчка младшій. Онъ жаловался, что у него очень болить голова, и поэтому онъ очень устаетъ, но слесарь не сдавался и не занималъ его мѣсто. И когда слесарь взглядывалъ на дверь, можно было подумать, что онъ чего-то боится. Того, что придетъ внезапно и тайно изъ-за этой двери.

Такъ какъ ждали напряженно чего-то неизвѣстнаго, не зная, будетъ это радость или горе,—то мысли шевелились въ головахъ тяжело и медленно, каждая изъ нихъ задерживалась надолго. Время измѣрялось мыслями и было длинное.

Въ коридорѣ шумъ и шопотъ давно затихли. Одинокое гудѣли шаги надзирателя; звякали ключи. Все было, какъ всегда, но зловѣще таилось новое, и всѣ ждали.

Какую-то многолюдную камеру провели на прогулку; зашумѣло и опять стихло.

— Слушайте! — сказалъ слесарь, и подъ глазами у него были темные круги.—Если новый еще голодаетъ или вообще что-нибудь такое...

— Ну?

— Я не знаю, зачѣмъ онъ дѣлаетъ это! — тяжело ворочалъ словами слесарь. Такъ нехорошо, онъ неправъ. Вѣдь намъ это очень тяжело.

— А если онъ думаетъ, что такъ нужно?

— Все равно это нехорошо. Такъ не нужно.

Молчали и прислушивались.

Вотъ, кто-то позвалъ надзирателя. Ключи звякали громче. Скрипнула чья-то дверь. И смѣшиваясь съ ея скрипомъ,



внезапно приблизился и зашепталъ, бросая слова въ волчокъ, осторожный, быстрый голосъ.

— Семнадцатый умеръ. Вынесли въ мертвецкую. Маленькій такой, одиѣ кости. Утромъ доктора были, а онъ уже померъ. Сс... Нельзя больше.

Слышно было, какъ бьется сердце, отгоняя къ вискамъ горячую кровь. Рѣдко, грубо: разъ... разъ... И когда слесарь заговорилъ, онъ плохо слышалъ свои собственныя слова.

— Вотъ, этого не нужно. Онъ не долженъ былъ, не имѣлъ права... Онъ...

Огромная тяжесть, угловатая и жестокая, лежала у него на плечахъ и давила книзу, мѣшала договаривать. Видѣлъ онъ передъ собою лица, темныя и нѣмыя, и странно мелькали на этихъ лицахъ, — знакомыхъ, но чужихъ, — красныя, какъ кровь, пятна.

Потомъ сдѣлалось холодно, и что-то оторвалось въ груди, у самого сердца, — какъ-будто кончилась одна жизнь и началась другая, новая.

Новая была темна и низка. Какъ потолокъ въ подземельѣ, висѣла надъ нею тяжесть. Хотѣлось назадъ, но было тѣсно, и нельзя было обернуться къ тому, что осталось позади.

---

В. В. АЛЕКСАНДРОВ  
В. В. АЛЕКСАНДРОВ  
30, Av. de Candia - ПИСК



Всего <sup>и</sup> томов 1-4 1904, 1908, 1909, 1910  
в трех из-ах

Ник. пр 82-919

Мур ~~336~~ 8780

Кл. 5423

Чип. 2800

PG

3476

045A15

1909

Oliger, Nikolai Fridrikhovich  
Razskazy

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

Coll



UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C  
39 15 07 22 13 006 7